

# РУССКИЕ

В.В. БОЛЬШАКОВ

# БЕРЕЗЫ

# ПОД ПАРИЖЕМ





**В. В. БОЛЬШАКОВ**

---

# **РУССКИЕ БЕРЕЗЫ ПОД ПАРИЖЕМ**

---



**Москва  
"Молодая гвардия"  
1990**

ББК 66.2 (4Фр)  
Б 79

В книге использованы фотографии автора.

Б  $\frac{0801000000-205}{078(02)-90}$  КБ-052-009-89

ISBN 5-235-01485-5

© Большаков В. В.,  
1990 г.

Чужая страна, как и чужая душа, — потемки. Франция — не исключение из этого правила, хотя она, казалось бы, куда ближе нам и понятнее других стран Запада, ибо мы тесно связаны с ней еще со времен Киевской Руси. Увы, тот литературно-кинематографический образ, который для многих из нас и есть Франция, существует разве что только в нашем воображении. И тем обиднее, когда он вдруг рассыпается на мелкие хрустальные крошки при столкновении с реальной действительностью. Хорошо, если эта драма не оставит шрамов. Но даже если и больно царапает обидное разочарование, надо уметь найти в себе силы и попытаться понять тот народ, с которым тебе приходится жить подолгу под одним небом, есть выращиваемый им хлеб и пить одну с ним воду. Во Франции, как нигде, это понимание на лету ухватить не дано никому. Загадок тут хватит не на одну корреспондентскую командировку.

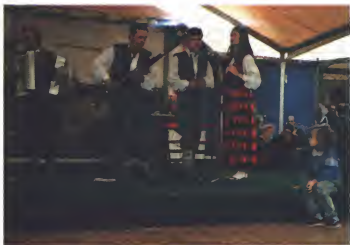
Во Франции я начал работать собственным корреспондентом «Правды» в сентябре 1986 года, когда в Париже всю гремели взрывы террористов. И с самого начала позтому казалось, будто судьба специально меня испытывает. И сами эти события, и люди, в них участвовавшие, вроде бы подтверждали давно ставшие привычными аналитические схемы, на которые оставалось только наложить факты, цитаты из газет и местный колорит — и вот она, старая, добрая, в сотый раз доказанная Истина, которая всегда поддерживает тебя на плаву и не даст пропасть. Истина, однако, была достойна событий и оказалась куда сложнее привычного штампа, хотя от этого и не перестала быть Истиной...

Я знаю, что сейчас не в моде писать о безработных и голодных на Западе, где витрины ломятся от изобилия, о чем нам теперь постоянно сообщают даже наши конферансье и разные «массовикозатейники» с таким удовлетворением, как будто они сами эти витрины заполнили. Да, это изобилие действительно есть, и внимательный читатель увидит по приведенной в моей книге статистике, что обеспеченных и хорошо устроившихся людей во Франции большинство, их куда больше, чем обездоленных, выброшенных из жизни. Но я не был бы объективен, если бы показал Францию только в розовом свете. В этой богатой стране есть, увы, и такая вопиющая социальная несправедливость, которая в моих глазах по сей день оправдывает исторически французских, и наших революционеров, мечтавших, говоря словами Эжена Потье, до основания разрушить «весь мир насилия» и построить свой — справедливый, новый мир. История решит, каким путем лучше идти к этому миру.

Во Франции совершенно неожиданно для себя я тронул и такой пласт, который за целую жизнь в одиночку не раскопашешь. Это судьбы наших соотечественников и сограждан, оказавшихся в эмиграции после 1917 года и после второй мировой войны. Их понять иной раз куда сложнее, чем французов. Поэтому и моя книга — это вовсе не истина в конечной инстанции. Во многом она — результат личного восприятия, а не итог научного исследования, больше ставит вопросов, чем на них отвечает.

# Глава 1

Праздник газеты «Юманите».



Дискуссия перед павильоном «Правды».  
На празднике «Юманите».



# ПОЗОЛОЧЕННЫЙ ГЕНИЙ СВОБОДЫ

Часовня и храм кладбища Пикпюс. Здесь захоронены 200 лет  
назад «враги народа и революции» Франции.



Могила генерала Лафайета, героя французской и американской революций, и его жены.







— Интерес, который проявляется во всем мире к празднованию 200-летия Великой французской революции, показывает универсальную значимость и актуальность революционной идеи, основанной на суверенитете народа и утверждении прав человека. 1789 год принадлежит не только Франции, но всем тем, кто в своих идеях и в своей борьбе разделяет это великое чаяние, и тем, кто привержен ценностям свободы, братства и справедливости.

Я знаю, какой особый отклик вызывает в СССР Великая французская революция, в которой черпали вдохновение отцы вашей революции.

*Франсуа Миттеран*

*(Из интервью, данного президентом автору этой книги в 1988 году)*

## 200 ЛЕТ СПУСТЯ

На площади Бастилии, где 200 лет назад народ революционного Парижа шел на штурм королевской крепости-тюрьмы, рабочие снимали строительные леса, долго окружавшие бронзовую Июльскую колонну — памятник павшим в трех французских революциях (Великой 1789—1793 гг., 1830 и 1848 гг.). На ее вершине свежей позолотой сияла статуя Гения Свободы с горящим факелом в руке...

Я вспомнил, как в феврале 1989 года, когда реставрационные работы у колонны только начинались, нас, журналистов, принимали здесь министр культуры в правительстве социалистов Жак Ланг и группа «Элф-Аки-тэн». Ее президент рассказывал, что возглавляемая им корпорация почитает за честь накануне 200-летия французской революции поработать на восстановлении этого монумента и подарить Гению Свободы факел с вечным огнем из производимого ею газа...

К юбилею предстояло обновить едва ли не все знаменитые памятники Парижа — от Триумфальной арки

и скульптур на площади Согласия до Дома Инвалидов. Я уже не говорю о строительстве Пирамиды в Лувре, Новой опере на той же площади Бастилии, новой Национальной библиотеке, о позолоте скульптур на мосту Александра III и т. д. Все это было сдано к юбилею в срок и в лучшем виде. И всюду французские корпорации, как национализированные, подобно «Эльф-Акитэн» (с ней это произошло в 1981—1982 гг.), так и частные, приняли в этом самое активное участие. Государство, конечно, потратило на все бешеные деньги — по подсчетам газеты «Фигаро», около двух миллиардов франков. Да еще и на празднование юбилея были затрачены десятки миллионов франков. Но корпорации не только предъявляли счета за проделанные работы. Частично и сами их оплачивали. Приобщиться к революции таким образом считалось делом престижным, и ни у кого — ни справа, ни слева — подобное единение правящей левой партии и представителей крупного капитала не вызывало вопросов...

Я стою на знаменитой площади, рассматриваю заново открывшийся памятник и вспоминаю, как я долго и неуклюже объяснял пресс-службе одной из фирм, почему не написал в «Правду» о ее замечательном вкладе в празднование 200-летия Великой французской революции. Я же не мог сказать, что меня просто не поняли бы в моем отечестве, и прежде всего сами читатели «Правды», для которых с детства понятие «буржуазия» было априори контрреволюционно. Для нас «Взятие Бастилии» и «Взятие Зимнего» всегда рядом, одинаково символизируют революционный подвиг пролетариата. Как объяснял это один доморощенный историк времен нашей гражданской войны своим товарищам: «Если бы ребята из Парижской коммуны вовремя подросли, буржуи к Великой французской революции не примазались бы...»

Увы, концепцию этого «историка» впоследствии перенимали люди, куда более сведущие в истории революционного движения. В одном из справочников за 1953 год вся суть Великой французской сводится к объяснению Сталина: «В эпоху буржуазной революции, например, во Франции буржуазия использовала против феодализма известный закон об обязательном соответствии производственных отношений характеру производительных сил, низвергла феодальные производственные

отношения, создала новые, буржуазные производственные отношения и привела эти производственные отношения в соответствие с характером производительных сил, выросших в недрах феодального строя». О Декларации прав человека и гражданина упоминается лишь затем, чтобы сообщить об отказе крупной буржуазии от ее принципов в конституции 1791 года и т. д.

Трактовка Великой французской революции нашим ученым миром мало переменялась с 1939 года, когда и в СССР отмечалось 150-летие Великой французской с понятно куда большим акцентом на необходимость террора, чем на гарантии и развитие прав человека. Само по себе это понятие упоминалось и в те времена, и много лет спустя исключительно в кавычках...

Вот почему для нас подлинные ее герои — и выпущенная в СССР к 200-летию юбилею почтовая марка вновь это подтверждает — Марат, Дантон, Сен-Жюст и Робеспьер. А во Франции для многих эти имена давно звучат примерно так же, как у нас сейчас Троцкий, Ежов, Берня, Сталин...

Великой французской не везло — ее воспринимали то с неких романтических, то с сугубо конъюнктурных позиций. И не только у нас. Характеризуя эту революцию, В. И. Ленин писал: «Она недаром называется великой. Для своего класса, для которого она работала, для буржуазии, она сделала так много, что весь XIX век, тот век, который дал цивилизацию и культуру всему человечеству, прошел под знаком французской революции. Он во всех концах мира только то и делал, что проводил, осуществлял по частям, доделывал то, что создали французские революционеры буржуазии...» У нас теперь, как правило, именно на этих трех точках цитату и обрывают. Но, если цитировать Ленина полностью, то дальше читаем: «...интересам которой они служили, хотя они этого и не сознавали, прикрываясь словами о свободе, равенстве и братстве» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 38, с. 367).

Владимир Ильич, конечно, прекрасно понимал, что вожди французской революции не были злонамеренными фарисеями и не использовали лозунг «Свобода! Равенство! Братство!» только для карнавального костюма на бале-маскараде Большой Политики. Он написал «прикрываясь», чтобы даже не искушенному в тонкостях марксизма рабочему была понятнее классовая сущ-

ность этих революционеров. Но они-то действительно в этот лозунг истово верили, и, может быть, именно в этом, в том, что им не хватало трезвого взгляда на соотношение провозглашенного ими идеала и реальности, и заключалась их политическая, равно как и человеческая, трагедия, которой суждено было повториться на нашей земле, но уже в иных, куда более крупных масштабах...

Во французской революции, как и во многих других, интересы различных классов переплелись так же тесно, как гений и злодейство, благородство и низость, бескорыстие и мародерство. Она была столь же непоследовательной, сколь целеустремленной. Начав с провозглашения Декларации прав человека и гражданина, которая легла в основу всех буржуазных конституций, равно как и современного правосознания, она закончила свое существование в пароксизмах полного беззакония. Символом этой трагедии перерождения идеалов стал один из ее отцов — Максимилиан Робеспьер, Великий Неподкупный. Начав с требования об отмене смертной казни, он закончил тем, что назвал эту казнь высшим проявлением справедливости и добродетели. В результате и он, Верховный жрец гильотины, лег под ее нож, как до него тысячи «врагов революции», начиная с короля Людовика XVI и его жены Марии-Антуанетты.

Смерть Робеспьера была воспринята народом с тем большим равнодушием, чем очевиднее для него становилось, что плодами революции ему так и не удастся воспользоваться. Маркс и Энгельс очень четко подметили это в ряде своих работ по проблеме прав человека, когда отметили главное: мало было права провозгласить, надо было их обеспечить и экономически. А без этого феодальное рабство могло быть лишь заменено другим, наемным. Из такого верного вывода, увы, у нас некоторые ревнители «чистоты марксизма», к сожалению, пришли к другому, а именно к тому, что права человека вообще не следует развивать в социалистическом обществе, ибо они-де были выдуманы исключительно для прикрытия хищнической эксплуататорской сущности буржуазии и для охраны захваченной ею в свои руки «частной собственности», как якобы «священной». Хотя, по сути дела, народ дрался именно за эти права и именно для этого разрушал Бастилию...

В своей замечательной книге «Великая французская революция» П. А. Кропоткин писал, что имущие классы

постоянно предавали «народ с его пылким энтузиазмом и готовностью погибнуть за свободу». Используя, как всемогущего джинна из бутылки, революционную энергию масс для ликвидации абсолютизма, они буквально сразу же после взятия Бастилии принялись загонять «назад в трущобы голодных пролетариев, вооружившихся пиками». Буржуазия, по сути дела, боялась своей же собственной революции и больше всего страшилась, что не она будет пользоваться ее плодами, а народ. Страх этот не исчез у нее до сих пор. Надо видеть, как она умеет мобилизовать все свои силы, чтобы не допустить современного пролетария к защитным механизмам созданного ей правового государства.

## ДЕСЯТЬ С «РЕНО»

...Циклон накрыл Париж непроглядными серыми облаками, и от этого краски его потускнели, поблекли. Синие-лиловые круглые многоэтажки парижского пригорода Нантера смотрелись поэтому не нарядно, как было задумано архитектором, а просто неряшливо. Нантер к тому же затянул смог, и застрявшие в пробках грузовики окрасили его в цвет копоти.

...С плаката смотрело знакомое лицо Жан-Пьера Ламисса. «Как делегат Всеобщей конфедерации труда (ВКТ), — прочитал я, — он выступал за право на труд, против увольнений на автозаводах «Рено». За это он был уволен сам. За это ему грозит тюрьма. Только ваша солидарность ему поможет!» По пути к зданию префектуры Нантера, где слушается «дело» знаменитой «десятки с заводов «Рено», вижу и другие знакомые лица на плакатах, рисунках, листовках, разбросанных по улицам...

Впервые я встретил их в 1986 году, на празднике «Юмаинте», а уже потом не раз видел на демонстрациях протеста, у правительственных зданий, к решеткам которых они приковывали себя цепями, в пикетах забастовщиков... Их называли «заложницами администрации автозаводов «Рено». Почему? Во-первых, девять из десяти — коммунисты, а во-вторых, все десять — делегаты ВКТ, признанные на автозаводах «Рено» в парижском пригороде Булонь-Бийанкур профсоюзные вожаки.

...«Встать, суд идет...» Странно, но вести процесс против этих мужественных ребят поручили слабому полу — председателю 14-й палаты уголовного суда Франсуазе Симон и двум женщинам-заседателям. Может быть, решили, что так будет пристойнее...

Один за одним они выходят из зала и в буквальном смысле этого слова предстают перед судом — такова здесь практика. Секретарь суда вызывает их пофамильно: Пьер Лери, Жозель Жегузо, Жан-Пьер Килгар...

Почти год шел другой процесс — за восстановление «десятки» с «Рено» на работе. И вот администрация заводов решила ответить контрударом. Как и почему? В основе «дела», слушавшегося в Нантере, события двух дней июля 1986 года. 25 июля по цехам завода в Булонь-Бийанкуре разнеслась весть — на 30 июля назначено заседание «совета предприятия», куда вызывают представителей профсоюза. 853 человека, в том числе 26 активистов ВКТ, будут увольнять.

Здесь реакция на безработицу жуткая. Здоровые, крепкие парни как бы ломаются на глазах, в истерике крушат все, что попадется под руку, плачут. Примерно то же самое произошло в цехах 26 июля. Один из рабочих в отчаянии выбил окно рукой, порезав ладонь. Хлынула кровь. На глазах у работавших в цехе его повели в медпункт. Все спрашивали: «Что, как, почему?» И с ответами вести об увольнении множились. Люди бросали работу, шли прямо из цехов к зданию дирекции. Делегаты ВКТ пытались успокоить рабочих, но такую стихию не сдержишь... По странному совпадению дверь в здание дирекции вопреки обыкновению оказалась открытой. Когда делегаты ВКТ подошли к дирекции, к ним навстречу никто не вышел. Директор завода Оруа отказался объясниться с рабочими. Они вошли в здание без приглашения. Делегатов ВКТ, можно сказать, внесли туда в толпе.

Ничего особенного не произошло тем не менее. Да, была сутолока, толпа запрудила узкие коридоры. Возник стихийный митинг, на котором не всегда в дипломатических выражениях говорили о дирекции и ее планах увольнения рабочих. Рассказывают, что несколько папок с бумагами полетело в окна...

30 июля, в день заседания «совета предприятия», где выяснилось, что среди уволенных — 26 делегатов ВКТ и руководители коммунистов завода, к воротам автоза-

вода пришли 5 тысяч рабочих «Рено». Месье Оруа вновь отказался поговорить с рабочими. Он предоставил это «право» заранее вызванным войскам безопасности. В ход пошли дубинки и гранаты со слезоточивым газом. Несколько демонстрантов были легко ранены. Но, как писала наутро газета «Матэн», «столкновения были краткими и без серьезных последствий».

Уже потом, более года спустя, события тех двух дней и участие в них «десятки с заводов «Рено» были расписаны по минутам и по статьям уголовного кодекса № 434, 328, 184, 341, 309, 239, 29... Тут все — и «вторжение на частную территорию» (это на «родной», национализированный, кстати, завод), и «воровство», и «нанесение ущерба», и «нанесение сознательно телесных повреждений», «сопротивление, сознательное, силам полиции с применением оружия» и т. д. Почти все эти статьи записаны в «деле» одного из руководителей ФКП на заводе Пьера Лери, зятя Жоржа Марше. Его могли осудить на срок от двух до 13 лет тюрьмы и 330 тысяч франков штрафа. Всем представшим перед судом в Нантере угрожали в сумме 100 лет тюремного заключения и 2,5 миллиона франков штрафа. Адвокаты, нанятые администрацией, постарались. Да и сама администрация готовилась к процессу со всей тщательностью. Главные свидетели обвинения почему-то получили повышение по службе, прибавки к заработной плате...

Известный французский певец Ги Беар пел когда-то: «Тот, кто первым правду скажет, первым будет уничтожен». Десятка с заводов «Рено» рискнула сказать правду в глаза и администрации, и правительству правых партий, которое вело тогда дело к денационализации «Рено» и к такой «модернизации» предприятий этого автообъединения по всей Франции, которая обернулась бы увольнениями многих тысяч рабочих и служащих. Но убить эту правду во Франции не так-то легко.

...Перед самым началом процесса судья Симон заявила: «Суд собрался здесь не для того, чтобы обсуждать, правомерна ли политика увольнений и другие политические вопросы, а для того, чтобы определить, насколько соответствуют действия обвиняемых тому, в чем их обвиняют...» Судье было трудно отказать в такте и умении, вела она процесс достаточно корректно, но политика вторгалась в него вопреки ее желанию и намерениям.



«Десятку пытались спровоцировать, — говорил мне перед началом процесса один из адвокатов, видный французский юрист Анри Ногэр. — Я не коммунист, но в данном случае все мои симпатии на стороне этих рабочих-коммунистов».

Перед тем как нас пустили в зал суда, говорю с одним из обвиняемых — Жан-Пьером Килгаром. «Как ты воспринимаешь этот процесс?» — «Конечно, как политический, — отвечает он. — Он задуман для дискредитации коммунистов и профсоюзного движения во Франции. Только слепой этого не увидит. Возьми мой пример. Меня обвинят в участии в событиях, в которых я просто физически не мог участвовать, так как был в это время на Кубе по приглашению моих друзей. Вот смотри — мой паспорт...» Телекамеры, фотоаппараты нацеливаются на паспорт Жан-Пьера, вспышки, щелканье затворов. Но вечером в сюжете о процессе по телевидению это вырежут, а завтра — в газетах не появится ни информации об этом, ни фото... И это тоже — политика, причем большая.

...С десятиэтажного здания напротив суда свисает лентой полотнище: «Руки прочь от наших прав и свобод!» Перед зданием суда на площади, окруженной усиленными нарядами полиции и войск безопасности, — многие тысячи друзей тех парней с «Рено», которые сейчас отвечают на вопросы судьи. Вместе с ними они шли сюда с красивыми лентами через плечо, на которых написано золотыми буквами: «Делегат ВКТ». Товарищи по профсоюзу, делегации со всех заводов «Рено» провожали «заложников «Рено» до самых дверей нантерской префектуры.

...Они расположились перед зданием со своими плакатами и транспарантами, на которых написано: «Оправдание — нашим товарищам! Восстановление на работе уволенных! Вот наши требования!» «Расположились надолго», — говорит мне Бериар Карон, делегат ВКТ, приехавший в Париж с заводов «Рено» города Клеон специально для участия в манифестации поддержки «десятки». «Если нужно — будем здесь хоть до утра, пока процесс не кончится. Ведь это касается рабочих всех заводов «Рено». Это — удар по всем нам...»

...«Десятка» вновь лицом к лицу с администрацией «Рено», на этот раз в зале суда. Месье Оруа уже не избегает с ними встречи. «Я их всех знаю в лицо, — го-

ворит он. — Когда речь заходит о проблемах, э-э-э, занятости на предприятии, решать которые нам мешают профсоюзы, эти всегда в первых рядах...»

«Так вот поэтому вы знаете этих людей лучше других...» — уточняет судья Симон.

Директор осекается, поняв, что вышел из роли «пострадавшего» чиновника и заговорил именно о том, о чем не хотели говорить в этом суде, — политике увольнений, преследовании профсоюзных активистов и коммунистов.

Нет, они не собираются молчать и здесь, несмотря на то, что им грозят тюремным заключением — 100 лет на 10 человек. «Вы обвиняете нас в насилии, — говорит один из них. — А что такое насилие? Где оно? Вы усматриваете его в том, что рабочие выбросили бумаги об увольнении в окошко на улицу? Или в том, что рабочих выбрасывают на улицу?»

Здание суда в Нантере построено по последнему слову техники. Звуконепроницаемые материалы, мягкий свет, даже какой-то административный уют. И все же голос улицы слышен и здесь. Это мощный голос трудовой Франции. «Десятка» с «Рено» под нашей защитой! Расправиться с ней не дадим!» — скандируют собравшиеся на площади.

Поздно вечером я уезжал из Нантера. На площади перед судом рабочие зажигали костры. Заступала на смену «ночная вахта солидарности». Я был уверен, что «десятку» оправдают. Даже прокурор не смог запросить для них большего наказания, чем от одного до двух месяцев тюремного заключения условно. Суд отложили на два месяца, а там все же приговор, хоть и условный, утвердили. Но этого было достаточно, чтобы дать администрации повод «десятку» на работе не восстанавливать.

Развернулась массовая кампания в поддержку этих парней. Только в Нантере было собрано 53 тысячи подписей под петицией в их защиту. Подали эту петицию Ж. Шираку, тогдашнему премьер-министру, уже со 173 тысячами подписей. И вот, казалось бы, победа. Февраль 1989 года. Арбитражный суд постановил восстановить «десятку» на работе. Апелляционный суд в Версале такое решение поддерживает, отказывая администрации «Рено» в контриске. У власти, заметьте, уже не правые, а социалисты...

Я отправляю в «Правду» информацию «Победа «десятки». Через несколько дней сам себя опровергаю — администрация «Рено» заставила Версальский апелляционный суд пересмотреть прежнее решение. Едва вернувшись на свои рабочие места, «десятка» опять оказалась за воротами. Начался новый раунд борьбы, практически безнадежный...

Накануне 200-летнего юбилея Декларации прав человека и гражданина к президенту Республики обратились жены ребят из «десятки». В руках у них были новые петиции с новыми десятками тысяч подписей. Депутаты-коммунисты выступили с очередным запросом в Национальном собрании. Многотысячные демонстрации активистов ВКТ прошли по всей стране. И никого на работе не восстановили. Ибо это уже было делом Принципа, отказаться от которого для буржуазии равнозначно отказу от своей власти, от всего того, ради чего буржуазные революционеры и делали для нее Великую французскую...

Французская буржуазия ревниво относится к ее наследию. Претендуя на свое исключительное на него право, она тем не менее прекрасно знает, что Декларация прав человека и гражданина выходит, и далеко, за пределы ее класса, отвечает интересам всех классов уже потому, что в этом документе воплощены лучшие мысли и мечты свобододолюбивых мыслителей времен Реформации и Просвещения. И как бы ниой раз ни обижались французы за это напоминание со стороны то госпожи Тэтчер, то некоторых ученых США, Греции, Италии, да и Советского Союза, авторы этой декларации взяли из сокровищницы Мирового Разума все лучшее, все передовое. В ней можно найти следы творений Сократа и Аристотеля, Фомы Аквинского и Адама Смита, а не только Руссо, Монтескье, Вольтера и их современников. Если уж по справедливости, то и Великая хартия вольностей появилась в Англии на несколько веков раньше и тоже легла своей строкой в этот документ, да и американская Декларация независимости, хоть ненамного, но французскую революцию опередила. А Бенджамин Франклин, когда она свершилась, уже был послом США в Париже. Так что во многом это плод мысли всего человечества. Все, что было в этой декларации первоначально заложено, еще далеко не осуществлено не только в самой Франции, но и в странах социализма, которые

родились в революциях, призванных историей двинуть дело прав человека, социального прогресса еще дальше...

Вот почему для буржуазии с самого начала эта декларация была тем самым наследником, на лик которого ей хотелось, если взять пример из истории королевского дома Бурбонов, надеть железную маску...

## НА КЛАДБИЩЕ ПИКПЮС

Именно о Великой французской революции Ф. Энгельс написал, что она пожрала своих же детей. Думаю, что образ мифологического Кроноса пришел Энгельсу на ум не только потому, что в пору вакханалии якобинского террора революционные лозунги обернулись смертными приговорами для многих из тех, кто, собственно, эту революцию и делал. Скорее потому, что внутри революции объективно вызрела контрреволюция, ее и погубившая. И было это делом неизбежным...

...Я остановился у заправочной станции на узкой улочке со странным названием Пикпюс, ведущей к бывшей Тронной площади, ныне площади Нации. Пока проверяли уровень масла и заполняли бак бензином, я перешел на другую сторону улицы, чтобы рассмотреть поближе небольшую мемориальную табличку, прикрепленную к старинной каменной арке. Прочел надпись на ней и ахнул. Оказывается, вот где, на мало кому известном кладбище Пикпюс, захоронены обезглавленные 200 лет назад «враги народа и революции». Их здесь ровно 1306 в двух братских могилах. Третью заполнить не успели.

...Скорбного вида служительница ведет меня через храм, на стенах которого выбиты имена захороненных здесь жертв террора. Горят свечи, молятся монашки в фиолетово-белых одеяниях, и от этого атмосфера царившего здесь около 200 лет назад ужаса ощущается почти физически.

Поздняя кладка резко выделяется на фоне стены. Давно уже замурованы те ворота, через которые двести лет назад с Тройной площади проползала сюда в ночной тьме страшная, обитая железом телега, до краев наполненная обезглавленными трупами. Специально нанятая для этого команда раздевала их догола, отсорт-

ровывала одежду, чтобы потом поделить ее между палачами — в награду за труд — и немущими. Затем трупы стаскивали к братской могиле и забрасывали тонким слоем земли. И так каждую ночь почти полтора месяца в июне — июле 1794 года, после того, как бы принят страшный закон о терроре, известный как закон 22 прериаля.

«Достаточно сказать, — писал П. А. Кропоткин, — что со дня основания Революционного трибунала, то есть с 17 апреля 1793 года, вплоть до 22 прериаля II года (10 июня 1794 года), то есть в 14 месяцев, было казнено в Париже 2607 человек; но со дня введения нового закона, с 22 прериаля (10 июня) по 9 термидора (27 июля 1794 г.) тот же суд послал на казнь 1351 человека за 46 дней». Всего же по Франции под нож гильотины легли в годы террора около 17,5 тысячи человек. В Париже сначала казнили «по традиции» на Гревской площади, а после 22 прериаля гильотину оттуда перетащили на Тронную площадь, поближе к заранее подготовленным могилам Пикпюса. От посетителей они отгорожены сейчас решеткой, через нее видны лишь укрывшая их бурая разрыхленная земля, на которой ни кустика не выросло, ни цветка, и два каменных креста-памятника.

Уже после того, как казни прекратились, сюда стали приезжать родственники казненных, пытались разрыть эти могилы, чтобы найти своих, но, отчаявшись, так все и оставили, лишь выкупили землю вместе со всеми захоронениями, и теперь это кладбище частное, где покоятся и родственники его владельцев.

Среди них — потомки маркизы Монтегю, у которой почти вся семья погибла на гильотине в те страшные дни. Вместе со своей сестрой, женой героя французской и американской революций генерала Лафайета, который представлял Учредительному собранию Декларацию прав человека и гражданина, она стала первой владелицей Пикпюса. Генерал Лафайет похоронен был здесь же, у братских могил, в 1834 году, и над его могилой круглый год реет американский флаг. Его не позволили снять даже во время гитлеровской оккупации.

Было бы, конечно, проще объяснить все происходившее тогда, весь этот бессмысленный террор, если бы в братских могилах лежали одни аристократы. Но их как раз меньшинство среди 1306 казненных — 159 мужчин

и женщин. Остальные — военные, священники и монахи, слуги из дворянских домов и обычные простолюдины. Последних больше половины. За что их?

В архивах, оставшихся с той поры в назидаение потомкам, можно найти, например, протокол заседания революционного трибунала, из которого ясно, что 16 похороненных здесь монахинь-кармелиток отправили на гильотину только за то, что они вопреки революционным запретам продолжали молиться. А других? Судьи поиском доказательств себя не утруждали. На эшафот отправляли каждого заподозренного в «контрреволюции». Смертная казнь полагалась даже за ложные слухи, за «развращение нравов и общественной совести». Робеспьер пояснял: «Чтобы казнить врагов отечества, достаточно установить их личность. Требуется не наказание, а уничтожение их». Увы, и нам знакомы такие формулировки. Через 150 лет и у нас появились сторонники такой гильотинной юриспруденции. И хоть гильотины у нас в 1937-м не было, свои Пикпюсы мы сейчас начинаем откапывать. А вместе с этим узнаем и забытые имена жертв «якобинцев», сеявших террор уже именем нашей революции через разного рода «тройки» и «чрезвычайки». Учился он не на Декларации прав человека и гражданина, а на законе 22 прернала. И до сих пор мы за это расплачиваемся, что еще раз говорит о великой пользе объективного подхода к истории и умения у нее учиться...

На Пикпюсе похоронен великий французский поэт Андре Шенье. Его казнили буквально предпоследним вместе с другим поэтом — Руше. Именно их имена возглавляли список очередной «амальгамы» в 34 человека, отправленной на эшафот 25 июля 1794 года, за два дня до 9 термидора и ареста Робеспьера, за три дня до того, как была убрана гильотина с Троиной площади обратно на площадь Революции (ныне площадь Согласия). Шенье пришел в революцию как певец Свободы и Справедливости. Для него революционные лозунги были прекрасны, как музы и грации. Он, который называл революцию своим светочем, естественно, не мог и не стал воспевать те мерзости насилия и террора, которые стали оправдывать ее именем. Он, подобно Пушкину, «призывал милость к падшим». В том числе даже к королю Людовiku XVI. Именно Шенье написал то письмо к Национальному собранию с просьбой позволить ему об-

ратиться к народу за помилованием, которое приговоренный к смерти король подписал в тюрьме Консьержери в ночь с 17 на 18 января 1793 года. Судьба Шенье странным образом волновала Пушкина. Он не раз возвращался к образу этого поэта, переводил его, писал стихи как бы от его имени. Самое известное из этих его стихотворений так и называется «Андрей Шенье» и посвящено Н. Н. Раевскому.

Словно предупреждение потомкам звучат пушкинские строки:

О горе! о, безумный сон!  
Где воля и закон? Над нами  
Единый властвует топор.  
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами  
Избрали мы в цари. О ужас! о позор!

Александр Сергеевич, заметьте, нигде революционный террор и насилие как повивальную бабку революционных перемен не восславил. Он понимал, что эта бабка может так дернуть за головку нарождающийся новый мир, что и его превратит в идиота, и роженицу отправит на тот свет. На примере Шенье он к тому же и предупреждал своих товарищей по «чистой музе» никогда не спешить туда, где поэту придется быть в услужении у «правителей бесславных» и их «палачей самодержавных». Увы, это предупреждение не было у нас услышано, и «Андрей Шенье» воспринимался как вызов самодержавию Романовых!

В 1825 году был написан «Андрей Шенье». В январе 1918-го А. М. Горький писал, что ...матрос Железняков, переводя свирепые речи своих вождей на простецкий язык человека массы, сказал, что для благополучия русского народа можно убить и миллион людей.

Поклонники революционного мессианства и массовых репрессий во благо самих же масс, увы, — и это показали события в Кампучии, где полпотовцы для «счастья» кхмеров убили их свыше двух миллионов, — не перевелись и в наше время. Поэтому меня так настораживает, когда некоторые историки, в том числе и французские, оправдывают «чрезвычайные меры» Робеспьера тем, что время было такое, что революционной Франции приходилось обороняться от своих врагов со всех сторон. Это действительно имело место после ликвидации монархии и основания в 1792 году Республики. И революционной армии, которую создали якобинцы, пришлось, в том чис-

ле и в знаменитой битве под Вальми, сражаться с иностранными интервентами. Но они так это успешно делали, что захватили даже Бельгию. Зачем же было тут еще запускать в ход и топор? Почему и сегодня многие так не хотят признать, что машина «спасения революции» по имени гильотина была задействована главным образом для ликвидации политической оппозиции якобинской диктатуре и ни для чего другого?

Странные иной раз в ход идут аргументы. Ну примерно те же, которыми у нас объясняли истоки террора в ходе празднования 150-летия взятия Бастилии: «Возмущение масс, требовавших расправы с предателями, вынудило Конвент...» А вот во Франции один ученый просто написал, что толпе казни нравились и она требовала их не прекращать. Ну как тут не вспомнить Чаадаева, который писал в письме А. И. Тургеневу в 1837 году: «Как можно искать разума в толпе? Где видно, чтобы толпа была разумна?» И в конце концов нельзя же путать толпу и народ!

Говорят, например, также, что 17 тысяч казненных в годы якобинского террора все же меньше 20 тысяч гильотинированных во время создания термидорианской реакцией Директории. И, наконец, указывают на то, что автор известной многотомной «Истории французской революции», первый президент Третьей Республики Адольф Тьер, всячески поносивший Робеспьера, — откуда, мол, все и пошло, — сам виновен в смерти 25 тысяч человек, уничтоженных в ходе разгрома Парижской коммуны в 1871 году.

Конечно, даже эта аргументация если и помогает понять якобинский террор, не оправдывает ни террора, ни самого Робеспьера в глазах современников. И французы, кстати, до сих пор ни его, ни Марата не простили. В Париже до сих пор нет ни одной улицы, которая носила бы их имя. И несмотря на то, что в доме № 398 по улице Сент-Оноре неподалеку от площади Согласия, до сих пор сохраняется та квартирка, которую снимал Робеспьер, она туристской достопримечательностью так и не стала. Впрочем, как и кладбище Пикпюс.

Празднуя 200-летний юбилей своей революции, французы, понятно, намеренно вычленили из нее все прекрасное, созидательное и демократичное, оставляя в шкафах истории те ее скелеты, которые в глазах публики... выглядят непривлекательно. Из соображений юбилейных



это понять можно. Но для настоящего познания истории нельзя забывать, что революция эта была одной из самых кровавых в истории Европы и из-за того жуткого сопротивления, которое ей было оказано и в самой Франции, и вне ее. И конечно, по вине ее тогдашних революционных лидеров.

Франция свое прошлое почитает, но соизмеряет его постоянно с сегодняшними ценностями. Именно поэтому в V Республике куда большее значение придавали празднованию Декларации прав человека и гражданина, чем самому взятию Бастилии. Карательные атрибуты якобинцев и Директории не выставлялись на обозрение широкой публики. Разве что сделанные в виде миниатюрных гильотин серебряные серьги, выпущенные специально к 200-летию юбилею каким-то ювелиром с эстетическими наклонностями вешателя.

Революцию подавали публике как нечто универсально прекрасное, идеально справедливое и достойное всяческого подражания со стороны всех народов и наций. Об этом всем посетителям Парижа будет постоянно напоминать сооруженная к юбилею в парижском пригороде Дефанс гигантская арка-небоскреб, где расположится центр «Прав человека». О том же говорили едва ли не ежедневно в 1989 году и особенно в период самого юбилея на многочисленных международных семинарах, симпозиумах, конференциях, в ходе которых всему человечеству настойчиво рекомендовали взять за образец социального развития Великую буржуазную и ни в коем случае не идти по пути Великой Октябрьской. Да и западные ученые-то ладно. Из Москвы даже приезжали некоторые докладчики с учеными степенями, чтобы сообщить ошарашенной публике то же самое. Это уже как в той пословице — заставь дурака молиться...

...Эскалатор в «Пале де конгрэ» двигался от этажа к этажу, доставляя посетителей на многочисленные конференции и совещания, которым этот знаменитый парижский небоскреб предоставил крышу. Где-то между пятым и шестым этажами показалась стрелка с надписью «Коллоквиум: права человека и международные отношения». В этом направлении двигалась весьма любопытная толпа: примелькавшиеся на экранах телевизоров и на подобного рода мероприятиях французские и зарубежные «советологи», международные чиновники, дипломаты, журналисты, люди в цивильных костюмах, но

с явной военной выправкой. Валом валила и разношерстная эмигрантская публика.

Коллоквиум все не начинался, ждали главных организаторов — Клода Малюре, государственного секретаря при премьер-министре по правам человека — в правительстве Ж. Ширака была и такая должность, — и Тьерри де Моибриала, шефа французского Института международных отношений (ИФРИ).

Январь 1988-го выдался на редкость теплым. Террасы в «Пале» были открыты, и я вышел на балкон. Внизу, перед самым входом, двое полицейских загоняли за загородку демонстрантов с плакатами: «Защитите наши права! Мы голодаем вот уже 23-й день в знак протеста против решения французских властей!» Это были иранцы, семьи высланных из Франции в Габон противников Хомейни. Расправа с людьми, имевшими статус политических изгнанных, вызвала такое возмущение, что сам президент Франции Ф. Миттеран был вынужден отмежеваться от решения правительства. «Правоборец» же Клод Малюре не пошевелил и пальцем в их защиту.

Открытие «коллоквиума Малюре», как его сразу же окрестила печать, совпало по времени с годовщиной знаменитого письма Эмиля Золя «Я обвиняю!..». К этой дате вышел специальный номер «Юманите» с фотокопией первой полосы давно уже не выходящей газеты «Орор», где 90 лет тому назад было опубликовано письмо Золя, а также с современными «Я обвиняю...», принадлежащими уже другим авторам.

Вот только два из них.

Клод Барбье, брат Люсьена Барбье, погибшего 6 ноября 1987 года от рук полицейских во время разгона демонстрации в городе Амьен: «Я обвиняю префекта департамента Сомма в том, что он несет главную ответственность за убийство моего брата Люсьена, так как он отдал приказ полиции Амьена разгонять демонстрантов. Но он не единственный виновный...»

Эдит Виола, мать Филиппа Виола, оставшегося без работы и в отчаянии покончившего с собой 30 августа 1987 года: «Я обвиняю руководителей этой страны в том, что они подталкивают молодежь к последней грани отчаяния. Моя боль тем сильнее, что обстоятельства смерти моего сына постарались укрыть плотной завесой молчания...»

О том, как эта завеса накрывает живых людей, мне пришлось не раз убедиться во Франции самому. Расскажу лишь об одном случае.

## **ДЕРЖИСЬ, ЛОРАН**

Едва с площади Сталинграда съезжаешь к набережной, которая идет вдоль Сены к пригороду Булонь-Бийанкур, тот яркий и нарядный Париж, что остается навсегда в памяти у заезжих туристов, сразу кончается. Узкие улочки с давно не отремонтированными домами, старые, выдавшие виды машины по их обочинам, весьма скромно, а то и очень бедно одетые люди. Это рабочий Париж, живущий своей нелегкой жизнью.

Вот и Булонь-Бийанкур. Площадь Бир-Хакейм. О ней я знал раньше только, что своим названием она обязана небольшому городу в Ливии, где в 1942 году в танковом сражении с итальянскими и немецкими войсками французы уничтожили 50 вражеских танков, а сами потеряли около тысячи человек убитыми и ранеными. И вот Бир-Хакейм стал для трудовой Франции символом еще одного сражения, отчаянного, полного трагизма.

На этой площади, прямо напротив административного здания автозавода «Рено», стоят автофургон и два прицепа. Над одним из них на деревянных шестах белое полотнище с надписью: «Я, служащий отдела кадров «Рено», решил объявить голодную забастовку, чтобы отстоять свое рабочее место».

Тихо на площади. Время обеденного перерыва. Из здания дирекции выходят люди в галстуках и строгих пиджачных парах, спеша в ближайшее кафе «заморить червячка». Они проходят мимо как ни в чем не бывало, едва удостоивая взглядом фургон, в котором вот уже несколько дней голодает их бывший товарищ по работе Лоран Габарум Габре.

Что заставило его пойти на этот отчаянный шаг? Только ли уведомление об увольнении из отдела кадров «Рено», страшная перспектива жить на пособие или пробавляться временной работой, думать каждый день, надрывая сердце, как прокормить, вырастить двоих детей, дать им образование?

История Лорана сложнее. В ее основе не только эконо-

номические беды Франции, порожденные одновременно и затянувшимся застоем, и неумолимым вторжением во все сферы жизни, в первую очередь в промышленность, армии роботов и компьютеров, которые «пожирают людей», точнее — их рабочие места, как некогда овцы в Англии «пожирали» хозяйства крестьян.

Формально его так и уволили — в «рамках сокращения штатов в связи с перестройкой производства» вместе с еще 27 служащими завода. Но это лишь одна сторона медали. Была и другая. На «Рено», как известно по делу «десятки», дирекция в первую очередь выбрасывает за ворота коммунистов, активистов ВКТ. Лоран Габарум поэтому был кандидатом номер один на увольнение: во-первых, он активист ВКТ, а во-вторых, он был «первым цветным», как говорит он сам, «в администрации «Рено» за всю его историю».

Да, официально расизм во Франции запрещен, но он живуч и время от времени поднимает голову. Лоран испытал это все на себе в полной мере. Он родился во Франции, в семье выходцев из Чада. Женат на француженке. По всем параметрам Лоран Габарум — полноправный гражданин Франции, и все законы, как он до поры и сам думал, на его стороне. Он старался держаться подальше от политики, считая, что главное — это трудиться и делать все, чтобы получить образование. Лоран сделал невозможное. Поначалу устроился на «Рено» пожарным. Потом, работая по вечерам там же, на проходной, днем учился в университете по специальности «управление кадрами». Одновременно окончил и институт международных отношений по специальности «управление внешней торговли», выучил английский язык. Столь дефицитный специалист с двумя дипломами тем не менее так и оставался работать на проходной, хотя в отделе кадров «Рено» давно уже лежало его заявление с просьбой о переводе на другую работу. Он пробовал устраиваться сам. «Я обходил завод за заводом, учреждение за учреждением, — рассказывает Лоран. — Я знал, что люди с моей специальностью там нужны, но мне отказывали. Одни говорили, что занято. Другие просто отвечали, что работы нет, а тем более для меня».

Жизненные университеты научили Лорана многому. Он решил действовать. Пришел в профсоюзную организацию ВКТ на «Рено». Вскоре стал активистом. Его

избрали делегатом ВКТ от завода. Вот тогда, в сентябре 1984 года, он и пришел в отдел кадров со своими двумя дипломами и мандатом делегата. За ним стоял теперь профсоюз. Администрации ничего не оставалось делать, как предоставить ему должность.

Этот день, 1 января 1985 года, когда он впервые пришел на новую работу, был для него и радостным, и горьким. Вроде бы и сбылась мечта. Но какой ценой пришлось платить за ее осуществление! В отделе кадров его встретили в штыки. И не только потому, что у него черная кожа. Лоран хотел и кадровые вопросы на «Рено» решать по справедливости, а не в соответствии с теми принципами, которые провозгласил новый начальник отдела месье Прадери, заявивший, что его главная задача — это «свернуть шею ВКТ на «Рено». Руки, конечно, коротки у месье Прадери — слишком популярно и влиятельно это профсоюзное объединение среди рабочих и служащих «Рено». Но «направление» было взято. И Лоран Габарум для Прадери и ему подобных был бельмом на глазу.

В итоге, рассказывает Лоран, его вскоре вызвали к начальству и объявили: «Вы хороший работник, но вы связаны с ВКТ. Вам следует уйти».

Его уволили, когда было объявлено об очередном «сокращении штатов». В защиту Лорана выступил профсоюз. Не помогло. К тому времени уже вступил в силу принятый правыми закон об отмене административного контроля над увольнениями. На его заявление с просьбой предоставить место работы в другом отделе на «Рено» в соответствии с его квалификацией административного работника наложили резолюцию «отказать». В насмешку пообещали «помощь», которую оказывают иммигрантам «для возвращения к месту жительства». Французскому гражданину, родившемуся и выросшему во Франции, предложили... вернуться в Чад!

Вот тогда и пришло это решение — объявить голодную забастовку. Помогли товарищи из ВКТ. Наняли автофургон и прицепы. В одном разместили Лорана. В другом установили пост, где круглосуточно дежурили активисты ВКТ. «Мало ли что, — говорит мне один из них. — Недавно в Нанси хозяева завода едва не забили насмерть одного нашего активиста. Но Лорана мы в обиду не дадим...»

И вот мы с ним вдвоем в фургоне. Он немалого ро-

ста, но когда лежит на койке, укрывшись одеялом, кажется щуплым подростком. В глазах его боль, смятение и вместе с тем какая-то идущая из самой глубины его существа решимость — не отступать, выстоять.

— Как вы себя чувствуете?

— Слабость сильная, а так ничего... Держусь, — говорит он.

— Я напишу о вас. Читатели «Правды» скоро все узнают.

— Спасибо. Мне нужна их поддержка тоже, — говорит он, протягивая на прощание руку. Пожимаю ее осторожно, а в ответ только шевеление пальцев. Лоран терял силы с каждым днем, с каждым часом.

Равнодушию наблюдала за этой необычной забастовкой дирекция «Рено», храня молчание в ответ на любые запросы о судьбе Лорана. И министерство по социальным делам и занятости. И государственный секретарь при премьер-министре по правам человека. На вопросы журналистов о Лоране в этом ведомстве отвечали, что ничего конкретного сообщить не могут, а в ответ на просьбу поговорить с государственным секретарем тут же следовало: «господин Малюре вышел». Пресса тоже не спешила писать об этой сенсационной, казалось бы, забастовке. Только «Юманите» рассказала о нем, и еще газета социалистов «Матэн» напечатала его фотографию.

Таких свидетельств из серии «Мы обвиняем империализм» можно в демократической Франции набрать сотни. Но уж если набирать, то не для того, чтобы бросить камень в соседа и удалиться в свой, увы, стеклянный пока домик, где с правами человека мы только-только начали разбираться.

В 1989 году, накануне 200-летнего юбилея, Национальное собрание Франции принялось обсуждать проект нового гражданского кодекса, который должен будет заменить собой знаменитый «Кодекс Наполеона». Так вот, законодатели сразу объявили, что процесс только обсуждения этого нового кодекса займет минимум три года. А у нас всё хотят досрочно.

На «коллоквиуме Малюре» мне больше всего запомнилась встреча с одним юристом из французских либералов, который мне неожиданно сказал: «Вы знаете, мы с симпатией следим за вашими переменами. Но, ради бога, не торопитесь. Мы все надеемся, что ваше пра-

вовое государство будет более гуманным, чем наше. И этим вы нам же поможете, потому что мы сможем тогда сказать — вот посмотрите, как там, в СССР. Ведь нечто подобное у нас произошло в 30-х годах, когда мы «кивали» на вас и говорили: «А в СССР — медицинское обслуживание бесплатное, образование — бесплатное, безработица исчезает...» И государство, особенно после войны, стало принимать такие социальные программы, которые, извините, даже превзошли ваши во многом...»

...Французы умеют высказывать свое «Пфэ!» в лучших традициях политеса, что и подтвердили либеральные круги, практически полностью бойкотировав тот коллоквиум в «Пале де конгрэ», который разрекламировали едва ли не как важнейшее мероприятие в рамках подготовки к 200-летию Великой французской революции и Декларации прав человека и гражданина. Далеко не все, кого пригласили принять в нем участие, ответили согласием. Арлем Дезир, глава влиятельной во Франции организации «SOS-расизм!», в самый последний момент сославшись на болезнь, в «Пале де конгрэ» не явился.

Председатель движения «Врачи мира» Б. Кушнер в статье в газете «Либерасьон», вышедшей накануне открытия коллоквиума, писал, что изгнание из Франции иранских политических эмигрантов окончательно доказало: ведомство Малюре, да и он лично не выполняют своих функций. Эта «контора по защите прав человека» — всего лишь средство «пустить пыль в глаза», «политический трюк», «бесчестная игра». В заключение Б. Кушнер советовал ведомству Малюре «исчезнуть», а ему самому «подать в отставку».

Малюре, конечно, в отставку сам никогда бы не подал, если бы французские избиратели не проголосовали за отставку всего правительства Ж. Ширака. И по части прав человека к нему счет у избирателя был немалый. Ведь не только Люсьен Барбье погиб во время разгона демонстрации в период правления правых...

## **СПРАВКА**

Согласно закону, принятому 23 октября 1935 года и действующему до сих пор, во Франции шествия, марши, собрания людей и все другие публичные манифестации должны быть предварительно объявлены.

Единственным исключением являются манифестации, соответствующие обычаю той или иной местности, религиозные шествия или народные празднества.

Перед проведением демонстрации о ней следует заявить в мэрию или префектуру (для Парижа) по меньшей мере за три дня и максимально за 15 дней до проведения демонстрации. Следует при этом назвать имя и домашние адреса главных организаторов демонстрации. Заявка на проведение демонстрации должна быть подписана по меньшей мере тремя из них с указанием их профессии, наличия гражданских прав, цели демонстрации, даты ее проведения, часа проведения, перечисления группировок, в ней участвующих, а также предполагаемого маршрута. На проведение демонстрации выдается специальное разрешение. Если заявка делается в мэрии, решение о ее проведении принимается не позднее чем через 24 часа в префектуре полиции.

Префект полиции или мэрия могут запретить проведение демонстрации, если она будет сочтена опасной для общественного порядка. Запрещены демонстрации, которые проводятся без объявления заранее или после того, как они были запрещены полицией. Такого рода демонстрации могут быть разогнаны силой, а их участники привлечены к административной ответственности.

Представитель сил порядка может отдать приказ о применении силы для разгона подобной демонстрации после двух устных предупреждений. За нарушение правил проведения демонстраций их участники могут быть подвергнуты административному штрафу. Аналогичным образом могут быть привлечены к ответственности те, кто либо в публичных речах, либо письменно (через газеты, листовки и плакаты) призывает к проведению демонстрации, которая запрещена. Они могут быть привлечены к тюремному заключению на срок от одного месяца до одного года, а также приговорены к штрафу от двух до восьми тысяч франков.

## **РАЗОРВАННЫЙ КОКОН**

Как Париж умеет устраивать демонстрации! Как парижане умеют идти по улицам своего города с лозунгами и транспарантами! Нельзя не любоваться этими людьми, их легко угадываемой внутренней свободой, суть ко-



торой определяется нехитрой формулой — можно все, что не запрещено законом. Эту формулу нельзя усвоить сразу. С ней надо родиться...

Примерно так я прекраснотворствовал, наблюдая за тем, как шли и шли от Монпарнаса к площади Инвалидов студенты. С грузовика, на котором они установили нечто трехэтажное, где разместились штаб манифестации, джаз-оркестр и «дирижеры», по сигналу которых колонны подхватывали то двустуше, то очередной лозунг против ненавистного «закона Деваке». Деваке занимал в правительстве Ж. Ширака не бог весть какую высокую должность, но был в партии голлистов личностью довольно влиятельной, одним из ее идеологов. Вот он и придумал закон, по которому правые намеревались перекрыть доступ «простолюдинам» к университетским дипломам. А это в условиях Франции означает лишить молодежь из многочисленного «среднего класса» шанса получить высокооплачиваемую работу. Студенческая вольница взбунтовалась. В начале декабря 1986 года к ней присоединились учащиеся лицеев, по-нашему — старшекласники, преподаватели, даже родители студентов.

Буза была прекрасной. На пожухшей травке площади Инвалидов стояли два «шпаненка», которых отец всячески уговаривал: «Ребята, поздно уже. Пойдем домой. Посмотрели, и хватит. Не дай бог что случится...»

«Пап, — отвечали ребята. — Это наш первый в жизни «маниф» (так сокращенно они звали манифестацию). — Дай посмотреть! И потом, сейчас петь будут...»

У родителя вроде бы и впрямь не было никаких причин волноваться. Демонстрация была явно мирной. Поближе к мосту Александра III заранее установили эстраду. Там уже готовились выступать ораторы. А потом должен был начаться концерт. Говорили — придет «сам Рено» — звезда французского рока, кумир бедняцких районов и парижского студенчества. Мелкие торговцы спешили на площадь со своей нехитрой снедью. Дымили переносные жаровни, к небу поднимался горьковатый запах шашлыков и свиных колбасок. Студенчество не то, чтобы пировало, а просто закусывало. Но на площади собралось уже едва ли не полмиллиона участников «манифа», и с близлежащих улиц все подтяги-

вался народ. Тут и по франку можно было торговцам-лотошникам прилично подзаработать.

Ребятишки, для которых этот «маниф» был первым в их жизни, кричали громче всех, вторя «дирижерам»:

Деваке, идиот!  
Твой закончик не пройдет!

Через минуту из творческой лабораторин, установленной на «штабиом» грузовике, кто-нибудь выдавал очередной перл, и вся площадь опять скандировала:

Эй-гей, Моиори!  
Мы бастуем до зари!

Это площадь отвечала министру образования Р. Моиори. Накануне он пытался уговорить студентов вернуться в аудитории, не бастовать больше и обещал, что в «закон Деваке» внесут кое-какие поправки. Студенты заявили, в том числе Миттерану, что будут бастовать, пока ненавистный закон не отменят совсем.

Нашла коса на камень. Правительство решило, что демократия выходит ему боком. К площади Иивалидов заранее стянули части военизированной полиции (Сэ-Эр-Эс), перекрыв все подходы к Национальному собранию, Матиньонскому дворцу и близлежащим министерствам. Между сэ-эр-эсовцами и студентами пролегла невидимая черта, переступить которую означало уже преступить закон. Но среди студентов мало кто думал об этом. «Маниф» был прекрасен, это был праздник, и весь Париж принадлежал им, а не этим угрюмым молодчикам в темно-синих мундирах, с карабинами и пластмассовыми щитами. Гигантский «маниф» раскачивался, скандируя лозунги, вторя ораторам и певцам. Конечно, его еще и «раскачивали». Полумиллионная мирная толпа притягивала к себе, как магнит, группки анархистов с их вечной неутоленной жадной потасовкой с полицией. Она сама по себе подогревала зуд хулиганья и заранее спрограммированное «возмущение» провокаторов.

Трудно сказать, как это произошло, но невидимую черту переступили, нарушили. А стражи порядка словно ждали этого. Сэ-эр-эсовцы двинулись на площадь, отесняя «маниф» на бульвары. Упали первые раненые. Кому-то выбили глаз резиновой пулей. Кричала девчон-

ка от удара кованым ботинком в живот. Словио масла в огонь плеснули «дирижеры» иновое двустисье:

Сэ-эр-эс —  
Эс-Эс!

Темио-синие муидиры зверели. Над толпой проиес-ся крик: «На баррикады!» Студенты перевернули чью-то машину, брошенную на площади незадачливым владельцем. Она загорелась. Это было словио сигналом. Целый отряд «темио-синих» с пластмассовыми щитами вкли-иился в толпу, нанося без разбору удары увесистыми дубинками.

Их гнали по бульварам, по иабережной Сеиы вплоть до самого Латинского квартала. Шла охота. Шел гон под крики «Ату их!». Незадачливых бунтарей в азарте били по голове чем попадя и сбрасывали с мостов в Сеиу...

Около полуночи, миновав кордоны полиции, мие удалось проехать к площади Данфер-Рошери. Толпу студентов у памятника в центре площади рассекли мотоциклисты-полицейские — прославившиеся своей жестокостью «мотары», специально натасканные на разгон забастовок и недозволенных демонстраций. Водитель на полиой скорости направляет мощный мотоцикл в толпу, а сидящий сзади него полицейский-напарник на ходу на-иносит удары дубинкой. Студенты бежали, прятались в подъездах домов, пробираясь переулками к своим аль-ма-матер. Еду на улицу Жюсье. Там — несколько фа-культетов Парижского университета, там, как мие ска-зали, самая буча.

Когда студенты, убегая от полиции, прибежали к его чугуиним воротам, уииверситет был закрыт. По терри-тории бегали овчарки. Ворота все же удалось открыть, и ребята объявили, что оккупируют уииверситет. Кто-то крикнул: «Ура! Мы взяли Жюсье, а наши взяли Сор-бониу!» Они разгорячены погоней, стычками, схватками, как сказали бы военные — арьергардными боями. Им все еще хочется действий, а значит, и баррикад. Но уже заработал координационный комитет. «Идите в 55-ю аудиторию! — говорит какой-то студент в мегафон. — Там решим, что будем делать завтра!»

По одному, проверяя студенческие билеты, участии-ков «манифа» пускают в здание. Это и безопаснее. Ведь охота на студентов продолжается.

Улица Жюсье. Час ночи. Откуда-то от набережной к университету пробирается толпа студентов человек в сорок. Навстречу им с улицы Кардинала Лемуана вылетают три микроавтобуса мышиного цвета, битком набитые сэ-эр-эсовцами. Они выскакивают из автобусов, отсекают студентов от университета. Будут бить. В этом уже нет сомнений — солдаты идут на безоружных мальчишек сомкнутым строем. И вдруг команда: «Огоны! Газом!»

Удушливое облако заполняет перекресток. Слезы из глаз льются безостановочно. Дышать тяжело, но я все же далеко, мне полегче. А какой-то студент зашелся в кашле, упал. Бумажная канистра из-под слезоточивого газа падает мне под ноги. На ней под сиреневой полосой латинскими буквами написано: GR FL Ma LAC MFA. В кружочке выведены буквы СВ, а чуть пониже — 9-PSM-75. Что это такое за маркировка, я так и не выяснил, но канистра эта по сей день стоит у меня на рабочем столе. Это сувенир — объясняю я своим гостям. На память о французской демократии.

...Там, на Жюсье, я только-только познакомился с тем, как эта демократия действует. Мои французские коллеги поопытней. У них на головах — я даже не сразу заметил — каски, как у строительных рабочих, с надписью «Пресса» либо мотоциклетные шлемы. В любом случае, даже если на голову опустится по недосмотру дубинка, самортизирует.

Офицер «темно-синих» видит, что я одет не по форме, и выхватывает у меня фотоаппарат. Тут же по бокам встают два солдата. Карточка прессы меня, однако, выручила. Офицер отдает мне фотоаппарат, крутанув его зачем-то на прощание в руках, будто хотел разбить его с размаха о тротуар. Я не заметил, но мне потом объяснили, что у него был в руках специальный приборчик, с помощью которого он и засветил пленку в моем аппарате. Солдаты толкнули меня на пяточок, оккупированный журналистами: «Смотри, отсюда ни шагу!»

Два часа ночи. На улицах горят костры. Многие участники «манифа» приехали в Париж из пригородов, а то и из других департаментов, остались без крова, греются. Хоть и парижский декабрь мягкий, все же холодно. Подъезжают солдаты, пожарные. Костры гасят, студентов разгоняют. Дубинками лупят их, не стесняясь журналистов.

Еду к Сорбонне. У Пантеона улица перегорожена автобусами с сэ-эр-эсовцами. Заграждение, проверка документов. Но меня пропускают. Пешком иду к площади Сен-Мишель по одноименному бульвару. Чудно. Вокруг такое творится, а в кафе со стеклянными стенами сидят люди и с живейшим интересом наблюдают за происходящим, попивая пиво и кофе. Как на представление пришли. Потом я уже узнал, что не всем из них повезло. Многие стеклянные витрины на Сен-Мишеле повыбивали в ту ночь...

У самого моста, через который можно проехать к знаменитой тюрьме Консьержери и к префектуре, многогалки полицейских машин и «Скорой помощи», серые облачка слезоточивого газа. Студенты мечутся по площади перед мостом, с которого в толпу влетают «мотары». Я едва успеваю вскочить на крышу чьей-то машины: тут не разбирают, кто журналист, кто студент, кто просто вышел поглазеть на студенческую бузу. Бьют жестоко. Укрывшись за машиной, вижу, как студентов выбрасывают из кафе, прижимают к стенке, избивают дубинками, гонят по улице куда-то к Пантеону...

До утра продолжалась эта баталня в Латинском квартале. На «яйцеголовых» была, судя по всему, объявлена вольная охота.

...Рю Месье-ле-Прэнс, дом 20. Тихая, ничем не примечательная улочка — две встречные машины едва разъедутся. И дом неприметный, будто спит среди книжных магазинов и маленьких кафе, которых здесь сотни. Слабый свет фонарей. Старинные каменные тумбы. По таким закоулкам парижские студенты обожают бродить со своими подружками...

В ту ночь, когда все это произошло, улица была пуста. Лишь время от времени слышались от моста Сен-Мишель полицейские сирены и звуки лопающихся канистр со слезоточивым газом.

В два часа ночи в подъезд дома номер 20 вошел служащий министерства финансов Поль Базелон. Он возвращался из кино. В подъезде к нему подошли трое «мотаров». Удар дубинкой свалил его с ног. Кровь заливала глаза, но все же Базелон успел заметить, что в подъезд вбежал худенький мальчонка в белой куртке. «Мотары» отошли от Поля и принялись за паренька. Тот закричал: «Не бейте, прошу, не бейте! Я же ничего не сделал! Пожалуйста, не бейте!»

Самое страшное, что они били молча, будто тесто, месили ногами хрупкое тело. Парнишка затих. Один из «мотаров» ткнул его ногой, перевернул лицом вверх и сказал: «Надо сматываться, он мертвый...» Базелон с трудом поднялся, выполз на улицу. Переулком прошел к бульвару Сен-Мишель, стал звать на помощь. Подъехала «скорая». Он даже не дал себя сразу перевязать, просил помочь тому парню, оставшемуся в подъезде на рю Месье-ле-Прэнс. Парнишку попытались откачать, делали ему массаж сердца, но бесполезно. Он умер, не приходя в себя, по дороге в госпиталь. Звали его Малик Уссекин.

Уже потом это имя узнали все. Газеты рассказали всю его короткую биографию. Родители Малика — алжирского происхождения. Сам он — французский гражданин, студент «Пари-Дофин» — юридического факультета Парижского университета в районе Дофин. Все с удивлением узнали, что он именно оттуда. Студенты Дофина забастовку не поддержали, хотя против «закона Деваке» и выступили.

Он страшно боялся при жизни «попасть в политику», хотя так уж получилось, что после смерти его имя вошло в самую большую политику Франции — семью погибшего посетил с визитом соболезнования сам президент Миттеран — и в историю студенческого движения страны.

Малик по своим взглядам был типичным представителем «коконового поколения». В отличие от мятежного поколения мая 1968 года «кокон» не помышляет ни о чем, кроме карьеры, и мечтает не о социальной справедливости, а о квартире в «приличном» районе, престижном автомобиле и солидном счете в банке. Идеалы его поэтому от радикализма далеки. Он за правовое государство, за французскую демократию, но, конечно, не в якобинском понимании, а исключительно в термидорианском.

Малик таким и был. Говорили, что больше всего на свете он любил танцы и джаз. Его брат потом рассказывал: «Накануне манифестации на площади Инвалидов мы с ним встретились. И он говорил о чем угодно, но только не об этом». Газета «Монд» удивлялась: «Он меньше всего подходил для того, чтобы стать жертвой...» А кто из них для этого подходил?

У подъезда дома № 20 по улице Месье-ле-Прэнс дол-

го горели свечн, стояли венки. «От студентов Дофина», «От сенаторов-коммунистов» и просто — «От убитых горем родителей». Им было горше всех.

Смерть Малюка неожиданно высветлила всю нелепость ожесточения власти — дубинки и кованые ботики «мотаров» чаще всего, как и на Малика, обрушивались на благонадежных, не на коммунистов, не на буитарей-анархистов и прочих леваков, а на тот самый «кокои», из которого должна была вылупиться со временем смена шираковским правым. Уже потом Ширак и его партия заплатились за Латинский квартал проигрывшем на выборах. Но тогда до этого было еще далеко. Студенческая Франция надела траур. И поклялась не забыть...

Забастовка университетов как-то сама по себе сошла на нет. «Закон Деваке» отменили. Поводов бунтовать больше не было. А вот смерть Малика еще долго заставляла кровоточить память. Я шел по Сен-Мишелю, дивясь про себя, как быстро Париж умеет залечивать свои раны — не осталось ни каркасов сожженных машин, ни листовок, которые, казалось совсем недавно, въелись в асфальт. Зеленые уборочные машины мэрии смыли все вместе с кровью и гарью с мостовых Латинского квартала...

Маленькая, только для пешеходов улица со смешным названием «Кошка ловит рыбку». Проходишь через нее от набережной Сены, где буквально еще вчера «мотары» гонялись за студентами, и попадаешь в Латинский квартал ночных кафе и рестораничков, мюзик-театров и бродячих факиров, квартал, который обычно и показывают туристам. Играл какой-то плохо сыгранный джаз. Спали прямо на тротуаре, обняв свои пластмассовые бутылки с «пинаром», бродяги-клошары, парижские божьих. Веселая толпа брела по узеньким улочкам...

Пятеро полицейских, на всякий случай всё еще с рацией, но уже без карабинов, шли сквозь толпу в явном прекрасном расположении духа, то и дело покатываясь от хохота. Прошло почти два года, прежде чем среди таких, как они, удалось разыскать убийцу Малюка, и еще почти год ушел на то, чтобы их осудить. Правовое государство убедительно доказало, что безнаказанно убивать нельзя, даже полицейским. Все вроде бы стало на свои места. Разве что... Разве что так надежно соткали-

ный французским буржуазным обществом кокон, в котором, оберегая от социальных бурь и крамольных мыслей, хотели вырастить молодежь, до времени лопнул. Юным глазам предстало то, что для них не предназначалось. Стена дома № 20 заклеена вырезками из газет, писавших о Малике в те декабрьские дни. Рядом — листки из студенческих тетрадок с письмами к нему, уже мертвому, со стихами, текстами наскоро сочиненных песен. Авторы распевают их тут же, под гитару. Над Латинским кварталом звучит рефрен:

...Да, я не знала тебя,  
не знала тебя,  
Малик!  
Но я влюбилась в тебя,  
полюбила тебя  
и буду помнить всю жизнь!..

Гора цветов. Мерцают, оплывая, свечи. Люди останавливаются, читают студенческие письма, пытаюсь понять, что же здесь все-таки произошло. Старушка кладет букетик фиалок на символическую могилу Малика и крестится. «Невероятно, как это могло произойти во Франции, — говорит она, ни к кому особо не обращаясь. — Слава богу, хоть отменили этот закон, как его, Деваке...»

## ГОЛУБИ, РЕЙН И ШПИОНЫ

Не думайте, что я решил копировать в заголовках О'Генри и соревноваться с его творением «Короли и капуста». Просто все три слова, вынесенные в этот заголовок, так или иначе имеют отношение к правовому государству, которое функционирует исправно и во Франции, и в других странах Западной Европы. Рассказывая об этом, я тем самым хочу ответить на критический возглас: «Ну зачем же все сводить к подавлению демонстраций инакомыслящих и бунтарей?! Разве нам нечему поучиться у западных правовых государств?» Есть. И давайте учиться. Но и не забывать при этом о Малике Уссекине, Люсьене Барбье... Но, впрочем, вернемся, как говорят во Франции, к нашим баранам, а точнее — к голубям.

Если кто-то вздумает в Париже покормить голубей,



то к нему поначалу подойдет полицейский и вежливо предупредит, что этого делать не следует. Если будет продолжаться «благотворительность», следует штраф 800 франков. Так заведено в Париже с 1955 года, когда префектом департамента Сены стал Эмиль Пеллетье.

Столица в те времена насчитывала 200 тысяч голубей, и их численность угрожающе разрасталась. Пеллетье, запретив кормить, запретил и убивать голубей. Борьбу с их плодовитостью было уже тогда решено повести научными методами, так как никакими отловами, массовыми отстрелами решить проблему не удавалось. А голуби между тем стали подлинным бедствием многих городов мира, в том числе и Парижа.

Медики, например, считают, что эпидемия гриппа во Франции 1988 года была не чем иным, как орнитозом — распространенной среди голубей болезнью, которая передается человеку. Немалый ущерб эти птицы наносят, кроме того, историческим памятникам, зданиям, набережным, то есть фактически любым городским сооружениям.

Уже при Пеллетье была создана специальная группа, которая выявляла места скопления голубей и их обычной кормежки. Именно там и ставила полицейские посты префектура... Сейчас при мэрии Парижа действует «голубиная служба», в составе которой, кстати, всего семь человек. Каждую весну, когда у их подопечных начинается брачная пора, они выходят их кормить. Но не только обычным кормом. В него добавляют зерна кукурузы, покрытые специальным раствором, который служит для голубей эффективным противозачаточным средством.

По подсчетам специалистов, для полного эффекта каждой птице надо скармливать ежедневно до 30 граммов обработанного таким образом зерна. Но даже с учетом того, что применяемый метод эффективен, по мнению орнитологов, всего на 60 процентов, парижскую голубиную стаю все же удалось резко уменьшить по сравнению с временами Пеллетье — до 40 тысяч птиц. Поставлена задача и эту цифру сократить до 25 тысяч.

Но убивать голубей по-прежнему запрещается, так как не только в Париже, но и по всей Франции действуют весьма строгие законы об охране наших братьев меньших...

Закон карает за отравление рек. В октябре 1987 го-

да был вынесен приговор, который теперь могут использовать в качестве прецедента все защитники окружающей среды, в том числе неплохо было бы использовать его и у нас против губителей рек, озер и морей. Приговор гласил, что химическая фирма «Саидос» (Швейцария), по вине которой в ноябре 1986 года были отравлены воды реки Рейн и нанесен большой ущерб экологической системе всего этого водного бассейна во Франции, Голландии и ФРГ, заплатит Франции 46 миллионов франков штрафа. Из суммы штрафа 11 миллионов франков выплачены обществу «Эльзас-Рейн», в которое входят жертвы отравления 1986 года, еще столько же выделяется охотничьим и рыболовным обществам Франции, 17 миллионов пойдет на субсидирование программ восстановления экосистемы Рейнского бассейна.

Всего с учетом ущерба, нанесенного Франции, ФРГ и Голландии, утечка ядовитых веществ в Рейн обошлась фирме «Саидос» в 150 миллионов французских франков.

И наконец, в том же октябре того же года международный арбитражный суд в Женеве, созданный с согласия правительства Франции из представителей самой Франции, Швеции и Новой Зеландии, постановил возместить организации «Гринпис» убытки в размере 8,1 миллиона долларов.

В такую сумму обошлась Франции авантюра ее спецслужб, взорвавших в июле 1985 года в новозеландском порту Окленд судно «Рейнбоу уорриор», на котором участники «Гринпис» намеревались выйти в Тихий океан в знак протеста против ядерных испытаний Франции на атолле Муруроа.

Человек в условиях правового государства и сам учится постоянно соизмерять свои действия с законом. Цивилизованное поведение начинается именно с этого. А значит, уходит все глубже в подсознание, где ей и место, та необузданная злоба по отношению к ближнему, который не желает поступиться своими удобствами ради твоих или не хочет поступить так, как с твоей точки зрения и следует поступить единственно правильно...

...Я не забуду Елисейские поля в день 14 июля 1989 года, в день 200-летия революции. Трудно сказать, сколько парижан и гостей Парижа пришли на эту улицу, которую зовут «самой красивой в мире», в тот вечер посмотреть праздничное карнавальное шествие. Но не

меньше миллиона. Поначалу задние напирали на передних, пытаясь прорваться от домов к самой кромке тротуара. Начиналась толчея, пока кто-то не крикнул первым: «Садись!» И тут вся толпа начала скандировать: «Садись! Садись! Садись!» И все вдоль Елисейских полей — от Триумфальной арки до площади Согласия — стали садиться прямо на асфальт, благо лето и сухо, чтобы кариавал мог увидеть каждый, кто пришел его посмотреть.

Давалось это усаживание нелегко. Задолго до того, как появились первые «ряжеиые», был разыгран целый сценарий демократического волеизъявления масс. Несколько человек, которые пришли на Елисейские поля едва ли не с утра и заняли лучшие места у самой кромки тротуара, инкак не хотели сест и упорно продолжали стоять. Толпа продолжала скандировать: «Садись! Садись!» Затем кто-нибудь подходил и уговаривал самых упорных. Если и после этого не соглашались, то сидевшие начинали петь что-нибудь вроде: «Как тебе не стыдно, нам ничего не видно!» — и тут уже сдавались самые стойкие. Но все же до конца всех усадить было, казалось, невозможно. У барьера стоял старик, судя по всему, ветеран. Толпа моментально обшкала мальчишку, который кинул ему в спину бумажный шарик и крикнул: «На гильотину его!» Наконец было найдено соломоново решение. Кто-то принес старику раскладной стул, и несколько человек дружно перенесли его через барьер ограждения вместе с этим стулом, посадив в «партере», то есть прямо на мостовой.

Не везде шло все так мирно, где-то кто-то огрызался, кому-то попали огрызком яблока по затылку, что вызвало в ответ выстрел пластмассовой бутылкой с недопнтым лимонадом. Но драки не было в миллионной аудитории ни одной, что, наверное, заставило бы Чаадаева переменить свое мнение о толпе. Улица была разумной в тот день, достойной лучших традиций Великой французской революции. И именно эти традиции, умение каждого соотносить с ними и законом свое поведение превратили ее из толпы в коллектив.

А как все-таки сами французы относятся сейчас к своей революции?

...Поднимаюсь по ступеням городской ратуши Парижа, по той самой лестнице, по которой шел 17 июля 1789 года под стальным сводом скрещенных шпаг на-

родных избранных Людовик XVI. В парадном зале ратуши сейчас висит в напоминание об этом событии картина, на которой изображен тогдашний мэр Парижа Байи, прикрепляющий на платье короля бутоньерку цветов нынешнего французского флага. Я захожу в этот зал и вглядываюсь в лица людей, его заполнивших, в выданные им мэрией пластмассовые «визитки» с их фамилиями и именами их предков. В ратуше собрались потомки действующих лиц Великой французской революции.

Мэрии Парижа, которая занималась их розыском около года, удалось найти великое множество исторических реликвий и документов, и даже одну из тех туфель, в которой Людовика XVI вели на эшафот. Но главное — нашли две тысячи живых людей, сумевших на сто процентов доказать, что они потомки именно тех французов, которые были героями грандиозной исторической драмы по имени Великая французская революция. Под старинными сводами ратуши мирно беседовали с бокалами шампанского в руках праправнучка убийцы Марата Шарлотты Корде и очень похожий на своего предка потомок Дантона. О чем-то оживленно спорили два с виду преуспевающих бизнесмена с табличками Мирабо и Робеспьер. С любопытством посматривали друг на друга далекие отпрыски палача Сансона и тех, кого он бросал под нож гильотины...

Время примирило их. Мадам Барбу, предок которой вошел в историю революции тем, что печатал первые во Франции карманные книжки для народа, говорит в ответ на мой вопрос о том, как она относится к революции: «Она была, на мой взгляд, необходима. Но в том, что касается террора, я против». Национальное примирение через 200 лет выглядит и трогательно, и нелепо. Незадолго до революционного юбилея состоялся заново процесс Людовика XVI и Марии-Антуанетты. Их оправдали за отсутствием состава преступления и признали тем самым, что головы им отрубили зря. Буржуа могут себе позволить сейчас такое благородство, потому что монархисты, даже при всем том, что у них есть своя партия во главе с законным наследником дома Бурбонов и за монархию, согласно опросам, по-прежнему выступают до 17 процентов французов, погоды во Франции они уже никогда не сделают. Во Франции правят другие короли.

Неподалеку от Парижа, в пригороде Сен-Кантэн-ан-

Ивлнн, весной 1989 года завершилась еще одна стройка, которую никто особо не рекламировал. Комплекс современных зданий из стекла и бетона по имени «Челленджер», построенный по проекту американского архитектора Кевина Роше, заказал для штаб-квартиры своей строительной корпорации бетонный король Франсис Буиг, один из самых богатых людей Франции. Пока здания стояли в стропильных лесах и не было видно, как они соотносятся с искусственными прудами, английскими лужайками и цветниками, никто и не замечал, что Роше построил для Буига современный дворец с явным прицелом превзойти королевский в Версале. Чтобы подчеркнуть этот свой «вызов», а «Челленджер», кстати, так и переводится — «бросающий вызов», архитектор использовал тот же принцип расположения зданий и парка вдоль одной и той же оси с удалением в перспективу, который положили в основу дворцово-паркового комплекса Версаля архитекторы короля Людовика XIV Ле Во и Мансар. Один американский журналист писал, комментируя затею Буига: «Если бы Людовик XIV приехал сегодня в Версаль, он предпочел бы жить в том сооружении, которое создал Роше, а не в том, что сделали для него Ле Во и Мансар. Ведь это действительно дворец. Разве что он только иначе называется. А рабочий кабинет Буига расположен в нем буквально так же, с таким же точно видом на сады, как и спальня короля-Солнце в Версале...»

Буиг не постеснялся именно накануне революции бросить свой вызов всей той Франции, которая искренне верит, что на ее земле действительно реализован провозглашенный 200 лет назад лозунг «Свобода! Равенство! Братство!». Причуда мультимиллионера не такна поверку и невинна. Ведь как ни ругали Робеспьера, «Неподкупный» понимал, что алчность буржуа не знает границ и это может погубить любую республику. 200 лет назад он предвидел возможность «вызова Буига»: «Зачем мне такая Республика, — писал он, — где всевластие трона и церкви придет на смену власти богатства, где вместо одного тирана будет их несколько тысяч?»

Удивительно современно прозвучали эти слова именно в ходе самого празднования 200-летнего юбилея. В Париже с 14 по 17 июля как раз проходила встреча руководителей самых богатых, самых развитых капиталистических стран — Англии, Италии, Канады, США,

Франции, ФРГ и Японии. Они решали великое множество вопросов — от задолженности «третьего мира» до отношений с социалистическими странами. По сути дела, решали судьбы мира. И вот в эти же дни в Париж приехали на свое «контрсовещание» посланцы семи самых бедных стран — Бангладеш, Бразилия, Буркина-Фасо, Гвинея, Мозамбик, Филиппины и Замбия. Они приняли свою заключительную декларацию, в которой заявляли: «Мы отказываем «семерке» в праве говорить от имени всего мира и за все человечество». Конечно, декларацию у них вежливо приняли, но дальше порога Луврской пирамиды не пустили. На вершине капиталистической пирамиды действуют свои законы, право сильного, право богатого, из которого там и исходят при выработке политики по отношению и к бедным людям, и к странам-беднякам. Об этой реальности обычно у нас не любят говорить сторонники «гуманного капитализма». А знать ее надо. Особенно молодежи.

## «ПООБЕДАЮ У ВОКЗАЛА В ПОЛНОЧЬ...»

В сквере у площади Камбуриса на скамейке рядом с бронзовой скульптурой рычащего льва, напоминающей об африканских колоннальных походах Франции, он устроился по-хозяйски. Под голову положил выдавший виды пиджак, вместо матраца подстелил кусок поролона, а сверху укрылся большим пластмассовым чехлом, выложенным изнутри старыми газетами. Видно почувствовав на себе мой взгляд, он проснулся, быстро свернул в рулон свою пластмассовую «постель» и аккуратно затолкал ее под скамейку.

— А сегодня тепло, — сказал я, чтобы хоть как-то начать разговор. — Уже январь кончается, а снега так и не было.

— Когда идет снег, спать лучше всего на решетке, вон там, — сказал он, показывая в сторону Эколь Милитер — военной академии, расположенной неподалеку, напротив здания ЮНЕСКО. — Но оттуда в последнее время гоняют.

Вот почему, подумал я, его несколько дней не видно на привычном месте. И решетку метро у светофора обнесли какой-то загородкой. Видно, пожаловались: в

таком приличном квартале — клошары (так называют бродяг в Париже).

Я сказал ему, что сам по профессии — журналист, что хочу написать о таких, как он, и, если он не против, мы можем зайти в кафе позавтракать, а заодно поговорить.

— У клошаров, — заметил он, — свои кафе, месье. В ваши мы не ходим.

— А где это, если не секрет?

— Одно неподалеку, на Монпарнасе. Называется «Сестренки бедняков». Там подают прекрасные сэндвичи с половинны десятого до половинны двенадцатого... И, можете себе представить, бесплатно! Но мне пора, извините. Пока, пойду.

— Я подвезу вас.

— Не знаю даже. Боюсь, испачкаю вам машину.

Их называют «эксклю», то есть исключенные, выброшенные из жизни, не охваченные системой социального страхования и вспомоществования. Рассказывать о себе они не любят. Когда на них наводят кино- и фотообъективы, отворачиваются, а то и берутся за камни. Лучшие не подходят. Люди, озлобленные голодом, многомесячными мытарствами без работы, нередко и без крышки над головой, любопытствующих, в том числе и нашего брата журналиста, не жалуют. Сколько их? Кто они?

Правительственные источники приводят цифру — 2 миллиона человек. По данным же Комиссии европейских сообществ, во Франции около 8 миллионов человек живут ниже уровня бедности. Когда шираковского министра по социальным делам и занятости Ф. Сегэна спросили, насколько верны эти цифры, он ответил: «Трудно сказать. По разным подсчетам «эксклю» — от 1 до 2,5 миллиона. В это число входят, кстати, те, кто имеет право на социальное обеспечение, но не знает об этом. У нас существует проблема неграмотности. Данные об этом варьируются, по разным оценкам, от 7 до 12 процентов населения неграмотны. К тому же есть длительно безработные — 850 тысяч человек. И прибавьте к этому их семьи...»

Из интервью министра было ясно, что даже в его министерстве не знают точных цифр, по которым можно было бы судить: а сколько же французов попало в число отверженных «эксклю» и нуждаются в срочной

помощи? Да и при социалистах, хотя те помогали беднякам куда активнее, полагались главным образом на благотворительные организации.

Перед рождеством по всей Франции открываются три-четыре сотни «ресторанов сердца», бесплатных столовых, созданных впервые в конце 70-х годов французским комическим актером Колюшем. Тогда думали, что это ненадолго. Но «рестораны сердца» и другие бесплатные «обжорки» стали неотъемлемым элементом французской жизни, пережив даже своего создателя.

...Мой знакомый из сквера на площади Камбронн все же согласился, чтобы я его подвез. По пути рассказал, как и где добывает хлеб насущный... У каждого из них свои маршруты, по которым их ведет голодный желудок. С утра в Париже можно пожить кофе в конгрегации «Миссионеров милосердия» неподалеку от Лувра, а потом — урвать бутерброд у парижской мэрии. Главное — не опоздать. Желающих много. Но если с бутербродом не повезет, можно попытаться получить бесплатный суп у метро Мабийон поблизости от бульвара Сен-Жермен. Или пройти чуть подальше в «Центр надежды» Армии спасения. Там всегда кто-то есть. Правда, придется слушать долгую лекцию о спасении души, но когда идет дождь или холодно, отчего не послушать.

С обедом плохо. Обед нередко приходится сразу же на ужин. В Париже всего четыре «ресторана сердца», и очереди туда страшнейшие. Стоять приходится по два-три часа. Неподалеку от парижского вертолетодрома, у площади Луи Арман, можно с часу до двух получить суп, дешевенькое жаркое, выпить горячего чая. Но это если успеешь до закрытия. Старожилы ходят к церкви Святого Ипполита на Шуази. Хоть и подальше, но наверняка... И вообще в 12-м округе все это лучше поставлено...

Благотворительные организации ворочают миллионами. Они обрастают бюрократическим штатом, современными компьютерными установками, переселяются в небоскребы, дают рекламу в газеты, на телевидение. Сбор средств идет непосредственно из телестудий. За вечер, бывает, собирают миллионы франков. Пожертвования к тому же освобождают от налогов, и филантропы не прочь покрасоваться перед телекамерами, выписывая чеки на крупные суммы.



Компьютеры благотворительных организаций дают точные цифры. В 1986 году было выдано 15 миллионов бесплатных обедов. В 1987—1988 годах (с декабря по март) 7 тысяч добровольцев «ресторанов сердца» в 700 «точках» раздавали до 220 тысяч обедов в день. По телевидению объявляли: чтобы продержаться до начала февраля, собранных денег пока хватит. Чтобы дойти до 21 марта, надо собрать еще около 10 миллионов франков. Даже в ночь на Рождество шел телесбор денег в фонд «ресторанов сердца». А ведь собирали еще «Секур популер франсе», куда более опытная и мощная «Секур католик», организация благотворительного питания «Хлебный мякиш» и другие. Помощью беднякам занимаются сотни организаций, тысячи и тысячи энтузиастов. Кое-где, как, например, в городе Гренобле, мэрии берут на содержание своих городских нищих и клошаров. Только французское государство гордо стоит в стороне от конкретной помощи тем, кто бродит по Парижу и другим городам в поисках съестного...

Когда идешь по этим маршрутам, видишь столько горя, что даже не верится: неужели все это происходит в наши дни в богатой Франции?!

Восемь часов вечера. Воскресенье. «Дорога бедняков» привела меня на Плас Насьон, в переводе площадь Нации, ту самую, которая когда-то именовалась Троиной, ту самую, где стояла гильотина, откуда увозили обезглавленные трупы на близлежащее кладбище Пикпюс. Теперь она — одна из самых красивых в Париже. Лучами расходятся от нее улицы, авеню и бульвары. В одном из многочисленных сквериков, вписанных в гигантский круг площади, в мягком свете фонарей пенсионеры режутся в «буль» — железные мячи, кидать которые правильно, а уж тем более с попаданием в цель, действительно можно научиться, пожалуй, только к пенсии. Бесшумно скользят по асфальту машины. Чинно прогуливает сибирскую лайку — их модно держать в Париже — дама в кожаном костюме с огромными серьгами в ушах.

У метро рядом с выходящей на площадь улицей Дорьян стоит белого цвета грузовичок-фургон, на котором большими буквами написано: «Эммаус». Еще одна религиозная организация включилась в операцию «помощь беднякам». Внутри фургона горит свет, но заднюю дверь его не открывают, и толпа, собравшаяся

у метро, волнуется. «Может, не привезли ничего? Вы не знаете? — слышатся голоса. — Вот на днях на Мотт-Пике тоже машина приехала, но ничего не дали, сказали, только хлеб. Хлеб — это хорошо. Но все же мало...»

Дверь поднимается вверх, как жалюзи, и к прилавку сразу же тянутся руки. В пластиковые квадратные миски из установленного в фургоне котла девушка разливает поварешкой суп, а пареи вручает всем по очереди полиэтиленовые пакеты — там бутерброд, апельсин и плавленый сыр.

В сквере сидит с миской и пакетом седой человек в когда-то модном пальто и шарфе, завязанном поверх воротника и переброшенном одним концом на спину, как это принято у парижан. Я жду, пока он поест, потом представляюсь, задаю свои вопросы, понимая, насколько они бестактны, ибо журналистика журналистикой, а у человека — беда. Он оказался бывшим банковским служащим. Уволен полтора года назад, когда ему исполнилось ровно сорок девять лет (на вид я бы ему дал лет 65). Долгое лечение после сложной операции из-за автокатастрофы съело все сбережения. Семья распалась. Найти работу он уже больше не надеется. Правом на пособие потерял.

«Не все, конечно, у нас во Франции совершенно, — говорит он. — Самое страшное, конечно, — безработица. — И, горько улыбувшись, добавляет: — Но все же с голоду не умираем. Сегодня, правда, непросто — воскресенье, не везде было открыто. По сути дела, у меня это завтрак. Но часа через два пообедаю. Около полуночи будет кормить Армия спасения у Северного вокзала...»

\* \* \*

...Бедный люд Парижа через 200 лет после взятия Бастилии собрался как раз на той площади, где она когда-то стояла. Это было 8 июля. Популярные в народе певцы бросали в толпу, словно на раны соль, слова песни: «Богатые все у нас отобрали — и революцию, и ее юбилей...»

Конечно, не для бедняков было официальное празднество с вечерними туалетами от Диора и Ив Сен-Лорана, с дорогим шампанским, с гусиной печенкой, подававшейся, как это было принято при королевском

дворе, с сотерном хорошей выдержкн н с тонко нарезаннымн трюфелями. Не в ресторае «Ше Прокоп», где любил сиживать Марат, а теперь заказывают «Поджарку 200-летие» люди с большнмн деиьгамн, поднимал рабочий стаканчнк за свою революцню, а у себя дома нли в близлежащем баре. И все же он этот стаканчнк поднимал, иначе он не был бы французом.

Об отношении французов к революцин нельзя судить тем не менее однозначно. Сколько людей, столько н мнений. Даже в нскусстве оценка событий 1789—1794 годов бывает полярной. На сцене парижского «Пале де коигрэ» несколько недель подряд с аншлагамн шла пьеса «Свобода нли смерть» в постановке Робера Оссейиа. Прекрасные актеры, великолепная режиссура, потрясающий спектакль. Ему аплодируют с первой картины н до последней. Но особенно рьяно в тот момент, когда кандидата в диктаторы Максимилана Робеспьера уводят со сцены иа казнь н во Франци наконец-то устанавливается власть закона. Для многнх моих французских коллег это н есть апофеоз законности н порядка, торжества правового государства, которое, с их точки зрения, н было конечной целью Великой французской революцин. Мы же привыкли этот финал отождествлять как раз с крахом революцин н воцареннем термидорнаиской реакцин. Может быть, нмению поэтому Мирабо у нас иа почтовых марках пока н не изображают.

«1789 и мы» — это тема большого разговора н размышления. Так иазывали иаучиые диспуты. Так иазвал свой балет Морис Бежар. В нем есть великолепный образ Негасимого Огня — символ преемственности духа революцин, который передался от Великой французской, как прометеев огонь, всем революциям от Парижской коммуны до Великого Октября, от кнтайской до кубинской.

Как и все великое, эта революция нмее несколько жнзней. Она такова, что со смеиой эпох каждый класс н каждый мыслящий человек будет всегда находить в ней что-то свое, новое, не замеченное его предшествеинниками...

# Глава 2

Монпелье. Вид на променад Пейру и старый аиадук.



Когда-то здесь в Монпелье стоял арсенал. Жилой квартал теперь так и называется.



# ОТ ФОНВИЗИНА ДО НАШИХ ДНЕЙ

Вид на Эйфелеву башню с площади  
Трокадеро. Демонстрация курдов.



Версаль. Парк Трианона, королевская деревня.  
По традиции невеста и жених идут сюда  
фотографироваться.



Так в Версале кормят рыб.



Парк «Астерикс».



Продавец шаров.





Показ мод (П. Кэрдэн).



Детская площадка.



Выбирают «Мисс Францию».



Карнавал рыцарей во время парижского международного турнира рыцарей.



## ПИСЬМА ИЗ ФРАНЦИИ

«...Из Лиона приехал я сюда в пять дней. Моипелье — город небольшой, но имеющий приятное местоположение: улицы его узки и скверны, но дома есть очень хорошие. Университет здешний основан в 1180 году, и медицинский его факультет славен в Европе. Вне города есть «Ля пляс дю Пейру», приятнейшее и великолепнейшее из всех известных. На нем прогуливается целый город вседневно... Сие прекрасное место заслуживает и быть в таком климате, каков здешний, где гулянье во все времена года составляет наилучшую забаву...»

От Лиона до Моипелье (всего-то 375 километров) я доехал за четыре часа без особой спешки по отличному скоростному шоссе, подивившись про себя тихходности экипажей времен известного русского писателя Д. И. Фонвизина, автора этого письма, датированного 22 ноября (3 декабря по новому стилю) 1777 года. Всего за 12 лет до Великой французской революции автор «Недоросля» и «Бригадира» приехал на юг Франции со своей супругой. И пока она принимала процедуры и прописанные ей знаменитыми врачами Монпелье лекарства, Фонвизин изучал Францию и французов. Свои впечатления он излагал в письмах на имя покровительствовавшего ему генерала графа П. И. Панина, вошедшего в историю с характеристикой «палач пугачевского восстания». Таку Фонвизина сложилась небольшая книжечка «Письма из Франции», мало у нас известная. Письма эти я перечитывал не раз. То спорил с автором мысленно, защищая французов от его хлестких и не всегда справедливых оценок, то, напротив, удивлялся, как за столь короткий срок он сумел так точно подметить характернейшие черты французской нации, оставшиеся неизменными по сей день, даже по прошествии более двух веков...

Один из самых древних городов Франции — более ста лет назад праздновали его тысячелетие — встретил меня пылью, гарью и автомобильным чадом. Описанные Фонвизиним скверные узкие улочки старого города были до отказа забиты автопробками. Точно следуя тексту «Писем», я прошел под Триумфальной аркой, перекрывшей авеню Фош, и вышел к балюстраде, из-за

которой смотрел на столицу Лангедока с огромного каменного буцефала Людовик Великий. Это и был знаменитый «променад Пейру», реющий над долиной, в которой уместились все окраины и пригороды Монпелье, а также «славный акуэдюк». Вода уже давно перестала по нему течь, но его по-прежнему берегут, о чем красноречиво свидетельствовал недавно положенный — вместо рассыпавшегося от времени — цемент.

День был солнечный. Но ни Средиземного моря, ни тем более Испании я не увидел. Попытался все же представить себе променад времен Фонвизина. Ах, какими-то они были, эти дамы в кринолинах и кавалеры в париках? Как, должно быть, серьезно готовились они к выходу сюда, особенно в те дни, когда поблизости собирались Генеральные штаты Лангедока и из Парижа приезжали посланцы его величества с тем, чтобы напомнить гражданам города, как писал Фонвизин, об истории перехода древнего монпельевского королевства во владение французских государей и о вытекающем отсюда патриотическом «долге верноподданных платить исправно подати...».

Великая французская революция смела и королей, и знать, начертав на скрижалях Республики слова «Свобода! Равенство! Братство!». И сейчас, двести лет спустя, во Франции не утихают споры: а осуществлены ли идеалы революции, по крайней мере те, что провозглашены. Наблюдая Францию предреволюционной поры, Фонвизин писал в конце марта 1778 года: «В сем плодотворнейшем краю на каждой версте карета моя была всегда окружена нищими, которые весьма часто, вместо денег, именно спрашивали, нет ли с нами куска хлеба. Сие доказывает неоспоримо, что и посреди изобилия можно умереть с голоду...»

Тихо на старинном променаде. Истертая брусчатка, старые платаны, выдавшие виды скамейки. Бездомный клошар на одной из них с наполовину выпитой бутылкой дешевого «пинара». Бедно одетая женщина, судя по всему крестьянка, роется в мусорном ящике. Давно ушел высший свет с Пейру. В неподходящей компании оказался Людовик Великий. Смущенно отворачиваются от парий XX века парадные амуры, оседлавшие львов...

Сфотографировав на память виадук, спускаюсь вниз по лестнице на выложенную брусчаткой улицу, которая ведет к расположенному неподалеку «обкому» ФКП —

зданию федерации ФКП района Лангедок-Русильон. Первый секретарь Эрик Масиа рассказал мне о сегодняшнем Монпелье. Стало понятнее, откуда появляются на променаде люди-тени. Здесь рекордная безработица — до 22 процентов в те месяцы, когда нет туристов. Из 210 тысяч жителей Монпелье 30 тысяч человек живут ниже уровня нищеты. По покупательной способности Лангедок стоит на самом последнем месте, отстав от Парижа процентов на 30.

«Работу здесь всегда было найти трудно, — рассказывает Эрик, — а теперь, после решений «Общего рынка» о сокращении отведенных под виноградники площадей едва ли не на две трети, в город хлынули безработные из деревни. Ведь район этот — традиционно винодельческий и, понятно, пострадал сейчас сильнее других. Люди в поисках работы идут на все, на любые условия. У многих рабочий день — десять часов и больше. А теперь и электронную промышленность у нас начали свертывать. Бегство капитала. Деньги бегут туда, где труд дешевле. В данном случае в Барселону...»

В Монпелье любят шутку. Когда спрашиваешь, какое самое главное богатство города, отвечают: «Серое вещество». Монпелье — прибежище интеллектуалов. Среди его жителей 45 тысяч студентов, 7 тысяч ученых и исследователей. Три университета, шесть институтов, богатейшие традиции культуры и просвещения. Здесь учатся и наши студенты, советские профессора преподают русский язык.

Город растет, ширится. Уже есть планы сделать его портом, соединив хитроумными каналами прямо со Средиземным морем. Рядом со старым городом, на месте бывшего полигона, поднялся именно под таким названием новый жилой квартал. А напротив этого многоэтажно-бетонного «Стрельбища» вырос фантастический поселок по имени Антигона. В названии его двойной смысл. Прежде всего прямой — расположенный напротив Полигона. А затем и переносный. Дело в том, что Антигона, хоть и сделана из бетонных панелей, выдержана в духе классической античной архитектуры, что позволило избежать нагромождения современных многоэтажных коробок, типичных для муниципальных застроек во Франции. Многим беднякам мэрия города помогла таким образом обзавестись собственной крышей над головой. Но вот парадокс — в этих сверхсовремен-

ных, сделанных «под Рим» многоэтажках немало семей живут не только без телефона, но даже без электричества, так как им просто нечем за него платить...

Старый Монпелье почти не изменился с тех пор, когда по брусчатке его улиц бродила чета Фонвизных. Несмотря на многочисленные войны и распри, революции и контрреволюции, здесь сумели сохранить акведуки и тысячелетние храмы, каменные дворцы и триумфальные арки, а главное — преемственность культуры и знания, тот самый «гумус» цивилизации, без которого нация обречена на интеллектуальное, да и материальное обнищание.

Неподалеку от Пляс де Пейру — знаменитая медицинская школа Монпелье — «Эколь де медсин» официально основанная в XII веке, хотя обучение врачеванию там началось впервые в 1021 году. Монпелье, таким образом, стал одним из немногих средневековых городов, начавшихся не с церкви, а с храма наук. Впрочем, они удачно сосуществовали. На стене вестибюля медицинской школы висит мемориальная доска, на которой рядом с именами знаменитых врачей — имена знатных французов и кардиналов, и даже королей, изучавших здесь медицину. Соседствующий с анатомическим театром храм Святого Петра был построен почти на три века позже первой кафедры медицины, и не случайно, видимо, его называли Храмом Разума.

Конечно, и здесь свирепствовала инквизиция, и в историю Франции вошел процесс трех студентов-медиков, осужденных «за ересь» в 1528 году. Тем не менее даже во времена религиозных войн Монпелье славился своей высокой культурой и терпимостью. И сумел передать эти свои качества всей Франции, которой по тем временам до монпельевского королевства было далеко. Ведь уже в XII веке сюда ехали в поисках исцеления едва ли не со всего света. И шесть веков спустя, когда Фонвизин привез лечиться свою жену в Монпелье, эта слава за местными эскулапами сохранялась.

Визит Фонвизина особенно интересен тем, что имел место всего за 12 лет до Великой французской революции. До этого и Россия, и Франция были абсолютными монархиями, а уровень их развития — примерно одинаковым. За исключением только политических структур. Во Франции даже в недрах абсолютизма вызревала

потихонечку буржуазная демократия — о чем говорит и фонвизинский рассказ о сборе Генеральных штатов Лангедока, и люди уже во многом привыкли к ней к моменту взятия Бастилии. В России же все еще свирепствовало крепостное право, любые ростки демократии жестоко подавлялись. Несмотря на то, что императрица переписывалась с Вольтером, в те времена слово «вольтерьянец» в русском языке звучало примерно так же, как у нас в 70—80-е годы XX века слово «диссидент».

Во время своей поездки по Франции Фонвизин стал свидетелем знаменитого визита Вольтера во Французскую академию и его избрания ее директором, после чего и восьми дней не прошло, как Вольтер умер в том самом доме на берегу Сены, напротив Лувра, куда провожал его народ с факелами после представления его последней трагедии «Ирени, или Алексий Комини». Эта манифестация Фонвизина потрясла. Но поди поделись таким чувством с вельможным графом. Не поймет! Учтывая это, Фонвизин в своем письме Панину описывает прибытие Вольтера в Париж в 1778 году с известной осторожностью, как бы отстраняясь от «вольтерьянца» номер один, подчеркивая, что не на него лично, а на «народ здешний», прибытие Вольтера «произвело точно такое... действие, как бы сошествие какого-нибудь божества на землю. Почтение, ему оказываемое, ничем не разнится от обожания». Как опытный придворный и неплохой полтик, Фонвизин сразу увидел, чем это обожание чревато. Он предупреждал Панина: «Я уверен, что если б глубокая старость и немощи его не отягчали и он захотел бы проповедовать теперь новую какую секту, то б весь народ к нему обратился...» Трудно сказать, с какой целью, но Фонвизин информировал Панина обо всем в те дни происшедшем весьма подробно и даже направил ему портрет Вольтера с припиской о том, что долго великий философ и писатель из-за пошатнувшегося здоровья и возраста «не протянет».

Почему у автора «Недоросля» это, по крайней мере если судить по контексту его письма, вызвало чувство, весьма близкое к удовлетворению? Только ли из стремления на всякий случай засвидетельствовать свою благонадежность? Но тогда почему с таким небрежением он пишет о демократизме французов? Ведь вроде и Вольтера



он видел, и читал, и не остался равнодушным к искусству Франции. И все же мог написать такое: «Рассудка француз не имеет и имеет его почел бы несчастьем своей жизни, ибо оный заставил бы его размышлять, когда он может веселиться...» Но чего уж я совершенно не ожидал от Фонвизина, так это чинопочтения, которого у французов, судя по всему, не было даже во времена абсолютной монархии.

«Осмелюсь рассказать вашему сиятельству виденное мной в Монпелье, — пишет Фонвизин. — Губернатор тамошний, граф Перигор, имеет в театре свою ложу. У дверей оной обыкновенно ставился часовой с ружьем, из уважения к его особе. В один раз, когда ложа наполнена была лучшими людьми города, часовой, соскучившись стоять на своем месте, отошел от дверей, взял стул и, поставя его рядом со всеми сидящими знатными особами, сел тут же смотреть комедию, держа в руках свое ружье... Удивила меня дерзость солдата и молчанье его командира, которого я взял вольность спросить: для чего часовой так к нему присоединился? «Потому что ему любопытно смотреть комедию», — отвечал он с таким видом, что ничего странного тут и не примечает».

Подумать только — подобная вольность вполне могла иметь место во Франции более 200 лет назад! Задолго до того, как отрубил голову Людовика XVI именем революции. В России тех времен солдата за подобную дерзость заporоли бы насмерть шпицрутенами. И ведь это «право» начальства казнить и мучить своих подчиненных, говорить им «ты» и не допускать к себе иного обращения, как на «вы» и по имени-отчеству, а то и по рангу, вбил шпицрутенами и соответствующим воспитанием не в одно поколение русских людей. Вот почему столь трудным делом во все времена было в России становление демократии. Ведь: «выдавить из себя раба» не мог даже Фонвизин! А вроде бы ни ему, ни его предкам не довелось пережить ни татаро-монгольского ига, ни крепостного рабства. Именно этим историческим опытом у нас иной раз объясняют «российское рабство духа», якобы и приведшее впоследствии к сталинизму, волюнтаризму, застою... Думаю, однако, ни татары, ни монголы, ни помещики здесь ни при чем. Рабство духа скорее всего — обратная сторона нетерпимости, вечного стремления «удивить весь мир», чем —

неважно, воинственного невежества вельможных бюрократов, прикрывающих «патриотизмом» свое нежелание чему-либо учиться у других наций, которое происходит не от ума или даже хитрости, а единственно из обыкновенной российской лени и страха «лишиться авторитету».

Фонвизин, конечно, был много лучше других вельмож. И тогдашних, и нынешних. Он понимал, что «надобно отрешись вовсе от общего смысла и истины, если сказать, что нет здесь (во Франции в частности и за границей вообще. — В. Б.) весьма много чрезвычайно хорошего и подражания достойного». И верно к тому добавлял: «Все сие, однако ж, не ослепляет меня до того, чтобы не видеть здесь столько же, или и больше, совершенно дурного и такого, от чего нас боже избави...» Пожалуй, в принципе этот диалектический подход к загранице справедлив для нас и сегодня. Хотя и сам Фонвизин далеко не всегда в своих «Письмах» был ему верен.

Уже в конце XVIII века в России в расхожее представление о французах, к сожалению, вошли многие из фонвизинских «хлесткостей», в то время как объективные его наблюдения были забыты. Без умысла автора сложился тот «стереотип», который использовался затем для формирования отрицательного отношения не к Франции как таковой — французский язык и культура вообще в российском дворянстве нередко почитались выше всего русского, — а к происшедшим там в 1789 году революционными переменам и к их активным участникам.

Странным образом этот стереотип наложился на наше национальное сознание. Когда произносится слово «француз», у многих почему-то возникает образ беспутного любителя поволочиться, выпить и погулять, по весы, отлынивающего от работы, краснбая, которому неважно о чем говорить, лишь бы почесать языком. Увы, именно такой опереточный персонаж — главный герой фонвизинских «Писем из Франции», хотя, впрочем, и не единственный.

Каков же все-таки француз на самом деле? Насколько далек созданный Фонвизинным его образ от сегодняшней реальности и где он все-таки к ней близок?

Месье Дюпон — мой хороший знакомый. Я его встречаю каждый день, разговариваю с ним часами, мы вместе частенько выпиваем в кафе на углу по чашечке крепчайшего кофе, выкуриваем по сигарете «Галуаз», раздирающей легкие, но зато не пробивающей такую дыру в бюджете, как «Мальборо». Месье Дюпон приносит мне газету и ежедневную почту, выпекает изумительные «багеты» — длинные тающие во рту батоны, которые просто невозможно донести до дома, не откусив хотя бы кусочек. Он круглый год торгует на рынке свежими овощами и фруктами, составляет на ЭВМ прогноз погоды и водит поезда парижского метро. Он стоит у станка и за прилавком маленького магазинчика, крутит баранку такси и колесо знаменитой карусели с лошадками у Эйфелевой башни под аккомпанемент электронной шарманки, держит свой семейный ресторанчик и с утра до ночи пестует доставшийся ему от деда-прадеда виноградник.

Месье Дюпон индивидуален и многолик, ибо так называют «типичного среднего француза». Он живет в каждом городе и в каждой деревне Франции — в одном только парижском телефонном справочнике несколько страниц занимают Дюпоны — и вместе с тем объективно не существует, ибо создан статистикой, а потому, может быть, и похож на себя в ее зеркале, но не более чем фоторобот на фотопортрет. Словом, он один из 55 миллионов французов, проживающих во Франции или ее заморских департаментах и территориях.

Во Франции служба статистики поставлена много лучше, чем в других странах. Здесь о французе, как потребляющей статистической единице, как гражданине определенных взглядов, знают все. Нельзя не признать правоту тех, кто говорит, что статистика таким образом облегчает правящему классу манипуляцию сознанием. И все же статистика и опросы общественного мнения — единственно возможное средство создать образ «типичного француза», представить его зрительно и даже где-то понять его причуды, вкусы, симпатии, антипатии и предрассудки. Знакомясь таким образом со своим приятелем месье Дюпоном, я сделал для себя немало открытий, причем совершенно неожиданных.

Для примера. Французы покупают в среднем на человека всего 4 куса туалетного мыла (650 граммов) в год, в два раза меньше, чем англичане, хотя этого добра в магазинах — выше крыши. В 1985 году они в среднем приобретали по 0,8 зубной щетки на человека и лишь по 2,9 тюбика зубной пасты. Но зато французы в два раза больше, чем в 1975 году, потребляли сиотворного (90 миллионов упаковок в год) и чаще других европейцев покупали обувь — 5 пар в год на человека.

Во Франции меньше ванн (15 миллионов), чем телевизоров (23 миллиона, 60 процентов из них — цветных). 10 процентов французов никогда не посещали парикмахерских. Каждый второй француз никогда не ходит в кино.

Французы потребляют 80 литров вина на человека в год и за тот же период — всего 54 литра минеральной воды. 25 процентов из них ничего не едят на завтрак.

Месье Дюпон проводит в день три с половиной часа перед телевизором и 2 часа 45 минут слушает радио. Вместе с тем 51 процент французов выступает за то, чтобы телевидение хотя бы один вечер в неделю не работало. 43 процента против этого. В 1967 году только 54 процента французских семей имели телевизор. В 1988-м — уже 94 процента. 82 процента французов, согласно опросам, «смотрят телевизор каждый или почти каждый день». Это на 31 процент выше, чем в начале 60-х годов, когда 67 процентов французов ежедневно слушали радио и 60 процентов каждый день читали газеты. Сегодня газеты регулярно читают только 42 процента французов. Поднялся, однако, процент читающих иллюстрированные журналы — 79 процентов по сравнению с 56 процентами в 1967 году. Но вот как комментируют этот рост специалисты: «Журналы, которые наиболее популярны сейчас, — это своего рода дополнение к телевизионным передачам...»

Телеспут виной тому, что пустеют театры, стадионы. За двадцать лет (1970—1989) почти вдвое — с 17 до 9 процентов снизилось число французов, которые по меньшей мере раз в год посещали спортивные состязания. На 3 процента упало число посетителей театров. 18 процентов французов ходят в кино по крайней мере один раз в месяц, но зато снизилось с 6 до 4 процентов

число тех, кто посещал кино еженедельно. Пустеют и знаменитые французские кафе и бистро. Только 17 процентов французов по крайней мере раз в неделю ходят в кафе. В 60-х годах 42 процента мужчин во Франции были завсегдатаями кафе, где они смотрели, как правило, спортивные передачи и особенно скачки. Сейчас среди мужчин только 25 процентов опрошенных называют себя постоянными посетителями кафе. Результат — кафе «прогорают» все чаще.

Любовь французов к телевидению объясняется во многом и национальным характером. Французы народ очень любопытный: где что, кто с кем, кто в чем — им надо узнать в первую очередь и желательно раньше других. К тому же они до смерти любят обсуждать в деталях дела, на наш взгляд, казалось бы, пустяковые, а для них чрезвычайно существенные. Предметом дискуссии может быть что угодно. Обсуждается все, что касается качества жизни, обслуживания, моды, медицины, состояния больниц и клиник, благотворительной помощи и градостроительства, взаимоотношений между юношами и девушками, мужьями и женами, детьми и родителями, охраны исторического и культурного наследия.

Обсуждается политика правительства и оппозиции, личность самих политиков и их жен. Часто телекамера входит прямо в их дома, и диспуты идут оттуда в живой трансляции с вопросами телезрителей по телефону. В общем, по французскому телевидению есть что послушать и что посмотреть. Но если бы оно было только французское! Из США хлынули на телеэкраны полицейские сериалы, фильмы ужасов и такое «порно», которое заставит покраснеть даже павиана. Журнал «Пуэн» подсчитал, что только за одну неделю по французскому телевидению были продемонстрированы по шести основным каналам 670 убийств, 15 изнасилований, 848 драк, 419 поджогов и взрывов, 14 похищений, 11 грабежей, 8 самоубийств, 32 взятия заложников, 27 сцен пыток, 18 сцен применения наркотиков и 9 выбросов из окна, 13 сцен удушения жертв. На 11 военных сражений пришлось столько же стриптизов и 20 откровенно порнографических эпизодов. Добавьте к этому регулярные кошмары, которые идут в сериях фильмов ужасов, где натурализм доведен до такой степени, что их можно «принимать» вместо рвотного. Порнография оконча-

тельно утвердилась в правах на французском голубом экране. Регулярно в ночное время порнофильмы демонстрируются по «Каналу плюс», одному из самых популярных в стране. По ведущей телепрограмме «ТФ-1» раз в неделю идет передача «Сексуальные забавы», а каналу М-6 — «Эротические клипы». По пятому каналу показывали, например, фильм «Любовник леди Чаттерлей» с Сильвией Кристел, исполнительницей роли весьма рано созревшей девочки в нашумевшем порнофильме «Эмануэль», в главной роли. И так далее.

Меньше всего от объятий международного телеспутника защищены дети. И от эротических сцен, которые можно увидеть по телевидению в любое время дня и ночи, и от насилия. В последнее время на экраны хлынули японские мультфильмы, где насилие просто возведено в абсолют, а самурайские ценности — в высшую человеческую доблесть. Комментируя это нашествие, известный детский психолог Лиллан Л. Лурса говорит: «В японских фильмах образ мальчика смоделирован как образ воина, что соответствует японской традиции, культуре, основанной на войне. Девочке отводится доля постоянного подчинения. Неизбежно эти фильмы проповедуют насилие. Даже в мультфильмах про волейбол человеческое исчезает. Остается одна жестокость. Эти фильмы, которые в пять-десять раз дешевле, чем производящиеся в других странах, оставляют страшные следы в детских душах. Особенно у детей от двух до шести лет, в тот период, когда формируются личность будущего человека и гражданина, его отношение к жизни и к людям».

Создатели радио и телевидения были абсолютно уверены в том, что их детища помогут раздвинуть горизонты знания миллионам и миллионам людей. Но это кому как. Телевидение, да и радио, как оказалось, поощряют пассивное восприятие. Чего напрягаться читать, когда можно просто сидеть и смотреть, и слушать. И вот результат, конечно, не только по вине развития современных массовых коммуникаций: 3 миллиона французов вообще не умеют ни читать, ни писать. Впрочем, трое из каждых четырех французов читают в среднем одну книгу в год.

Что же читают? Опрос общественного мнения, проведенный детскими журналами и еженедельником «Эвенман дн жёдн», показал, что больше всего книг

во Франции читают дети. До двух книг в месяц — 37,8 процента, от 3 до 5 книг — 41 процент и более пяти — 21,2 процента. Это не считая журналов и сборников комиксов. Опрос среди взрослых показал, что 63,3 процента французов предпочитают покупать романы, 33 процента — повести и 21 процент — документальные произведения. На последнем месте по популярности у покупателей книг стоят атласы и словари — 5,8 процента.

Наибольшим успехом у всех трех поколений французских читателей пользуется Виктор Гюго. За ним следует Жюль Верн, Агата Кристи, графиня Сегюр и Александр Дюма. О соотношении начитанности и культуры по этим цифрам судить трудно. Но есть и такие вот данные: 25 процентов французов считают, что Солнце вращается вокруг Земли; 21 процент уверен, что инопланетяне регулярно появляются на нашей планете. 90 процентов населения Франции знают свой знак Зодиака и более-менее регулярно сверяются с предсказаниями астрологов. 8 миллионов прибегают к услугам ясновидящих и прочих предсказателей...

Статистика, конечно, не рождается на пустом месте. Она отражает целую гамму явлений — экономических, социальных, демографических, исторических и не в последнюю очередь национальный характер. А он, в свою очередь, формируется под влиянием всех этих и множества других факторов. В 1800 году французов было лишь 28,7 миллиона. Несмотря на многочисленные войны, в том числе наполеоновские и две мировые, за 190 лет население страны выросло почти вдвое, хотя женщин до сих пор примерно на 1,5 миллиона больше, чем мужчин. По всем подсчетам, к 2000 году ожидается прирост всего в 2,5 миллиона, а в 2075 году французов на нашей планете будет в лучшем случае миллионов 60. Рождаемость низкая, она падает неизменно последние десять лет.

Несмотря на многочисленные программы поощрения рождаемости, субсидии беременным, пособия многодетным, во Франции в среднем производится 170 тысяч добровольных аборт в год. Причины, по которым француженки не торопятся спасти Францию от грозящей ей демографической катастрофы, многочисленны. Но одна из них очевидна — взлеты и падения на графиках рождаемости почти буквально совпадают с подъемами и

спадом в экономике. Неуверенность в завтрашнем дне, постоянные угрозы потери работы (в стране постоянно 2,5—3 миллиона безработных), боязнь войны (53 процента французов боятся 2000 года, 25 процентов населения считают, что война неизбежна) — вот, пожалуй, причины главные.

Хотя 81 процент французов считает, что «семья — основа общества», в брак они вступать не торопятся. И женятся и рожают поздно. 13 миллионов французов жалуются на одиночество. В стране 7,6 миллиона холостяков в возрасте от 20 и более лет. 1,5 миллиона — разведены. 4 миллиона (80 процентов — женщины) — вдовствуют. 48 процентов парижских «домашних хозяйств» состоят из одного человека. А в 1954 году было только 32 процента.

...768 тысяч французов появились на свет в 1985 году. Что их ждет? Как они выглядят? Чем предпочтут заниматься в жизни и какие у них сложатся привычки? Статистика и здесь помогает составить прогноз. Средняя продолжительность жизни во Франции для мужчин 70,4 года, а для женщин — 78,4. За сто последних лет нация подросла. Мужчины — на 7 сантиметров, их средний рост составляет 1,72 метра, а женщины на 5 сантиметров — 1,6 метра. Но французы продолжают появляться на свет миниатюрными, как куклы. И когда жена одного советского дипломата родила в Париже мальчика весом 4,5 килограмма, что для нас в общем-то довольно обычно, на это чудо сбежался смотреть весь госпиталь. Средний французский ребенок достигает веса в 6 килограммов только к 9—10 месяцам. Видно, сказывается всеобщее увлечение французов диетой. В качестве эталона красоты фигурирует уже не Брижит Бардо, которая была, как помните, девушкой крепкой, кровь с молоком, а такая плоскогрудая тростничка с хрупкими плечиками и тоненькими ножками, на которую в основном и ориентируются сейчас парижские дома мод. В статистике это выглядит соответственно — с 1970 года женщины в среднем похудели на 600 граммов, их средний вес не превышает 60 килограммов, причем француженки, видимо, намерены тощать и впредь. 45 процентов из них считают, что у них лишний вес и его надо бы сбросить.

Однако даже визуальное знакомство с достижениями француженок по этой части показывает, что особых



успехов они здесь не добиваются. Какими бы миниатюрными ни были манекенщицы, как бы эфирио ни выглядели, французский мужчина, если он только полиоценен, в женщине ценит прежде всего традиционные достоинства. Поэтому у символа Франции — Марианны, для которой позировали и Брижит Бардо, и Мирей Матье и да мало ли еще кто, — бюст столь же крепок и высок, как и у юных русалок, без стеснения демонстрирующих свою грудь на всех пляжах Франции.

И к старости госпожа Дюпон редко достигает таких габаритов, под которые не подберешь ни одного платья даже в магазине фирмы «Богатырь». Полнота здесь признак вовсе не обеспеченности (это у нас только, что от Азии пошло, «полная» и «упитанная» — синонимы), а, наоборот, бедности. Чтобы поддерживать себя в форме, нужно соответственно и питаться, вводить в ежедневное меню соки, фрукты, овощи, легкое, без жира, мясо, разную рыбу, моллюсков и дичь, обезжиренные молочные продукты и т. д. и т. п.

Я уже не говорю о кремах и лосьонах для похудения, особом мыле для более изящных бедер и шампунях для упругости живота. Все это, понятно, требует денег, специальных статей в семейном бюджете, к которому французы относятся с величайшим почтением. В каждой семье он разный, соответственно доходам и социальному положению, но счет деньгам знает каждый француз. Раз уж речь зашла о доходах, оговоримся — тут термин «средний француз» не подходит. Статистика всегда превращается, по известному выражению, в «великого лжеца», как только принимается усреднять доходы бедных и богатей.

Реальная картина такова. Всего 1 процент французов владеет 30 процентами национального богатства, а 10 процентов — 60 процентами того же богатства. Причем львиная доля принадлежит 1030 самым богатым людям. Во Франции 16 миллиардеров и 100 тысяч крупных семейных состояний, обладатели которых и составляют те самые сверхпривилегированные 10 процентов.

10 же процентов самых бедных семей обладают всего 0,03 процента национального богатства.

Между этими двумя полюсами чудовищного богатства и крайней бедности существует своего рода «слоеный пирог» социального неравенства. Если состояние наследника авиационной империи Марселя Дассо, его

сына Сержа Дассо, оценивается в 7—7,5 миллиарда франков, а газетного короля Р. Эрсана и банкира Э. Ротшильда — в 2,5 миллиарда франков, то никому не известный месть Дюпон, оказавшийся в самом низу социальной пирамиды французского общества, за душой не имеет ни саитима и живет от зарплаты к зарплате.

1 процент французов зарабатывает свыше 500 тысяч франков в месяц. А 15 процентов французов получают доход вдвое меньше среднего на душу населения и, по оценкам Европейской экономической комиссии, живут ниже уровня бедности. Их ни много ни мало 8 миллионов человек. Около миллиона из них ведут просто полуголодное существование. Но есть и весьма внушительный, обеспеченный «средний слой». Появление его обусловлено переменами в структуре активного населения Франции. Картина такова — 60 процентов работающих французов заняты в административно-управленческой сфере, научной, системе образования, сфере обслуживания. 32,2 процента — в промышленности и лишь 7,8 процента — в сельском хозяйстве. Высшая шкала доходов приходится как раз на первые 60 процентов. Там сосредоточено наибольшее количество специалистов с высшим образованием (всего 7,5 процента населения Франции имеет дипломы вузов). Это категория привилегированная, доходы которой в пять-шесть раз, а у руководителей предприятий в десятки раз — выше, чем у рядовых работников. Поэтому месть Дюпон во всей своей многоликости протягивает ножки по одежке.

В среднестатистическом варианте это выглядит так. В типичном семейном бюджете французов 21,1 процента расходов идет на питание, 6,3 процента — на приобретение одежды, 17,5 процента — на оплату жилья, 9 процентов на приобретение предметов домашнего обихода. Расходы на врачей и лекарства составляют 13,2 процента, на транспорт — 13,8 процента, на развлечения — 6,4 процента и другие нужды — 12,7 процента.

Если питаться в семье, а на работу брать бутерброды, что во Франции в общем-то не принято, то можно на еде сэкономить. Питание относительно дешево, особенно фрукты, овощи, молочные продукты, хлеб. Мясо уже дороже — по рыночным ценам, которые, как правило, ниже цены в больших универмагах, говядина сто-

ит от 30 до 110 франков за килограмм в зависимости от сорта. Но француз «прогорает» во время обеденного перерыва. Средний «дежёе», или «второй завтрак», обходится ему в 70—80 франков на человека в самом дешевом ресторанчике в Париже, в провинции — 50—60 франков. А если он еще и вечером посидит там с друзьями, то в бюджете у него тут же образуется весьма заметная брешь.

Статья расходов на одежду постоянно сокращается. Объясняется это не только равнодушием к моде (лишь пять процентов французов следит за ней внимательно, а 52 процента почти или вовсе не обращают внимания, как они одеты), но и дороговизной. Часто в Париже и других городах можно увидеть внешне явно небедных людей, роющихся в «развалах» одежды на распродажах в поисках чего подешевле. Особенно трудно одевать детей — детские джинсики, например, даже если они пошиты на ребенка трех лет, стоят столько же, сколько «взрослые», а платьице для девочки пяти-шести лет — столько же, сколько платье для мамы.

Многие мужчины во Франции имеют всего лишь один костюм, пару рубашек «на выход» и куртку на непогоду. А так чаще — джинсы, майка, свитерок. Шапок и дубленок, как правило, французы не покупают — зима здесь мягкая.

Квартиру снять, особенно в Париже, не только сложно, но и дорого. В зависимости от престижности района один квадратный метр жилой площади может стоить в месяц, не считая коммунальных услуг, от 80 до 200 и более франков. Особенно дороги однокомнатные квартиры — в среднем от 2 тысяч до 3,5 тысячи франков в месяц.

Расходы на лечение выросли во Франции за 12 лет — с 1974 по 1986 год — в шесть раз. И если бы не довольно мощная система социального страхования, месяье Дюпон просто разорился бы. Простой визит к врачу-специалисту обходится в 250—300 франков. Во столько же и установка одной пломбы на зуб без удаления нерва. Только на лекарства французы тратят 1325 франков в среднем в год на человека. Для сравнения укажем, что в 1989 году минимальная заработная плата достигла во Франции 5 тысяч франков, а минимальное пособие по безработице — 2250 франков в месяц.

Стремление сэкономить каждый сантиметр, приобрести

что-то в дом, просто свести концы с концами приводит и к тому, что французы становятся домоседами. Только 49 процентов говорят, что раз в год бывают в кино, 21 процент — на концертах, лишь 15 процентов раз в год бывают в театре. И что удивляться? Билет в кино стоит 35—40 франков, билет в театр — от 100 франков и выше, в Парижскую оперу — от 300 франков и выше. Да к тому же туда надо идти в вечернем туалете, а мужчинам — при бабочке. То же и с путешествиями. Несмотря на то, что во Франции насчитывается 21 миллион автомобилей (правда, большинство из них «в возрасте» от 5 до 20 лет), 54 процента французов никогда не покидают дома на время уик-энда и только 20 процентов выезжают куда-нибудь раз в месяц. Бензин дорог, как и техобслуживание. К тому же на дорогах Франции, даже столь великолепно ухоженных и разветвленных, погибают около 10 тысяч человек в год.

Зачем рисковать, когда и дома хорошо? Тем более что дом, семья для француза — не только его крепость и тыл, но и едва ли не смысл существования. Иметь свой дом — мечта каждого. Во Франции 12 миллионов личных домов, в которых проживает 54 процента населения страны. (В 1970 году было только 33 процента.)

Домоседство, а у многих и одиночество, привели к тому, что во Франции в конце 80-х годов насчитывалось 33 миллиона домашних животных, из них 9 миллионов собак, 7 миллионов кошек, 9 миллионов птиц, два миллиона кроликов и т. д. Больше их в частных домах (80 процентов) и меньше — в квартирах. В год на содержание этой «второй Франции» идет 30 миллиардов франков. Вторая страсть французов — это и разведение цветов, декоративных кустарников и тропических растений. Все это тоже обходится в немалую сумму, как и постоянное «усовершенствование» среднефранцузского дома за счет новинок бытовой и электронной техники.

Уровень жизни во Франции заметно вырос в 70-е и 80-е годы. Но поддерживать этот уровень, весьма высокий даже для Западной Европы, нелегко, и за это приходится платить не только деньгами. В психиатрических клиниках Франции постоянное население составляет 115 тысяч человек. Всего во Франции 1300 тысяч умственно отсталых и психически больных, 20 миллионов французов страдают от бессонницы, 8 мил-

люнов — от мигрени. В два раза с 1970 года выросло число наркоманов — 400 тысяч французов принимают наркотики регулярно. 12 тысяч человек ежегодно кончают жизнь самоубийством — что в полтора раза больше, чем в 1970 году, а 150 тысяч французов предпринимают такие попытки каждый год.

Помню нервных срывов, погоня за благополучием оборачивается и падением культурного уровня, элементарным невежеством. В стране, где в быт прочно вошли уже не только телевизоры и магнитофоны, но и видеомагнитофоны, миниатюрные телеинформационные системы, спаренные с обычным телефоном («система минитель»), с помощью которых — наберите код и номер, получите информацию объемом в солидный том, — уровень информированности населения чрезвычайно низок. Французы часто используют «минитель», в том числе для заочного обучения. Но чаще всего — для справок о погоде, результатах футбольных матчей, скачек и для участия в многочисленных лото, викторинах и конкурсах. И даже... для переговоров с абонентами на такие темы, от которых голубой экран краснеет.

Удивительное отсутствие интереса к внешнему миру (месье Дюпон предпочитает путешествовать по своей стране и мало ездит за границу туристом, даже когда имеет такую возможность, а если ездит, то в основном для того, чтобы убедиться, что во Франции все же лучше) странным образом сочетается с отсутствием познаний собственной культуры и истории. Французы ими гордятся, но в массе своей не знают. Вот результаты одного из опросов общественного мнения, проведенного в том самом «среднем слое», где месье Дюпон достаточно обеспечен всеми благами:

- Кто автор «Лунной сонаты»?
- Джон Леннон...
- Кто такой Родэн?
- Мыслитель...
- Кто автор «Марсельезы»?
- Де Голль... Нет, кажется, Робеспьер.
- В каком году Гитлер пришел к власти?
- В 1605-м...

Невежество? Мягко говоря. Но оно тем не менее не мешает месье Дюпону чувствовать свое собственное превосходство над «всеми теми, кто не живет во Фран-

цин», и соответственно — над всеми, кто не из его города, не с его улицы, ну и не из его дома. Лично он уже в силу этого обстоятельства «абсолютно счастлив». По крайней мере то же самое вместе с ним заявляют 85 процентов французов. Прибавьте к этому и такой фактор: как бы ему туго ни приходилось, месье Дюпон никогда не станет никому жаловаться. И на ни к чему не обязывающий вопрос «Как твои дела?» всегда ответит: «Са ва». В приблизительном переводе это означает: «Все в порядке», а точнее — «В полном порядке».

## **«ИСКУССТВО ЖИТЬ»**

...Я сидел за столиком расположившегося под открытым небом кафе на Пляс де Комеди, куда в наши дни переместился променад Монпелье. Бродячие музыканты играли Стравинского на гитарах в четыре руки... Затем их сменил бородатый саксофонист, добрый час игравший Чарльза Паркера. Музыка не умолкала до утра. Развлекая туристов, музыканты зарабатывают себе на жизнь. А заодно — рядом с ними — делают свой бизнес владельцы маленьких и больших кафе.

Кажется, что эта праздная публика вообще никогда не работала и работать не собирается. Так безмятежно и вальяжно сидят за столиками, а то и прямо на мостовой Пляс де Комеди люди всех возрастов и, наверное, всех возможных во Франции взглядов и убеждений. Кто-то из них вернется домой вовремя, кто-то под утро. Кто-то отправится спать в гостиницу, а кто-то прикорнет прямо у фонтана либо в сквере поблизости и проспит, прикрывшись чем бог послал, пока не разбудят его первые дворники. И так не только в субботу и воскресенье — каждую ночь. Это подметил еще Фонвизин и... не одобрил.

«Слушаться рассудка и во всем прибегать к его суду — скучно; а французы скуки терпеть не могут. Чего не делают они, чтобы избежать скуки, то есть чтоб ничего не делать! И действительно, всякий день здесь праздник. Видя с утра до ночи бесчисленное множество людей в непрерывной праздности, удивиться надобно, когда что здесь делается. Все столько любят забавы,

сколько труды ненавидят; а особенно черной работы народ терпеть не может...»

Для многих иностранцев, бывавших либо живущих во Франции, эти слова Фонвизина будто сегодня написаны. Не от одного я слышал: «И когда они только работают?» Что поделаешь! Одним нравятся «праздники, который всегда с тобой» (так называл Парнж Э. Хемнгуэй), а другим он надоедает в первый же вечер и в дальнейшем ничего, кроме раздражения, не вызывает. Люди разные, и соответственное у них восприимчивее. Эмоциональное к тому же — скажем, впечатлительное вечного гулянья на Пляс де Комеди в Монпелье, или на Елсейских полях в Париже, я уже не говорю об Английском променаде в Ницце, — можно подкрепить и статистикой.

Виктор Шерер, например, автор нашумевшей книги «Ленивая Франция», а заодно крупный предприниматель, привел массу данных, которые вроде бы и подтверждают заголовок его исследования на все сто процентов. Шерер подсчитал, что во французской агропромышленности, включающей производство сельхозпродуктов, работают на 330 часов в год меньше, чем в американском агробизнесе, то есть фактически на два месяца меньше! И если среди строительных рабочих в Японии абсентизм составляет всего 2 процента, то во Франции рабочие той же специальности прогуливают по 20 дней в году, и абсентизм, таким образом, достигает здесь 10 процентов. Какую сферу промышленности или сельского хозяйства ни возьми, по Шереру получается, что французы работают намного меньше своих зарубежных коллег. Одного только не объяснил озабоченный предприниматель, каким это образом столь «ленивые» французские крестьяне умудряются заваливать своей продукцией не только французский, но и европейский рынок, да так, что против них вынуждены принимать специальные ограничительные меры в «Общем рынке», да и в США возводят специальные пошлинные барьеры. А как при столь широко распространенном «разгильдяйстве» Франция сумела стать единственной в Западной Европе космической державой, вышла на самые передовые рубежи в авиационной и автомобильной промышленности, строительстве и обустройстве дорог, фармацевтике и точном приборостроении... Да разве все перечтешь!

Фонвизин несомненно прав в том, что французы дей-

ствительно обожают праздники и посещают всякие торжества, особенно бесплатные, как дисциплинированная бабушка — родительские собрания в школе внука. Сколько у французов праздников, подсчитать я не берусь. Знаю только, что великое множество. Практически каждый день связан либо с именем какого-то святого и соответственно празднуется, либо с каким-либо историческим событием, имеющим значение для всей Франции, отдельного региона, города, поселка. Часто — особенно летом — такие локальные праздники идут по несколько дней кряду, сопровождаемые фейерверками, представлениями. Многие христианские праздники схожи с нашими, православными, хотя и в разное время отмечаются — Пасха, Троица, Рождество...

6 января справляется религиозный праздник Эпифания. В этот день по всей Франции булочники пекут «королевские галеты» из слоеного теста. Их начиняют миндалем. Пекут также пироги с запеченными бобами или вкладывают в пирог какую-нибудь статуэтку с короной на голове. После обеда в семье пирог делят между всеми его участниками, и тому, кому попадается кусок с «начинкой», предоставляется право стать королем или королевой на один день.

2 февраля — праздник Шанделёр. В этот день по традиции пекут блины. И каждый член семьи должен, держа золотую монету или несколько банкнот в одной руке, перекинуть через руку блин. Если это удастся, то, значит, целый год в семье будет достаток, будут деньги. Похож на этот праздник и «жирный вторник», предшествующий предпоследнему дню масленицы. В этот день можно увидеть на улицах детей в карнавальных костюмах. И по этому случаю пекут блины.

1 апреля — очень древний праздник. По традиции в этот день надо разыгрывать друзей и постараться прикрепить рыбку из бумаги на одежду того, над кем подшучиваешь, чтобы он этого не заметил.

1 мая отмечается Праздник труда. Это нерабочий день. По традиции 1 мая французы дарят друг другу ландыши на счастье и в знак любви. Каждый может в этот день стать продавцом ландышей, не получая разрешения.

8 мая празднуется День Победы над гитлеровской Германией. В этот день возлагаются венки к памятникам павшим, к могилам борцов с фашизмом в Булон-



ском лесу, где накануне освобождения Парижа были расстреляны бойцы Сопротивления, проводится траурный митинг. Всегда в этот день французы украшают цветами и могилы советских людей, сражавшихся и погибших во Франции.

В конце мая или в начале июня отмечается «праздник матерей». Дети сами делают подарки для своих мам, часто в школе, а мужья покупают женам подарки и цветы. Через четыре недели после этого отмечается «праздник отцов». Любопытно, что во всех парижских универмагах и маленьких лавочках к этим дням специально готовятся подарки, одежда для пожилых людей, сувенирные букетики и пр.

14 июля национальный праздник Франции, отмечающей День взятия Бастилии и Великую французскую революцию 1789 года. В этот день проходят народные гулянья, гремит салют, повсюду устраиваются концерты, лотерей, ярмарки. Непременно по Елисейским полям проходит военный парад, который принимают президент и премьер-министр республики.

1 ноября французы отмечают праздник «Туссен» — «День всех святых», когда по традиции все едут на кладбище и возлагают хризантемы на могилы родных и близких.

11 ноября справляют День перемирия, когда было подписано перемирие, положившее конец первой мировой войне 1914—1918 годов.

25 ноября французы, а точнее француженки, отмечают очень трогательный праздник «Святой Катрины». Это день рабочих. Но угадать его просто — с утра молодые, незамужние женщины, достигшие 25 лет, надевают желтые или зеленые береты, чтобы привлечь внимание поклонников. Эту традицию, кстати, чтут все мастерские и дома мод.

4 декабря справляется День несовершеннолетних. Это детский праздник. Все родители обязательно дарят в этот день своим детям подарки.

В конце декабря по традиции справляется Рождество. Типичное меню рождественского ужина для тех, конечно, у кого есть на это средства, устрицы и гусиная печенка. На следующий день — гусь или фаршированная индейка.

31 декабря встречают Новый год обычно не дома, как на Рождество, а в ресторане, с друзьями. Во всех ресто-

ранах специальное меню. Места заказываются заранее. С полуночи и до трех часов утра толпы людей в Париже гуляют по Елисейским полям.

С 19 декабря по самое начало января идет кампания отправления поздравительных открыток. Дарятся подарки. Обычно более крупные и дорогие, чем на Новый год. В этот день обязательно нужно что-нибудь подарить консьержу дома, в котором живешь.

Но это все по календарю. Чаще французы сами себе придумывают праздники. Практически ежедневно.

...В день Седьмого парижского праздника музыки газеты и радио с утра предупреждали водителей — в центр, в район Люксембургского сада, Эйфелевой башни и площади Трокадеро, в Латинский квартал, особенно на бульвары Сен-Мишель и Сен-Жермен-де-Пре, лучше ехать вечером, не на машине, а на метро.

Я не внял совету — поехал на машине и уже на Елисейских полях убедился, что сделал ошибку. Весь Париж высыпал на улицы. Под каштанами на Елисейских, на небольшой эстраде, подсвеченной розовым светом, выступали танцоры из Египта. На площади Оперы, прямо на ступеньках знаменитого оперного театра, построенного Шарлем Гарнье, профессиональные певцы пели хором вместе с прохожими, и, естественно, весь поток машин встал послушать. Невозможно было пробиться к набережным Сены и через площадь Согласия, и через улицу Лувра — там выступала популярнейшая антильская группа «Кассав». А что творилось на Трокадеро! У Эйфелевой башни! Лазерные лучи выписывали фантастические картины в небе, переплетаясь со струями фонтанов и звуками органиной музыки. В эту симфонию воды и цвета, музыки и электроники врвался то и дело фейерверк, расцвечивая небо над Парижем. На площади Троицы поклонники рок-и-ролла пели старые шлягеры Джонни Холидея, а за тридцать километров от них, в Версале, на площади, название которой переводится как «Армии Короля-Солица», фейерверком открыл свои гастроли «король» современного рока Пинк Флойд. 25 европейских стран, артисты из Канады, США, Египта, Индонезии, Ирака, Иордании, Гвинеи, Ганы и Венесуэлы участвовали в празднике, который с каждым годом привлекает все больше и больше людей. С легкой руки

французов он стал международным и сейчас отмечается в 60 странах на 4 континентах. Его лозунг прекрасен: «Принесем музыку в каждый дом, на каждую улицу, на каждое рабочее место!»

Только ли зрелища ради он проводится? Нет, есть цели и чисто практические, хотя и возвышенные. Французы — дотошные люди. С помощью своей отлично налаженной службы социологических исследований они выявили, что вопреки широко распространенному мнению меcье Дюпон не столь уж и большой знаток музыки и далеко не часто поет.

Цифры же вот какие. Лишь в 36,6 процента семей есть хотя бы один музыкальный инструмент. Лишь 15,5 процента французов заявили, что они поют довольно часто, при этом чаще всего это либо молодежь 20—24 лет, либо те, кому за 60, за 70. Парижане, как выяснилось, самые певучие — в провинции поют реже. Наверное, потому и выбор праздника пал именно на Париж.

Выяснили социологи и кого французы знают из классиков. Оказалось, что 45 процентов французов знают имя Бетховена, 37 процентов — Моцарта, 23 процента — Шопена, 22 процента — Баха, 15 процентов — Шуберта, 13 процентов — Листа, 9 процентов — Вагнера, 8 процентов — Вивальди, 7 процентов — Брамса, по 6 процентов пришлось на Равеля и Верди, Шумана и Чайковского. Но самое интересное, что французские композиторы во Франции как раз меньше всего и известны. Всего 7 процентов опрошенных несколько лет назад знали Берлиоза, 6 процентов — Равеля, 5 процентов — Дебюсси и всего 1 процент — Бизе. В чем тут дело? Как выяснилось, в довольно ограниченном числе слушателей классической музыки. Лишь 4,2 процента французов посещают концерты симфонических оркестров более-менее регулярно. А об опере и говорить не приходится — это удовольствие весьма дорогое. Тем не менее театры с классическим музыкальным репертуаром не пустуют. По данным опроса в ходе театрального сезона 1982/83 года, во Франции было показано 638 оперных спектаклей (105 опер), 952 постановки, 76 оперетт, 703 балетных спектакля. В целом 2293 спектакля посетили 2 миллиона 194 тысячи 101 человек, то есть в среднем по 956 человек каждый спектакль. Неплохо вроде бы. Но, увы, статистические показатели здесь улучшают не францу-

зы, а многочисленные туристы и живущие подолгу во Франции иностранцы.

...В день Седьмого праздника музыки гигантской сценой стала вся столица Франции. Театр по имени «Париж» посетили миллионы зрителей. Праздник открылся исполнением Пятой симфонии Шуберта, а вот что было исполнено под финал, сказать трудно. Праздник закончился с рассветом.

В полночь по традиции мы дарили друг другу подарки. Заранее запаслись? Да нет! Подошел уличный торговец. На руке у него висели свечащиеся нитки, на каждой из которых, переливаясь, мерцала нота до. Ну как было не купить?!

Французы, кстати, обожают делать подарки и, конечно, еще больше их получать. Для этого создана целая индустрия, сеть специальных магазинов, где все так уложат и завернут, что и пустячок покажется шкатулкой из пещеры с Острова сокровищ. Французы, надо признать, и умеют принимать подарки — не благодаря унижению, а всегда с достоинством, не визжа от восторга, что бы ни подарили...

Народный характер не поддается проверке логикой и статистикой, что справедливо для любого народа. И то и другое годно лишь для подтверждения каких-то закономерностей, и только. Как-то раз я увидел в Париже рекламу, которая вдруг неожиданно помогла мне понять то, что раньше, мягко говоря, озадачивало. На рекламном щите, разделенном надвое, были изображены две женщины. Одна — в синей блузе, с решительным выражением лица, со щеткой в руке и с таким напряжением во всей мужеподобной фигуре, что ясно было — костями ляжет, но то, что ей поручено вычистить (а рекламировалось как раз средство для очистки кафеля и эмалированных раковин), вычистит. Это подтверждала и надпись, осуждающая не столько женщину в блузе, сколько некий безымянный порошок для чистки: «Без удовольствия и с напряжением». Из другой половинки рекламы смотрела кокетливая «типичная француженка», уже «почистившая перышки», хорошо причесанная и загримированная. Она тоже держала в руке порошок, но только тот, который соответствовал и надписи, и ее французскому характеру: «Без напряжения и с удовольствием!»

Суть французского подхода к любой работе, види-

мо, определяется таким понятием, как «искусство жить», о котором кратко упоминал и Фонвизин. Французское «искусство жить» совсем не имеет ничего общего с принятым у нас понятием «умение жить», в которое, как правило, мы вкладываем подтекст отрицательный. Во Франции это прежде всего искусство получать от жизни максимум удовольствия, уметь наслаждаться ею во всех аспектах и проявлениях. Это и уметь вкусно поесть и выпить. Отсюда бесконечное, беспронизительно-раздражающее необычных иностранцев обсуждение меню в ресторанах, которое непременно сопровождает любой званый обед вне дома. Француз обсудит все. И совпадает ли паштет с горячим, и какой лучше попросить соус, а также как поджарить хлеб. Как лучше всего подать и приготовить мясо — хорошо прожаренным, среднее или с кровью, на медленном огне или быстро, на сковородке или на гриле. Ну а уж когда дело дойдет до того, каким это все вином запивать, как тут вообще разворачиваются дебаты, как на римском Форуме. У каждого уважающего себя француза непременно есть табличка (ее обычно дают постоянным клиентам во всех винных погребах и магазинах бесплатно), на которой указаны сорта вин и годы, в которые они наилучшим образом удались. Сверившись с ней и снова поспорив, выберут наконец и вино, соблюдая все правила и тонкости, — белое с рыбой, розовое — можно и с рыбой, и с мясом, а вот красное, особенно «божол», так только с мясом, — а потом приступят к обсуждению десерта.

Официанты и метрдотели воспринимают это все как должное, подходя к столу по несколько раз, и сами принимают участие в дебатах, помогая советом и поясняя, что скрывается за названиями фирменных блюд. Идет, по сути дела, игра по имени «Искусство жить». За свои деньги и время человек имеет право получить стопроцентное удовольствие, выбрав то, что, как он считает, даст ему потом полное основание сказать, что вот вчера действительно и то, и другое было потрачено не напрасно, что получено было даже не удовольствие, а наслаждение. И нет для француза большей награды, чем подтверждение этого именно приглашенным гостем. Ведь в общем-то в большинстве своем гостей французы в ресторан приглашают редко, так как удовольствие это дорогое. Но уж если приглашают, подходят к этому де-

лу, как хороший режиссер к постановке произведения классика, стремясь при этом не только предоставить удовольствие гостю, но и получить его самому.

Так, кстати, во всем. Я поражался, когда видел французов, выпускающих рыбу в водоем обратно после рыбалки. И какую! Но ведь именно в этом и заключается искусство жить. Получить удовольствие, продемонстрировать свою рыбацкую сиоровку и экипировку, а потом — даже если любишь рыбку, преодолеть себя и показать, что не жаден, что можешь взять из улова одну-две (для кошки), а остальное выпускаешь, чтобы соблюсти принцип: «Живи сам и давай жить другим!» Так в любой забаве, в учебе, в работе. Французы действительно не любят трудной, грязной и монотонной работы. Ну а кто ее такую любит? Но зато залюбуешься, когда смотришь, как четко и быстро, словно с кем-то соревнуясь, делает свою работу специалист. Именно специалист, потому что во Франции издавна привит вкус именно к высококвалифицированной работе, такому труду, где есть возможность проявить себя в полном блеске и, значит, показать тем самым, что ты овладел «искусством жить».

Даже к своим политическим лидерам, к выборам и вообще политическому процессу французы подходят с той же самой меркой. Рассуждая об этом искусстве, Фонвизин заметил, что во Франции «нет вернее способа прослыть навек дураком, потерять репутацию, погибнуть невозвратно, как если, например, спросить при людях пить между обедом и ужином. Кто не согласится скорее умереть с жажды, нежели, напившись, влачить в презрении остаток своей жизни? Сии мелочи составляют целую науку, занимающую время и умы большей части путешественников. Они тем ревностнее в нее углубляются, что живут между нацией, где Ridicule всего страшнее». Это Фонвизин подмечает удивительно точно, ибо прослыть смешным, не умеющим себя вести, не знающим приличий, в любой среде во Франции — от «высшего света» до рабочего пригорода — одинаково позорно и по сей день, ибо означает расписаться в непонимании искусства жить. Ну а куда, спрашивается, с такой репутацией?

Конечно, все это само по себе не приходит. Этому учатся. И главное — этому учат.

На полпути между Каннами и Ниццей дорога делает петлю и раздваивается. Указатель на Вильнев-Лубе в сутолоке машин можно и не заметить. Но к нему добавлен еще один, который уж никак не упустишь из виду — «Музей кулинарии».

Вильнев-Лубе — прелестная деревенька, жемчужина Лазурного берега. От его золотых пляжей расположена она далековато, но дыхание моря ощущается и здесь, стократ усиленное густой листвой каштанов и платанов. Французское сельское жительство не сравнить с нашим. И не только потому, что здесь не встретишь ни одного деревянного дома, а на улицах — ни единой колдобины. В послевоенные годы французская деревня сильно подтянулась к городу по уровню и жилья, и быта, обзавелась всеми необходимыми ей магазинами и удобствами. И во многом по обустроенности своей иному городу не уступит.

Вильнев-Лубе будто лубочная картинка. Домики со свежевыкрашенными стенами и ставнями, вымытыми до блеска крылечками, с дорожками, затейливо выложенными брусчаткой. Кажется, что по этим улочкам прошли с пылесосом, а потом еще натерли воском для лучшего впечатления.

Откуда взялся здесь «Музей кулинарии»? Что за гурманы живут в Вильнев-Лубе? Трехэтажный, ничем не примечательный внешне дом. От других он отличается только табличкой с указанием часов работы музея. Жанна Нейрат Таламас, его главная хранительница и одновременно директриса «Фонда Огюста Эскофье», вручает мне целую кипу справочных материалов, с помощью которых, наверное, можно при желании написать целую диссертацию об истории французской кулинарии, а главное — об одном из ее корифеев, имя которого носит возглавляемый Жанной фонд.

Эскофье родился в этой деревне, в Вильнев-Лубе, в 1846 году и уже в 13 лет стал работать у своего дяди в Ницце в ресторане «Франсе». За свою долгую жизнь — он умер, когда ему было почти 90 лет (вот что значит правильно и вкусно питаться), — Эскофье прошел все

ступени поварской карьеры. После того, как в тридцать лет он завел свой первый собственный ресторанчик в Каннах, популярность его кухни росла с каждым годом. Его приглашали лучшие рестораны мира — от Парижа до Нью-Йорка, от Лондона до Монте-Карло. Его книга «Моя кухня» разошлась по всему свету и стала настольной для каждого мастера кулинарии по обе стороны Атлантики. Эскофье умер признанным мэтром, оставив после себя сотни учеников и дав свое имя не одному клубу профессиональных кулинаров высокого класса. Незадолго до смерти из рук президента Эдуарда Эррио он получил орден Почетного легиона.

Брожу по залам этого странного, на наш взгляд, музея: кому бы пришло у нас в голову собирать и классифицировать по самой строгой научной методике, скажем, вот эти мельхиоровые шпажки, на которые можно насаживать все — от лука до раков — и готовить с их помощью самые экзотические шашлыки? Я уже не говорю о том, чтобы собрать посмотреть на все это участников национальных встреч кулинаров и международных симпозиумов шеф-поваров, хотя у нас готовить умеют и не хуже, может быть, французов. А вот здесь такие мероприятия — обычное дело.

Какое все же это искусство, — французская кулинария! Видишь, переходя от стенда к стенду, как веками оно оттачивалось, по мере того, как его передавали по наследству от отца к сыну из поколения в поколение. Ведь все ведущие кулинары мира по традиции — мужчины...

Великий Монтень говорил, что искусство кухни — это не только наука ублажения прожорливых глоток. Это прежде всего предмет высокоиосимой морали, который надо уметь принимать и понять. Он не погрешил против истины. Французская кухня в соответствии с заветами Эскофье построена таким образом, чтобы не просто накормить человека до отвала, а доставить ему высочайшее наслаждение от самого процесса выбора блюд и принятия пищи, от той атмосферы — амбьянса, как здесь говорят, — в которой он обедает либо ужинает. А уж сами блюда, изысканность которых вошла в поговорку, создаются таким образом, чтобы человек, их вкусивший, утолил голод, но вместе с тем не ощутил бы никакой тяжести.

Искусство французских кулинаров трудно, конечно,



оценить вне ресторанов, в которых они творят ежедневно свои гастрономические шедевры. Но в музее в Вильев-Лубе есть все же такие экспонаты, от которых буквально слюнки текут. Тут и старинный замок из шоколада, и античная ваза из сахара, суфле и печенья, олеи из марципана, и арбалет из орехов. И все это создавали местные умельцы, ученики и последователи Эскофье. Попастъ в эту категорию, кстати, не так легко. «Фонд Эскофье» регулярно проводит в различных городах Франции курсы усовершенствования шеф-поваров, на которых преподают лучшие кулинары и специалисты по дегустации вин. Стоит это удовольствие недешево — шесть тысяч франков за сорок часов обучения. Но зато уже с дипломом «Фонда Эскофье» можно претендовать на работу в любом ресторане Франции.

В одном из залов музея — коллекция старинных меню. Чего только тут нет! Даже меню банкета в честь 300-летия дома Романовых с портретами Миханла Федоровича Романова и Николая II. И это не простое собирательство. Все блюда, обозначенные в пожелтевших от времени «ресторанных картах», можно научиться готовить прямо тут же в музее, воспользовавшись сборником старинных кулинарных рецептов.

Когда заканчиваешь осмотр экспозиции, попадаешь в телезал, где по видеозаписи идет показ учебных фильмов для кулинаров-любителей и профессионалов. Гурманы и домохозяйки просиживают здесь подолгу, тщательно переписывая в свои книжечки полюбившиеся им рецепты. Я тоже не удержался и записал один, на мой взгляд, несложный. Берете три граненых стакана нарезанного мелкого репчатого лука. Три столовые ложки сливочного масла. Три столовые ложки муки. Шесть стаканов мясного бульона. Один лавровый листок. Несколько горошинок черного перца — так, чтоб они уместились на четверти чайной ложки. Шесть ломтиков белого хлеба. Полтора стакана тертого сыра. Репчатый лук надо поместить вместе со сливочным маслом в разогретый сотейник либо гусятницу, обжарить до коричневого цвета. Затем добавить муку, а потом уже мясной бульон. Добавить поочередно лавровый лист, перец, поставить на слабый огонь и варить 30 минут. Подсушить хлеб, разлить суп по шести чашкам, положить по ломтику хлеба, посыпать тертым сыром, накрыть чашки и поставить на несколько минут в духовку. Получится у

вас знаменитый луковый суп по-парижски. Очень вкусный, я попробовал сразу же, как вернулся из Вильнев-Лубе. И добрым словом вспомнил Огюста Эскофье и тех, кто хранит о нем память.

## **ПО ЗАКОНАМ «ПОЛИТЕСА»**

В Булонском лесу Парижа, у входа в семейный ресторан «На старой ферме» посетителей встречает за деревянной изгородью вся непеременимая для деревенского двора живность. Тут и козы, и собака, и кролики, и куры. Но самая большая достопримечательность — гусь по кличке Оскар. Я не сразу понял, почему с одними посетителями он по-своему, по-гусиному, приветлив, а других иоровит ущипнуть за щиколотку.

«Секрет» полностью открылся, когда за изгородь зашел старичок и сказал: «Бонжур, Оскар! Как поживаешь? Хорошо? Спасибо, и я тоже хорошо». Доброе слово, оказывается, не только кошке, но и гусю приятно. Оскар дал себя погладить, беспрепятственно пропустил старика к бару и вернулся к загородке учить других посетителей «политесу».

Мы как-то забыли это понятие. А ведь было время, когда на Руси «политес» виедряли, упорно, при Петре I прививали едва ли не силой. Знаменитый словарь «Ларус» толкует это понятие так: «Манера действовать или разговаривать цивилизованно и благовоспитанно». На русский язык «политес» переводится не только как «вежливость», но еще и как «учтивость». В этом втором значении, пожалуй, и заложен секрет цивилизованного поведения.

В петровские времена термин «проявить учтивость» переводили с французского буквально — «сделать политес». Речевых оборотов с этим словом немало, но вот один особо показателен. О человеке, который плохо воспитан, уходит, не попрощавшись, или даже не является на свидание, говорят (опять же в буквальном переводе) как о каком-то Нероне: «Он сжег политес».

В детском саду одного из округов Парижа воспитательница средней группы (малыши от 5 до 6 лет) во время обеда учила детей вести себя правильно за столом. «Жакоб, ты очень далеко сидишь от стола. Нет, не

так близко. Не неси себя к тарелке, а неси к себе ложку. Не ешь так быстро, Ани. Никто не отнимет твой обед. Локти на стол не ставьте... Вилку, Жан-Мари, в какой руке держат вилку? Правильно, в левой. Сначала прожуй, Франсуа, с полным ртом нельзя разговаривать, никто тебя просто не поймет. Тебе не нравится салат, Люсьен, но зачем ты портишь аппетит другим? Разве это учтиво?» И так целый день, что называется, с первых шагов. Сценку эту я наблюдал не в каком-нибудь частном, закрытом детском учреждении, а в обычном, муниципальном.

В любом детском саду, да и в школе Парижа воспитатели при встрече утром уже у входа обмениваются с каждым из своих питомцев одной-двумя приветливыми фразами. На прощание в детском саду обязательно «своего» малыша поцелуют, а в школе — пожмут ему руку, обнимут. Проявляется уважение к маленькой личности, и личность платит взрослому старицей. Авторитет старшего, особенно родителей, весьма высок. 68 процентов французов, согласно опросам, считают, что образование и воспитание следует строить именно на принципе уважения к старшим и на строгом соблюдении дисциплины. Правда, 22 процента решительно против этого и выступают за более вольные порядки. Но и те и другие при всем различии взглядов на дисциплину сходятся в одном: если ты будешь уважать права других, то и другие будут уважать твои права.

Этому учат с детства. В семье, — а во Франции она все же сохраняет традиции, несмотря на то, что, по статистике, больше французов разводится, чем женится, — родители всегда выслушают ребенка. И вот результат — 66 процентов опрошенных в возрасте от 15 до 20 лет говорят, что родители их понимают. В современном мире с этим встретишься далеко не в каждой стране.

С чего начинается такое понимание у французов? Вот пример. Малыш сидит и рисует, а затем робко несет свое произведение на суд взрослых. Ни в школе, ни тем более в семье никто не отшвырнет его рисунок небрежно, не глядя. Какая бы это ни была «каляка-маляка», она заслуживает почтительных комментариев: «Ну надо же! Какое воображение!» Или когда совсем уж трудно понять, что нарисовано: «Какое ощущение цвета!» «Шедевр» тут же прикрепят к стенке, рядом с

другими такими же, подписанными поименно. Будущий Пикассо, перемазанный фломастерами, улыбается при этом во весь рот, ощущая себя примерно так же, как взрослый живописец перед дверью своей первой персональной выставки. Как это потом окупается!..

Конечно, отнюдь не все идеально в этих университетах «политеса». Есть семьи, и их немало, где усилия педагогов сводятся не так же, как есть среди французов и откровенные хамы, и нерадивые учителя. Но здесь речь идет о принципиальном подходе, о том, чему педагога учат, готовя его к трудной профессии воспитателя чувств. А правил без исключения не бывает.

«Политес» — понятие широкое, многоступенчатое. По мере его освоения учатся не только правильно пользоваться столовыми приборами (а их при иной сервировке — десятки), не запихивать за ворот салфетку и не чавкать. Учат и вести себя в обществе, и одеваться, и даже в учтивой форме писать письма.

Существует огромная литература «политеса». В каждой конторе, например, стоит на полке книжка «Идеальный секретарь», где перечислены все возможные ситуации и варианты письменного обращения в мэрию, суд, полицию, к адвокату, к любому частному лицу и госучреждению, приведены образцы приглашений гостей на все торжественные церемонии — от рождения до похорон. По этим образцам учатся. Им строго следуют.

Письма для французов, кстати, это еще и средство «выпустить пар». Если в других странах сбои в работе транспорта, почты, перерывы в подаче электричества, газа, воды вызывают всплеск эмоций и всеобщего раздражения, то французы реагируют на это иначе. В своем извечном поиске справедливости они пишут письма, жалобы. Оспаривают также постоянные штрафы за стоянки в неположенном месте, протестуют против роста безработицы и загрязнения воздуха, распространения порнографии и отмены очередных скачек. Жалуются на грубое обращение таксистов, на то, что не работают автоматы по продаже билетов в метро и так далее, и тому подобное. Во имя того, чтобы все было в соответствии с приличиями и «как должно быть», француз не поленится прийти в префектуру полиции и на очной ставке с вызванным туда таксистом, отказавшимся везти куда нужно, подтвердит все, что изложил по этому поводу в своей письменной жалобе. А потом не поленится прийти

и в суд, куда французы ходить обожают. Все это укрепило мнение о французах, как об ужасных занудах и сутягах. Но это не так. Просто во Франции, как нигде, развито гражданское общество...

Мне часто приходилось видеть, как совершенно мирные на первый взгляд старушки, прогуливаясь по парку, вдруг обнаруживали какой-то непорядок и тут же, забыв о своем «полезном» для здоровья променаде», бежали искать «представителя власти». И не успокаивались, как будто это касалось их лично, пока его не находили и не высказывали свои претензии. И худо пришлось бы любому блюстителю порядка, который отреагировал бы примерно так: «А тебе-то какое до этого дело, бабуля?» Во всем, что касается приличий, поговорка «Моя хата с краю» во Франции непонятна. Если на улице возникла пробка, а регулировщика нет, месье Дюпон усадит за руль жену, а сам выйдет из машины и начнет регулировать движение, пока жена не проедет. После этого — уже не его дело. И к тому же надолго чужие обязанности брать на себя неприлично.

Приличия — здесь дело просто святое. За обязательное их соблюдение выступает свыше 70 процентов опрошенных. У француза буквально почва поползет из-под ног, если приличия будут при нем нарушены грубо и демонстративно, будь то вольно или невольно. Помню, как в первые дни работы в Париже на узенькой улочке я случайно слегка задел встречную машину боковым зеркалом. Выглянув из окна и убедившись, что у встречного — ни царапины, проехал дальше, чтобы не задерживать движение. Что тут началось! Из машины выскочил тщедушный человечек и со всех ног помчался вслед. Но, конечно, не догнал бы, если бы я не остановился. Бледный, взволнованный, он с трудом проговорил: «М-м-месье, по-по-почему вы не остановились?» Для него неважно было — осталась на его машине царапина или нет, ему бы все возместила страховка, даже если бы я вмял ему дверь в крышу. И не исключено, что это он воспринял бы спокойнее. Но вот то, что я не остановился, для него граничило с крушением основ — ведь это было вызовом Приличиям!

Каждый сверчок во Франции знает свой шесток. Но выяснять отношения на манер Паниковского и Шуры Балаганова из «Золотого тельца» Ильфа и Петрова: «А ты кто такой?!» — здесь не принято, а уж тем более

напоминать, кто ты по должности, положению либо — упаси бог — богатству. Когда в 1986 году глава правительства социалистов Л. Фабиус сказал в ходе предвыборного теледиспута с Ж. Шираком: «Вы забываете, что говорите с премьер-министром!», это обернулось для него «потерей лица» и утратой голосов избирателей.

Понятие приличий во Франции означает не только правила поведения, протокола, этикет. В первую очередь это уважение прав, мнений, чувств и эмоций окружающих, людей как близких, так и случайных знакомых. Кроме того, соблюдение законов и правил общечеловеческого поведения.

Ко всему этому привыкаешь довольно скоро. Уже не удивляешься, когда в магазине тебе говорят спасибо за покупку, а почтальон благодарит за то, что ты расписался за доставленную прямо на дом посылку. Постепенно и сам учишься быть элементарно приветливым. Говорить знакомым при встрече: «Здравствуйте! Как дела? Как дети, не болеют? А ваша машина ходит нормально? А последняя рыбалка, что, была успешна?» И все это как бы между делом, с заинтересованностью и улыбкой. Так же и при прощании, для которого разработан целый ритуал: «Ну до скорого свидания, до встречи, желаю всего вам доброго, пусть день у вас (или утро, вечер, конец недели, праздник и так далее) будет удачным». Нельзя без всего этого ни войти в магазин или кафе, где тебя знают и привечают, ни выйти. «Политес» обязывает.

Конечно, сосед прекрасно знает, что меня не столь уж живо интересуют, если положить руку на сердце, ходовые качества его машины, так же, как я знаю, слушая его расспросы, что его не особо волнует состояние здоровья моего кота. Но дело-то не в этом. А в том, что учтиво пообщались, пока ехали в лифте, а не стояли враждебно, воды в рот набрав, делая вид, что друг друга и знать не знаем, хотя и живем в одном подъезде. Улыбнулись, попрощались, друг друга не обхамили, не с раздражением приехали на работу, а с хорошим настроением. А ведь от этого и работаете лучше, и, как давно доказали врачи, здоровье надежнее. Выигрывает же от такого «эффекта политеса» и каждый отдельный человек, и все общество, кстати, не только нравственно, но и экономически.

Освоить это искусство, как показали еще петровские

времена, не так уж трудно. Надо просто пробовать, стараться. Или, может быть, на первое время попросить у французов напрокат гуся Оскара?

## **...И ФОНАРИ НЕ БЬЮТ**

Бывает так за границей: человек, которого, что называется, сто лет не видел, вдруг сваливается тебе как снег на голову и говорит: «Слушай, я здесь в первый раз в жизни и то на день, очень прошу, покажи город...» Отказать тут никак нельзя. И вот мы катим по Парижу с моим давним другом Василием. Его интересует все, но из града вопросов я намерению выбираю градины самые крупные.

Методом дедукции, изучением в нашем с Васей детстве по рассказам о Шерлоке Холмсе, определяю, что больше всего моего гостя волнует вопрос, для советского командированного необычный: «Существует ли в Париже и во Франции вообще вандализм?» Это типичное для всего современного мира печальное явление, которое получило название от варварского племени вандалов, прославившегося бессмысленными разрушениями и грабежами, интересует его в плане сугубо практическом.

— И как часто в этом саду Тюильри, — спрашивает он, — ремонтируются скамейки?

— Думаю, что по мере износа, — отвечаю ему, глядя в сторону Лувра на поднявшееся из строительных лесов пока что непривычное в окружении ампира и барокко сооружение — стеклянную пирамиду, через которую скоро будут проходить посетители прямо в бывший королевский дворец...

— А когда ломают или ножами режут?

— То есть? А-а, ты по аналогии... Нет, здесь не режут и не ломают.

— А фонари разве не бьют? — с недоверием спрашивает Вася, рассматривая склонившийся над нами чугунный колокольчик с медленно разгорающейся галогенной лампой. — И статуй по вечерам не ломают? На фундаментах названия футбольных команд не пишут? Мозаику не выковыривают? И цветы не рвут? Не может быть...

Из сада Тюильри мы отправились на площадь Согласия

сия, и мною я сообщил ему, что парижане также не вырывают с мясом трубки в телефонах-автоматах, не портят лифты в домах, кодовые и переговорные устройства на входных дверях, не разбивают вдребезги стеклянных экранов на стоянках автобусов, не отламывают антенны и не снимают щеток с ветровых стекол автомашины, не ставят на колеса гаек с секретом и не крепят цепочками колпачки на ниппелях, не кидают в фонтаны окурков и апельсиновых корок, ни разу не написали на знаменитом Луксорском обелиске: «Здесь были...», или хотя бы: «Пьер плюс Жанна равняется любви».

В кафе на Елисейских полях Василий осторожно осведомился, почему никто не уносит с собой в качестве сувенира пепельницы, подставки для салфеток, бокалы, кофейные чашечки, плетеные стульчики и столы, выставленные на улицу и оставленные без всякого присмотра, что уже само по себе есть показатель полного отсутствия персональной материальной ответственности. Не говоря уже о том, что на всем этом оборудовании нет ни фирменных знаков кафе, ни инвентарных номеров, ни даже цены...

Мы целый день ездили по Парижу и его окрестностям. К концу Василий спрашивал меньше, но что-то заносил в свой блокнот, бормоча про себя: «Это бы у нас...»; «А вот это тоже, наверно, приживется. Надо попробовать...»

В парке вокруг дворца Трианон в Версале он прямо-таки ошоломелся, когда увидел, как дети прямо из рук кормят зеркальных карпов и красных карасей. Рыба кишла кишла в пруду, и то и дело карпы «хрюкают», заглатывая воздух вместе с кусками хлеба.

При выходе из парка, у площадки, где были выставлены сдающиеся напрокат по вполне приемлемой цене велосипеды для детей и взрослых, он опять сделал пометку в блокноте, проговорив: «Уж это мы можем запросто...» Потом попросил меня узнать у служителя, нужно ли платить залог. Тот ответил: «Нет, а зачем?» — «А что, если кто-то велосипед возьмет вроде бы напрокат, а сам неизвестно куда укатит?»

— Это невозможно, — сказал, пожав плечами, служитель.

Точно так же ответил Василию служитель в парке Багатель, когда он спросил: «Почему разгуливающих по лужайке павлинов никто не охраняет? Ведь кто-нибудь



может подойти и надергать из их хвостов перьев — птица беззащитная и к тому же кормится из рук, лебедь хоть уплывает, да, правда, и тому могут свернуть шею».

— Нет, это невозможно, — сказал он сам после того, как мы заехали в парк Монсо в самом центре города и в несколько скверов с детскими площадками, где везде был насыпан песок в песочницы, не был искорежен ни один детский домик, не повреждены и не испорчены ни одна скамейка, ни один качели, ни одна горка.

Как оказалось, Василий интересовался всем этим для пользы дела: недавно его избрали депутатом райсовета. Вот и смотрел, как поставлено городское благоустройство во Франции. Смотрел и не понимал. «Ты скажи все же, — допытывался у меня, — что они — такие сознательные?»

Конечно, вандалистские акции во Франции совершаются. Вот печальная для страны цифра: «Ежегодный ущерб только от вандализма школьников — от разрисованных стен до преднамеренных поджогов — исчисляется в десятках миллионов франков». Это данные из официального справочника «Квид». Но в последние годы, судя по сообщениям печати, хулиганских вылазок по отношению к окружающей среде здесь становится все меньше.

Во Франции все то, что мешает жить, а главное, — жить удобно, стремятся по мере возможности искоренить. Разными методами. По мере взросления каждый француз так или иначе может убедиться, что за вандализм в любом его проявлении наказывают, и строго.

Мы зашли с Василием к моему доброму знакомому парижскому адвокату Франсуа Кальдеру. В ответ на вопрос, как наказывают, он снял с полки французский уголовный кодекс и зачитал статью номер 257. Из нее следовало, что за намеренное повреждение, а также «увечье», нанесенное в общественных местах монументальным сооружениям, памятникам, оборудованию в местах отдыха и общего пользования, злоумышленник рискует получить от 1 месяца до 2 лет тюрьмы и заплатить от 500 до 30 тысяч франков штрафа. В той же статье говорится, что аналогичное наказание следует за нанесение ущерба археологическим находкам, хранящимся в архивах рукописям и прочим историческим документам, зданиям, взятым под охрану государства. При применении для нанесения подобного ущерба

взрывчатых и прочих веществ, опасных для жизни окружающих, — от 5 до 10 лет тюремного заключения и от 5 тысяч до 200 тысяч франков штрафа. А в случае действий такого рода, совершенных организованной бандой, — от 10 до 20 лет тюрьмы.

Закон, как видим, строг. Не менее сурово он карает за посягательство на личную и частную собственность. Скажем, за повреждение частных, но открытых для посещения музеев, картинных галерей, замков и т. д. Все строже с каждым годом законы за нанесение ущерба окружающей среде, в первую очередь паркам, лесам, рекам и озерам. В том же парке вокруг Трианона не срежешь гриб, не сорвешь ягоду: штраф выпишут немедленно, и немалый. В Булонском лесу, на окраине Парижа, в Венсенском лесу, в лесопарке Сен-Жермен-ан-Ле безнаказанно не сломаешь ветку, не сорвешь цветка. Может быть, кому-то такие строгости покажутся чрезмерными, но действует здесь не только уголовный кодекс.

Помню, дело было в феврале. Бегу я, как обычно, рано утром по Булонскому лесу. Погода благодатная, снег так и не выпал ни разу за всю зиму. По тропинке бегут еще двое любителей «джоггинга», судя по всему, семейная пара. Неожиданно останавливаются и кричат: «Месье, месье! Идите сюда!» Приближаюсь к ним и вижу: о, чудо! Из травы поднимаются подснежники. Это в феврале-то! Несколько дней подряд я пробегал мимо этой волшебной поляны. Никто не тронул цветы. И сколько добра, красоты они подарили людям!

Откуда такое отношение к природе? Его воспитывают сизмальства. Во французских школах борьбу с вандализмом ведут планомерную и умную. Детям не только тщательно растолковывают 257-ю статью УК Франции, но и ежедневно внушают, что чем ниже уровень вандализма, тем выше качество жизни. А чем человек старше, тем он к этому внимательнее прислушивается. Жизнь заставляет. Не в последнюю очередь, конечно, срабатывает и национальная гордость за Францию как страну богатой и высокой культуры. Исторические памятники, культурное наследие здесь учат беречь с первых шагов. И потому на каждого вандала всегда найдется десяток французов, которые остановят его вредную руку, а то и отведут в ближайший полицейский участок. Во Франции все, что касается ее истории, —

священно. Любое археологическое открытие — общенациональная сенсация, какой, скажем, была находка обломков парадного шлема Карла VI, обнаруженных при раскопках в Лувре.

На прощание Василий показал мне страничку в своем блокноте — переписанное при входе в парк Трианон объявление о том, что туда нельзя входить с собаками, с фотоаппаратами, оборудованными вспышкой, с переносными радиоприемниками и магнитофонами. Все это, поясняет администрация, может испугать или потревожить живущих в парке рыб, животных и птиц. А парк этот — ваше, французы, национальное достояние и должен остаться таким на века...

«Умеют ведь, — не без зависти сказал он. — Нам бы так».

Я предал гласности расследования Василия в Парнже. И после публикации моей статьи в «Правду» потоком пошли письма. Вот лишь некоторые.

«Знали бы вы, дорогие товарищи, с каким интересом и волнением прочитали мы статью В. Большакова «...И фонари не бьют». А что же у нас-то в стране происходит? Вот спорим с женой, спорим отчаянно. Она, имея в виду разбитые фонари, сорванные телефонные трубки, оскверненные лифты и прочие последствия хулиганства, говорит очень неслестно о нашем народе. Я против таких обобщений, хотя мне тоже больно все это видеть. И хочется понять, откуда возникает подобное и почему культура плохо к нам прививается.

Больше об этом надо говорить по радио и телевидению, писать в газетах и журналах. Чаще показывать положительные отечественные и зарубежные примеры. А почему бы не показать по телевидению тех, кто бьет и ломает? Было бы нелишне послушать, зачем они это делают. Во имя чего?»

А. Аничкин-Тимофеев,  
г. Москва

«Неужели мы, советские люди, хуже французов? Почему не ценим свое, родное? Почему общественное считаем ничьим? Приведу пример. Здание железнодорожной станции Можайская было отремонтировано, стены выкрашены. Через несколько дней их уже расписали так, что можно было с уверенностью сказать: последние

десять лет здание не ремонтировалось. В помещении станции постоянно находятся кассир, пассажиры, но никто никогда не останавливает хулиганов».

Р. Целиков,  
г. Ленинград

«Все мы знаем сегодняшние цены на продукты, одежду, обувь. В этих условиях не может женщина-мать не работать. А сколько времени у нее уходит на дорогу, стояние в очередях за продуктами, приготовление пищи и мытье посуды, стирку, глажку. На воспитание детей остаются считанные часы, а порой и того меньше. И это в благополучных семьях, где детьми стараются заниматься. А нередко ребенку, подростку, отправляющемуся погулять на улицу, просто некому подсказать, что бить стекла, резать сиденья в кинотеатре, рвать цветы на газонах — это не героизм. Что писать на стенах домов, в подъездах, лифтах неприличные слова и плевать на пол — нехорошо. Что телефон в будке — это удобство для людей. А вдруг его матери на улице станет плохо, люди захотят вызвать «скорую» или милицию, но не смогут, потому что он сам оборвал все телефонные трубки в районе.

Пора понять, что раскрепощение женщины состоит в том, чтобы она получила возможность уделять больше внимания семье. Вот тогда подрастет поколение, которое и создаст более культурное, основанное на взаимном уважении общество».

Е. Тутов,  
г. Москва

«Тема, поднятая в статье В. Большакова, чрезвычайно актуальна. Вандализм приобретает у нас характер национального бедствия. В то же время надо отметить, что гораздо меньше проявлений этих безобразий в Прибалтийских республиках. А возьмите патриархальный порядок в глубинных русских деревнях, сохранившийся по сей день, — там тоже этого нет.

Недавний период застоя в жизни страны был временем массового воровства и легализованного использования служебного положения в корыстных целях. Разве не распространено по-прежнему, хотя и преследуется

сейчас, уродливое «несунство»? Все эти негативные явления отнюдь не способствуют воспитанию у молодежи бережного отношения к общественным ценностям.

Е. Чупров,  
г. Горький

«Грустные размышления вызвала статья «...И фонари не бьют». Почему у нас часто можно встретить следы вандализма?

Было бы неправильно считать, что варварское отношение к природе, к тому, что создано человеком, не имело места прежде. Имело место, разве что масштабы разные.

Почему же эти, так называемые пережитки живут и здравствуют сейчас? Причин тому много. Думается, одна из них родилась еще в конце 20-х — начале 30-х годов, когда для достижения поставленных целей использовались недозволенные методы, подсказываемые и поощряемые сверху. Достаточно, например, вспомнить, чем сопровождалась борьба с религией: громили церкви, уничтожали ценнейшие документы, бесценные произведения изобразительного искусства, разрушали архитектурные памятники, разбивали надгробия. Такой вандализм не мог не унаследоваться, не сказаться на последующих поколениях.

А годы культа личности, когда лицемерные рассуждения о гуманности сопровождалась противоположными практическими действиями? Это тоже оставило ощутимые и долго не смываемые пятна. В годы же застоя некогда (да и некому!) было думать о нравственном здоровье: примеры некоторых руководителей и многих из их окружения ориентировали совсем на другое.

И вот приходится расхлебывать последствия. Теперь, когда перестройка приобретает все более широкий размах, особенно остро стоит вопрос о путях нравственного оздоровления людей. Без успешного его решения не так легко справиться и с задачами социально-экономических преобразований.

С вандализмом, хулиганством, хамством во всех проявлениях пора развернуть самую решительную и беспощадную борьбу».

Л. Терлецкий,  
г. Кировоград

Я эти письма всегда показываю тем, кто говорит, будто в России — хоть ты тысячу гусей Оскаров к нам запусти, — никакой политес не привьется. Говорят: «Для русского человека политес, особенно в том, что касается общения между людьми, неприемлем, ибо не дает возможности «поговорить по душам» и «излить душу», а кроме того — исключает всякую возможность «резать правду-матку в глаза»... При этом, кстати, бывает, ссылаются и на Фоивизина.

Но Фоивизина брать в союзники в оправдание хамства, мне думается, не след. Тем более что хамство — у русских качество привнесённое. Нельзя, однако, не отметить, что французская провинциальная учтивость, да еще умноженная на присущее тогдашним нравам полусвета лицемерие, раздражала писателя донельзя. Он писал в своих «Письмах из Франции»: «Почти всякий француз, если спросить его утвердительным образом, отвечает: да, а если отрицательным, о той же материи, отвечает: нет». Фоивизин никак не может понять, почему, когда он говорит с французами о большей у них по сравнению с другими народами вольности, они тут же отвечают: «Вы правы, француз рожден свободным!» Но стоит ему сказать, что вольности эти сплошь и рядом попираются, с ним снова соглашаются. И как: «Вы правы, сударь! Француз — раздавлен! Француз — раб!» Хлесткое перо Фоивизина не щадит поклонников политеса: «Если такое разиоречие происходит от вежливости, то, по крайней мере, не предполагает большого разума... Надобно отдать справедливость здешней нации, что слова сплетают мастерски, и если в том состоит разум, то всякий здешний дурак имеет его превеликую долю. Мыслят здесь мало, да и некогда, потому что говорят много и очень скоро. Обыкновенно отворяют рот, не зная еще, что сказать...»

Французы обожают словесные игры, это действительно так. Тренировки в острословии начинаются еще в детском саду и продолжаются всю жизнь. Важно поэтому не что скажешь, а как скажешь. Для человека непривычного непонятно, почему французы высмеивают тех политиков, которые пытаются во время дебатов со своими противниками говорить по делу, с цифрами и фактами в руках, и, наоборот, аплодируют и отдают свои симпатии и голоса тем, кто вообще статистику и цитаты игнорируют, но зато блестяще владеют искусством полемики и убивают на словесной дуэли не гирями доказа-

тельств, а отточенной шпагой юмора. Французы готовы часами слушать то, что, на наш взгляд, не более, чем «переливание из пустого в порожнее». Дискуссия сплошь и рядом идет вокруг каких-то мелочей, которые никому и нигде, кроме как во Франции, не придет в голову поднимать до уровня национальной проблемы. И когда подобные дебаты проходят по телевидению, то человек, к реалиям Франции непривычный, может подумать, что их могут смотреть только глухонемые. Как бы не так! Именно такие программы и смотрят большинство французских телезрителей. Почему же?! Да потому, что присматриваются к тому, кто есть кто, кто на что способен. Ведь цифры, факты, цитаты и афоризмы запомнить нетрудно. А вот найтись вовремя и суметь ответить без всякой видимой подготовки на залп любой тяжелой артиллерии любителей статистики и авторитетов — это уже умение действительно серьезное, говорящее о зрелости политика, его таланте полемиста и, конечно же, прекрасном владении искусством жить. Помимо всего прочего, наблюдая за такими словесными баталиями, француз и сам учится. В том числе быть независимым в суждениях и умению доказывать свою правоту. Другое дело, что острословие в политических дебатах Франции нередко подменяет разговор по существу тех проблем, с которыми сталкивается страна и которые одним юмором не решишь. Но в конце концов все мы имеем таких правителей, которых заслуживаем.

Фонвизин, понаблюдав за французскими острословами, вынес им вердикт суровый: «Острота, не управляемая рассудком, не может быть способна ни на что, кроме мелочей, в которых и действительно французы берут верх пред целым светом. Обман почитается у них правом разума. По всеобщему их образу мыслей обмануть не стыдно; но не обмануть — глупо. Француз никогда сам себе не простит, если пропустит случай обмануть хотя бы в самой безделице. Божество его — деньги...»

Говорить о нации вообще всегда трудно, а уж тем более о самых ее характерных чертах. И все же, если Фонвизин и был прав в своих суждениях, говоря, будто во Франции «корыстолюбие несказанно заразило» все сословия, то я берусь утверждать, что за двести лет многое здесь переменялось на шкале жизненных ценностей. По своему личному опыту, может быть, просто счастливому, я могу сказать, что француз, если полюбит чело-

века, посчитает его своим другом, никогда не постоит за ценой, чтобы сделать ему приятное. С другой стороны — он и сантима не даст, если вынужден иметь дело с человеком, ему безразличным или заведомо неприятным. Чтобы с французом общаться, войти к нему в дом и в сердце, надо открыть ему сердце свое, равно как и двери своего собственного дома. Все должно быть построено исключительно на основах взаимности. Француз не терпит, когда его используют. Хотя бы потому, что не хочет выглядеть дураком. Фонвизин сетовал: «Нет ничего труднее, чем войти в здешнее общество». И объяснял это, с одной стороны, заносчивостью французов, которые считают, что «дают тон всей Европе», а с другой — чисто человеческим стремлением принимать у себя в доме тех, кто приятен и близок по духу и образу мыслей, а не просто гостей протокола ради. И то и другое, пожалуй, верно. Французы своим шовинизмом порой даже кокетничают. И вместе с тем обожают вволю поговорить, даже с иностранцем. Человека, который им в этом плане интересен, своего мнения не навязывает, хозяев и гостей не перебивает, будут принимать охотно. Но, как только почувствуют, что не то, моментально в доме откажут. Это еще одна сторона «искусства жить» — жить надо так, чтобы не создавать себе неудобств, которых можно избежать. Смешно поэтому бывает слушать, как обижаются те, кому таким образом во французском доме было отказано, и объясняют это не своей непригодностью к общению с ними, а «жадностью» французов, о которой-де еще Фонвизин говорил. Да не жадные они. Достаточно посмотреть на то, как они подают на улице — даже алкоголикам и наркоманам, не говоря уже о клошарах, поддерживать которых «на плаву» стало уже чем-то вроде общенационального хобби. А как они помогали Армении! При каждой мэрии во всех округах Парижа были созданы специальные сборные пункты, куда со всего города несли одежду, причем очень хорошего качества, игрушки, обувь, даже мебель. И родители водили туда с собой детей, чтобы они сизмальства учились милосердию. Француз, как правило, готов поделиться с любым несчастным, обделенным, бесправным, особенно с пострадавшим от природного, стихийного бедствия. Единственно, кому он не подаст ни руки, ни денег, — так это человеку, который сам себе не хочет помочь.



Опросы общественного мнения конца 80-х годов показывают, что на шкале жизненных ценностей желтый металл остается достаточно презренным. Вот что, оказывается, французам нужно для полного счастья: «Иметь работу, которая нравится», (81%), «иметь друзей» (41%), «иметь хороший дом» (42%), «иметь возможность продолжать обучение» (34%) и наконец — «иметь детей» (25%). Это не значит, что дети, семья у них на последнем месте. В ответ на вопрос о том, за что вы были бы готовы отдать свою жизнь, именно «за свою семью» ответили 84%, а «за родину» — только 8%. Опросы, кстати, читать иной раз чрезвычайно полезно, хотя бы для того, чтобы опровергать расхожие мифы и сложившиеся стереотипы.

Вот Фовизин писал в своих письмах о французском всеобщем падении нравов и склонности к распутству у обоих полов. Может быть, в те времена и было. Может быть, на усердствование нравственности нынешнего поколения повлиял СПИД. Но вот результаты опроса 1989 года: самым прекрасным жестом любви 30 процентов опрошенных французов назвали верность, а 41 процент посчитал супружескую неверность серьезным предательством любви. А сколько рассказано анекдотов о беспутных французах и француженках, изменяющих своим супругам направо и налево! В таком стереотипе разочароваться все же приятнее, чем вместо галантного француза встретить хама, с удивлением узнать, что среди потомков тех, кто брал Бастилию 200 лет назад, есть и расисты, и даже неонацисты.

## ЭТА ПАРИЖСКАЯ МОДА

Любого человека, побывавшего во Франции, наверняка спросят: ну а что там сейчас носят? Что в моде? В ответ нельзя теперь уже просто сказать: мини-юбки или платья — черные-белые и ярко-желтые, в крупный и мелкий горошек. Наши модницы дотошные, спросят — моден ли розовый цвет, а если нет, то какой? Что к платью положено: сбоку — бантик, воланы или шляпки-бескозырки? Одно время из XIX века в конец XX возвратился кринолин. Затем — подплечные плечи. Мода всегда с сюрпризами. Но модно одеваться — такое ис-

кусство, которому научиться непросто, хотя это тоже входит в «искусство жить».

Что носят и мода — понятия разные. Во Франции что носить диктует «художественная мода» — по-французски «от кутюр». Что это такое? Ремесло или искусство? На мой взгляд, все же «от кутюр» ближе к искусству. Муза моды обыкновенно занимает место где-то между живописью и театром, ваянием и танцем, историей и современностью. В моде есть своя поэзия. Она немыслима без музыки. Мода может быть и трагичной, и искриться юмором. Она по одной ей известным законам то обретает лирический облик, то обращается в буффонаду, цирк и даже бурлеск. В творениях моды есть поделки и однодневки, которых, увы, большинство, но есть и шедевры. Они уже сейчас находятся в музеях и заняли там место не по прихоти собирателей, а по праву причастности к художественному творчеству, уходящему своими корнями в самую глубь человеческой цивилизации. Ведь со времен незапамятных умение красиво одеваться было показателем уровня развития культуры народа и цивилизованности общества.

Франция в законодателя мод вышла исторически недавно, пожалуй, во времена знаменитого парижского модельера Леруа (1763—1814 гг.), которого называли «Микеланджело моды». С середины и почти до конца XIX века высшим авторитетом по этой части был Чарльз Фредерик Уорт — англичанин, поселившийся в Париже и основавший там свой знаменитый Дом моделей, где впервые в истории «от кутюр» платья демонстрировали живые манекены. В великосветских салонах Европы начала нашего века считалось хорошим тоном шить у Жака Дусе, у мадам Паке, сестер Калло и вплоть до конца второй мировой войны — у Поля Пуаре, который первым из французских модельеров стал вывозить своих манекенищиц для демонстрации коллекций мод за границу, в том числе и в Россию. Именно благодаря ему с начала XX века Франция стала центром мировой моды.

В Париже, по официальным данным, насчитывается сейчас 21 дом «от кутюр» (иностранцев, работающих в Париже, мы в счет не берем). Называют и другие цифры в печати — кто больше, кто меньше, но эта наиболее близка к истине и к тому понятию, которое вкладывается в термин «французская художественная мода».

Среди названий наиболее известные — «Дом Ланвена» (1890 г.), «Карвен» (основан в 1937 г.), «Шанель» (1924 г.), «Грэ» (1936 г.), «Кристиан Диор» (1947), «Эммануэль Унгаро» (1965) «Живанши» (1951), «Ги Ларош» (1952), «Жан Пату» (1911), «Нина Риччи» (1932), «Пьер Бальмен» (1945), «Пьер Карден» (1953), «Ив Сен-Лоран» (1962) и другие. Дома эти носят названия прославивших их модельеров — как умерших, так и ныне здравствующих.

Считать, что все они своего рода мастерские по массовому производству шедевров, было бы, конечно, наивно. Шедевры не тиражируются и в массовое производство не идут. Они уникальны. А потому и стоят чрезвычайно дорого. Так, например, известный Дом моделей Андре Курреж только 1,3 своей продукции относит к категории «от кутюр». «Жаклин Шерер» — примерно 10 процентов. Кому эта продукция по карману? «Элегантность, — писал как-то журнал «Экспресс», — стоит все дороже и дороже — всего 2 тысячи женщин во всем мире расхватывают «от кутюр». Они и в этом году, как и в прошлом, ожидают, сидя на своих позолоченных стульях, когда можно будет направить в Париж заявки».

Да, стоимость шедевров «художественной моды» в наши дни не ниже иных произведений искусства. Дневное платье, если пошить его на заказ в одном из знаменитых Домов моделей Парижа, стоит от двух с половиной тысяч долларов и выше. А вот вечернее может стоить уже целое состояние — до 40 тысяч долларов и выше. И тем не менее спрос на такой товар есть, и он даже растет с каждым годом. В 1986 году, например, объем продаж в сфере «от кутюр» возрос на 5 процентов и составил 300 миллионов франков, или примерно 50 миллионов долларов.

Тем не менее за счет одних шедевров, без производства модной одежды на заказ по более или менее доступным ценам даже самые модные дома и самые талантливые модельеры не продержались бы долго в бурных волнах бешеной конкуренции на мировом рынке.

12 февраля 1942 года в Париже, на улице Монтеня, где и по сей день располагается Дом моделей Кристиана Диора, произошла «революция в сфере мод». Именно так назвала представленную тогда Диором коллекцию мод весенне-летнего сезона К. Сноу, в то время

главный редактор американского журнала «Харперс базар». Она же дала имя новому направлению в «художественной моде»: «ню-лук», что в переводе с английского означает «новый облик». Революция Диора заключалась в том, что он впервые создал коллекцию довольно простых для пошива моделей женской одежды.

Для многих это было сенсацией уже потому, что Диор слыл человеком консервативным и достаточно традиционным в нелегком искусстве «от кутюр». Свои первые модели он называл как классические скульптуры: «Любовь», «Нежность», «Счастье». Вот так ему виделась его любимая модель — «Милая»: «грудь нимфы, фигура Сильфиды... и все это как бы выходит из морской пены — из огромного веера юбки, состоящего из тысячи складок, в которые уложены 80 метров белого фая (шелковая ткань. — В. Б.)». Классицизм у Диора сочетался, однако, с его стремлением сделать женщину, как он говорил сам, «не только красивой, но и счастливой». Именно в этом, очевидно, и следует искать корни той «революции», которую он совершил в «от кутюр», заставив это салонное искусство стать более демократичным и доступным, чем когда-либо. Конечно, и время ее свершения было выбрано не случайно.

«Нью-лук», — пишет в своей книге «Диор» Франсуаза Жиро, — представлял мощную взрывную реакцию на нищету и скудость войны». Женщинам, как никогда, хотелось быть тогда красивыми не только по праздникам и на званых раутах, но и в ежедневной жизни. Коллекция Диора в 1947 году показывала, как это сделать. Все, казалось бы, просто — облегающий жакет с поясом, юбка-миди венчиком, шляпка, туфельки на высоком каблуке и перчатки в тон юбки. Вот и вся нехитрая модель, воспроизведенная тысячу раз потом, в том числе и в коллекции Дома Кристиана Диора 1987 года.

Популярность Диора вошла в пословицу и снискала славу не только ему, но и Франции. Не случайно в марте 1987 года — 40-летие основания его Дома моделей — было торжественно отпраздновано в Париже, и в этих торжествах принимал участие сам президент Ф. Миттеран. И в Музее искусств и моды открылась посвященная ему выставка, где рядом с платьями, пошитыми знаменитым мастером для герцогини Виндзорской и баронессы Ротшильд, соседствовали и скромные, но исторические модели «ню-лук» 1947 года.

Уже в 1954 году «Дом Диора» занимал пять домов в Париже, где разместились 28 принадлежавших его фирме ателье. Ушли в далекое прошлое поэтические названия его первых моделей. Вместо классических «Счастья» и «Милой» в его коллекции зазвучали мотивы моды «модери» — «Взлет» и «Зигзаг» (коллекция 1948 г.) Диор вводит новый алфавит моды. В 1954 году появляется «линия Н» — прямые платья и костюмы без талии, в 1955-м — «линия А» — узкие плечи и широкие треугольные юбки, затем — «линия игрек» и т. д. Создав первые модели будничного платья, подготовив систему их массового производства и даже защиту авторских прав модельеров, Диор вплотную подошел к конвейеру, но не поставил на него свой фирменный знак. Это предстояло сделать Пьеру Кардену, ученику Диора, который, расставшись со своим мэтром, завел свое скромное ателье, где работало всего пятеро портных, и уже в 1953 году представил свою первую коллекцию моделей, которая произвела сенсацию. В последующие годы именно Карден создал знаменитые «платья-пузыри», женские костюмы «тройка-Диор», с юбкой колокольчиком, и модные костюмы «а-ля космос». Но главным его достижением было изготовление пошивочных лекал и постановка моделей модного платья на конвейер.

В 1959 году «Шамбр сзидикаль де ла от кутюр» — ассоциация самых знаменитых французских модельеров — постановила изгнать Кардена из своих рядов за непростительный по тем временам грех: он поставил фирменный знак своего Дома моделей на одежду фабричного производства!

Карден первым разработал практические законы сотрудничества мастеров «от кутюр» и швейной промышленности. По его лицензиям, выкройкам и под его фирменным знаком швейные фабрики могли производить готовое платье, но «Дом Кардена» осуществлял полный контроль за качеством пошива и получал за это свою долю от продажи готовой продукции. Этикетка модного дома, конечно, таким образом, девальвировалась, ибо модель утрачивала уникальность. Выход был в том, чтобы платья шить небольшими партиями и удерживать цену на уровне средней доступности.

С легкой руки Кардена высокое искусство «от кутюр» вышло из великосветского салона на улицы. Мастера французского «индпошива», говоря привычными

для нас терминами, стали мыслить категориями лекал и выкроек. Презренная «конфекция» (массовое изготовление готового платья) должна была отныне обрести фирменные знаки мастеров «от кутюр», а с ними и элегантность, прежде ей неведомую.

Боги парижской моды, изгнавшие Кардена со своего «Олимпа», быстро приняли его обратно, потому что поняли очевидное: Карден открыл «золотое дно».

Его скромное ателье выросло в целую «империю Кардена» с филиалами в 94 странах (в том числе в СССР и Китае), в которых работают 160 тысяч человек. 170 видов продукции носят фирменный знак Кардена. И это не только готовые платья. Меха, будильники, вино, икра, зажигалки, духи, запонки, светильники и даже лыжи. Знаменитый парижский ресторан «Максим's» — это теперь тоже Карден.

Сделав шаг к демократизации «от кутюр», Карден расширил это понятие и одновременно сузил круг тех, кто может пользоваться «модной продукцией». Карден трансформировал моду в образ жизни, в систему. В ее искусство положены искусство «художественной моды» и элегантность, строгость вкуса и хорошие манеры. Но для того, чтобы к ней приобщиться, одного хорошего вкуса мало. Нужны деньги, причем большие.

И снова я задаю себе вопрос. Что же такое мода сегодня? Поиск ответа привели меня в мастерскую «Кристиан де Лаисло». Это восходящая «звезда» на небосклоне парижской «от кутюр». «Мода, — говорит он и тут же поправляется, — точнее, «от кутюр» — это не только сам костюм. Это и та среда, в которой его носят, все то, без чего наряд, созданный мастером, невозможен. Тут и духи, и косметика, и обувь, бижутерия и драгоценности, если они требуются, шляпка, платочек и, наконец, интерьер. В синтезе — это и есть «от кутюр». Дюр не случайно стал вместе с модной одеждой делать и свои духи. Одно было невозможно без другого. Вслед за ним свою парфюмерию стали производить «Нина Риччи», «Шанель», «Ив Сен-Лоран», а теперь и «Лаисло».

Это новое измерение «от кутюр» неизбежно должно было привлечь внимание крупного капитала. Так и случилось. «Дом Дюра», например, в 1985 году приобрел Бернар Арно — крупный промышленник, совладелец «Финансьер Агаш», финансовой империи с оборотом в

12 миллиардов франков в год, в рамках которой рядом с мебельными магазинами, текстилем, радиоаппаратурой и сангигиеной нашлось место и для наследия автора «ню-лук». На зов больших денег к Арио ушел из дома «Унгаро», пожалуй, самый талантливый французский модельер Кристиан Лакруа. Устоять было трудно. Арио предложил ему вложить пять миллионов в его новую коллекцию, а затем предоставить 50 миллионов франков для создания «Дома моделей Лакруа». Это плюс к «Диору». Деньги огромные, как и масштабы финансовых операций.

В 1989 году впервые Ив Сен-Лоран выпустил свои акции. С ними уже играет биржа. Конкуренцию старым мастерам выдержать трудно. Они еще держатся. Одна из старейших — мадам Грэ, прославившаяся тем, что во времена немецкой оккупации создала платье цветов французского флага, до конца отказывалась от той «сделки с дьяволом», то есть швейной промышленностью, на которую пошел Карден, а за ним и другие. Старые мастера все еще исповедуют высшие принципы «от кутюр» и по-прежнему поражают каждую весну и осень парижан и гостей Франции своими новыми «спектаклями мод».

Они очень разные, эти спектакли. Разные, как сами модельеры, как их подход к искусству моды. Платье в них не просто наряд, а «образ».

«Жизнь — это свет, — говорит Кристиан де Лаисло. — И я пытаюсь внести свет в моду. Для этого мы ищем материалы, светящиеся ткани, вводим подсветку в шляпы, очки, туфли, в сами платья... Во всем должен быть ритм и гармония, цвет и форма. Но симметрия не обязательна. Человеческое тело не так уж и симметрично, если к нему приглядеться. Я ищу в «от кутюр» образ творчества, человека третьего тысячелетия».

И вот одна за другой в костюмах «Лаисло» спускаются по демонстрационной лестнице, как по трапу, манекенищицы. Платья светятся всеми цветами радуги. Классическую форму неожиданно сменяют костюмы, будто пошитые специально для фантастического фильма — полы платья разной длины, один рукав, высокие воротники, по краям которых бегающий огонь вшитых лампочек. Молодежь это привлекает. В огоньках «Лаисло» им видится мода XXI века, они спешат в будущее уже сегодня.

Экстравагантных наследниц больших состояний привлекает другое: вечерние платья Эммануэля Унгара со смелыми декольте и открытыми коленками, «куриные хвосты» юбок Пату и полукринолины «Шанели».

Знатоки моды в те дни, когда демонстрируются коллекции весны — лета, а затем осени — зимы, не знают покоя, мечутся от одного Дома моделей к другому. Музыка, сопровождающая эти «спектакли», то и дело прерывается откровенным «А-а-ах!». Сезон на сезон непохож. ...Феерию красок сменяет черно-белая академическая строгость. Вечный вопрос: «А можно ли это носить?» А человек неискушенный спросит, увидев, скажем, современный криолин: «А как же в таком наряде ехать в метро?»

В «от кутюр» это понятие не первостепенный критерий. Модельер обозначает тенденцию. В свое время диктатором, «Наполеоном» моды был Кристиан Диор. Именно по его дирижерской палочке, а точнее — портновскому сантиметру, которым он отмеривал длину юбок и ширину плеч, ориентировались многочисленные лавки мод, гадая, что будут носить в наступающем году — мини, макси или миди. В коллекции мод, как правило, есть все три длины и введена даже новая — микро-юбка: оканчивающаяся гораздо выше колен. «Пачка» мирно соседствует с традиционным вечерним платьем в пол — у одного и того же модельера. Трудно определить, кто же из них лучший, кому отдаст чрезвычайно придирчивое парижское жюри венец «Олимпа» парижской моды — приз «Золотой наперсток», учрежденный газетой «Франс суар». В 1986 году его получила за свою коллекцию «Нина Риччи», в 1988-м — «Унгаро». Спорить с этим трудно, да, наверное, и не нужно.

И все же дело, очевидно, не в этом и не в том, приживется ли в гардеробах модниц криолин или «пачка». В «от кутюр» есть та магия, которая и делает ее искусством. Именно такое ощущение уносишь с собой, посмотрев лучшие в Париже «спектакли мод», уносишь с благодарностью к создавшим их мастерам, без творчества которых уже немыслима ныне культура Франции.

...В набитом битком зале отеля «Интерконтиненталь» свою коллекцию показывал «Ив Сен-Лоран». 97 моделей. По сложившемуся уже правилу многие из них можно сразу же запускать в производство. Но лишь около дюжины — это и есть то высокое искус-



ство, которое присуще подлинным художникам. Когда вышла на «язык» стройная, темнокожая манекенщица в вечернем платье из черного муслина, с открытыми плечами, зал затаил дыхание, а потом взорвался аплодисментами. Неностово хлопали даже фотографы и кинооператоры, забыв, что они находятся там совсем не для этого.

Верно писала Элен де Туркайм: «Почему женщины, когда они смотрят демонстрацию вечерних платьев «Ив Сен-Лоран», вдруг чувствуют, как сжимается их сердце, возникает волнение, по телу пробегает легкая дрожь, как если бы речь шла о чем-то интимном или неожиданно ярком? Из-за присутствия в этих платьях мечты, поэзии, фантазии и даже безумия? Из-за воспоминаний, навеянных оперой, живописью, романами, фантазиями, легендами?»

Да потому, что они ощущают, что здесь не играют в форму ради формы, в пустой эстетизм, в дешевую ностальгию; что художник не занимается просто художеством, краснотой, дивертизмом; что в глубине смелого декольте, вдоль прекрасно подчеркнутых линий, в кажущейся строгости смокинга, за прозрачной кокетливостью муслина, за старинной грацией бабетты из тафты или за романтизмом кружевной шали кроется неожиданный взгляд на женщину, почтение к ней, интуитивное осознание ее желания освободиться от чувства неудовлетворенности, быть немного вызывающей, более скрытой, более интересной, более свободной, более романтической, подчас более таинственной и всегда более прекрасной — иными словами, быть героиней...»

Не в этом ли суть искусства — не просто будить в человеке чувство прекрасного, но и заставлять его становиться красивым?

А все же, что носят сейчас в Париже? Носят все. И то, что предлагают последние коллекции мод, и то, что осталось в шкафах еще со времен «ню-лук» и Кристиана Диора. Причина тому не только отсутствие у большинства французов финансовых возможностей для того, чтобы идти в ногу с модой (хотя это обстоятельство не немаловажно), но и, как это ин странно, консерватизм французов и француженок в том, что касается новых веяний в моде. Они предпочитают носить то, что удобно, что наибольшим образом соответствует их взглядам и стилю жизни. И вообще здесь считают,

что самая лучшая мода — это «антимода». «От кутюр», кстати, это тоже учитывает. В моде, как и в жизни, то, что вчера звучало вызовом, сегодня — почти канон.

## **«ТЫ С НАМИ, ЭЙФЕЛЬ!»**

К ней тянет, словно магнитом. Когда едешь по Парижу вечером и видишь ее железные кружева, подсвеченные изнутри тысячами огней, непременно свернешь на набережную Сены, чтобы посмотреть на нее вблизи. Днем, если только выдастся свободная минута и окажешься поблизости, непременно выйдешь из машины, чтобы постоять между гигантскими полукруглыми опорами и поглядеть снизу на уносящиеся к 300-метровой вершине лифты.

Башия гигантская, но она не давит на человека. Она его, хоть и подавляет своими размерами, одновременно с этим и возносит, учит творчеству, парению духа. Один из современников ее создателя — французского инженера Гюстава Эйфеля (1832—1923) говорил: «Перед этим колоссом человек ощущает себя одновременно и гигантом, и лилипутом, великим и ничтожным...»

У ее подножия чувствуешь почти физически соприкосновение времен. Может быть, именно здесь, на Марсовом поле, прошлое переходит в настоящее, а настоящее в будущее. Чтобы в этом не осталось никаких сомнений, надо прийти сюда в грозу и увидеть обрушивающуюся на башню молнию, и услышать, как беснуется ветер, пойманный в эту загадочную перевернутую Воронку Времени.

Ощущение от встречи с ней непередаваемо. Это праздник, карнавал, где она — главный заводила, и невозможно не протянуть ей руку и не встать в окружающее ее днем и ночью людское кольцо. Ведь Париж не спит до утра. Особенно в праздники, с их непреклонными шутихами, петардами и фейерверками. Тогда кажется, что Железная Кокетка танцует бешеный кавальер, высоко вскидывая в лилово-синее ночное небо Парижа свои юбки и платочки, сотканные из буйно-цветных огней салюта.

Далеко за полночь у подножия башни, перед въез-

дом на мост Иены, крутится под мелодию электронной шарманки старинная карусель с лубочными лошадками. И весной, и летом в год ее столетнего юбилея между вторым и третьим уровнями башни днем и ночью горела цифра 100. Не верилось, что сто лет назад можно было создать такое уникальное сооружение — и фундаментальное, и одновременно легкое, как башня из детского конструктора. Сравнение это не случайно — ведь башня собрана из 18 тысяч металлических деталей, соединенных 2,5 миллионами заклепок. При всей своей внешней ажурности она может принимать одновременно ровно 10 тысяч 416 человек.

Башня поражает воображение и сегодня, как уникальнейшее техническое сооружение. Достаточно назвать хотя бы такую цифру — при весе башни в 10 тысяч тонн она оказывает на землю не большее давление, чем человек, сидящий на стуле, — всего 4 кг на квадратный сантиметр. Башня — еще и пример того, как и сто лет назад умели во Франции работать. До сих пор ходят, как вчера пущены, гидравлические лифты, созданные в полном соответствии с фантастическими машинами Жюль Верна. Как вкопанные стоят заглубленные на 14 метров — вровень с основанием русла Сены — опоры, на которых покоятся знаменитые несущие стропила Эйфелевой башни. Сколько ее ни атаковала ржавчина (башню красили уже 14 раз, то есть каждые 7 лет, специальной краской — смесью хромовой, желтой и окиси железа), сколько ни пытались разобрать ее по частям — стоит красавица. Конечно, ее и реставрировали, и подновляли, и заменяли те части, которые ржавчине все же удалось съесть, но в основе ее долголетия лежит труд именно тех мастеров, которые сто лет назад ее строили. Сегодня даже не вернется, что по 5 тысячам 300 чертежам всего 50 инженеров-конструкторов всю эту многотонную груду металла отлили в кратчайшие сроки всего сто рабочих, и только 132 монтажника понадобились Эйфелю, чтобы собрать ее с помощью 16 гидравлических домкратов. Только один рабочий сорвался и разбился. И то по собственной глупости — выказывался перед своей невестой на высоте 100 метров...

Как все гениальное, идея гигантской металлической башни носилась в воздухе в XIX веке, на который пришелся небывалый ранее расцвет «металлической архи-

тектуры». Считают, что первым идею такой башни предложил современник А. С. Пушкина английский инженер Тревеск еще в 1833 году. Он рассчитал проект сооружения из железных блоков высотой в тысячу футов, то есть 304,8 метра. Известно, что построить такую же башню предлагали и для всемирной выставки 1876 года в Филадельфии. И опять же, как все гениальное, опережающее свое время, идея тысячефутовой «Вавилонской башни из железа» не находила никакой поддержки у современников. От этих проектов все, от кого зависело принятие окончательного решения, отмахивались, так как считали подобные затеи химерами из области научной фантастики. В Англии и Америке по-своему повторялась история с Наполеоном, который в начале XIX века отказался принять идею Фултона о паровом двигателе для кораблей и потому проиграл морскую войну Англии, которая за пароходы сразу же ухватила. На этот раз взяла реванш Франция. Но не сразу...

Начнем с того, что поначалу во все это не поверил и сам Эйфель, который к тому времени уже был известным и преуспевающим инженером, владельцем собственных ателее по строительству мостов и других металлических сооружений. К 1887 году, к моменту начала строительства Эйфелевой башни, ему было 55 лет. Он построил десятки мостов и виадуков, а в историю уже вошел, соорудив внутренний каркас для подаренной Францией Соединенным Штатам в 1886 году статуй Свободы работы скульптора Огюста Бартольди, установленной при входе в Нью-Йоркскую гавань. (Уменьшенную копию этой статуи американцы, в свою очередь, подарили Парижу в 100-ю годовщину Великой французской революции, и она была установлена на одном из островов Сены в том же 1889 году, что и Эйфелева башня, и по сей день стоит буквально в ее тени.) И поэтому когда его сотрудники М. Кэшлэн и Э. Нугье рассказали Эйфелю о своей идее построить металлическую башню для Всемирной выставки 1889 года в Париже, он сказал, что в реальность этого не верит, хотя работать над проектом не запретил. Постепенно, однако, идея его увлекла. Он привлек к работе над башней архитектора Стефана Совестра и скульптора Бартольди. В 1884 году он поставил свое имя под проектом (Кэшлэн и Нугье отказались от своих прав

в его пользу за соответствующую компенсацию) и представил его на конкурс. Из 700 проектов к парижской Всемирной выставке было в 1886 году отобрано 18. Гюстав Эйфель получил первую премию. Вместе с ней получил он и всю славу. Башню стали звать только Эйфелевой, а всех остальных ее авторов нигде и никак не упоминали. Совестра, например, так основательно забыли, что теперь никому не известна даже дата его смерти. Но всемирная слава, конечно, пришла к Эйфелю не сразу. За нее, как и за право построить башню, пришлось побороться. В том числе — потом — и самой башне...

Когда в Париже стало известно о решении жюри конкурса, поднялась такая волна протеста, которая едва не утопила еще не родившееся железное дитя Эйфеля. «Мы протестуем против этой колонны, обитой листовым железом на болтах, против этой нелепой и вызывающей головокружение фабричной трубы, устанавливаемой во славу вандализма промышленных предприятий. Сооружение в самом центре Парижа этой бесполезной и чудовищной башни Эйфеля есть не что иное, как профанация». Это отрывок из письма, подписанного, помимо других, композитором Шарлем Гуно, создателем здания Парижской оперы архитектором Шарлем Гарнье, писателями Александром Дюма и Ги де Мопассаном.

И тем не менее строительство башни началось. Оно заняло всего два года, два месяца и пять дней. Уже 31 марта 1889 года Эйфель смог принять друзей на третьем уровне, на высоте 300 метров, в своем маленьком кабинете, куда первым посетителям приходилось в тот день добираться, как на вершину горы альпинистам — пешком, хоть и по лестнице. Лифты заработали только в середине мая, а сама башня была открыта официально президентом Сади Карно лишь 10 июля 1889 года.

В 1989 году ее день рождения отмечали дважды. В конце июня перед ней на площади Трокадеро был установлен — о, чудо парижской кулинарии! — гигантский торт высотой в шесть метров, проткнутый шоколадной моделью башни. Его смогли попробовать по окончании торжеств все желающие, и потому на уборку крошек тратиться не пришлось — все было съедено до остатка. После столетнего юбилея праздновали 200-лет-

ний юбилей французской революции, и 15 июля у башни завершились эти празднества потрясающим фейерверком цветов французского флага...

...Башня была построена и торжественно представлена публике в зареве освещавших ее 22 тысяч газовых ламп (уже в 1900 году они целиком были заменены на электрические). На нее поднялись вслед за президентом Франции шах Персии и русский царевич, император Австрии и бей Джибути. Железную вершину штурмовали за эти годы миллионы туристов. Только в 1988 году — 4,7 миллиона человек.

С момента закладки ее первого камня башня стремительно входила в историю. В 1889 году с ее вершины Эжен Дюкрет установил радиотелеграфию связь с расположенным в четырех километрах Пантеоном, а уже в декабре 1921 года с башни начались регулярные радиопередачи. В 1925 году отсюда проведена первая пробная телепередача, и до сих пор это наилучшая телебашня Франции. Кстати, за счет телепередающих антенн башня подросла — с 312,7 до 320,75 метров.

Ее любили и ее ненавидели. Уже после того, как закончилась Всемирная выставка в Париже, вокруг башни опять закипели страсти, пошли споры: хороша она или уродлива? Появились различные проекты ее переделки. Архитектор Готье предложил превратить ее в крытую пагоду. Его коллега Масье Самсон представил проект покрытия башни землей и травяным дерном. Вокруг нее он предложил построить дорогу-серпаитию почти до самой вершины, а оттуда — пустить вниз искусственный водопад. Дело дошло до того, что в 1913 году ее едва не снесли. Ведь парижские аристократы обзывали творения Эйфеля не иначе как «Нотр-Дам блошиного рынка» и требовали снести ее с лица парижской земли незамедлительно. Но простые парижане не согласились с этим и постепенно признали, что башня, безусловно, хороша, а потом уже стали говорить, что хороша необыкновенно.

В наше время, правда, парижане, хоть свою башню и любят, ходят туда не часто, разве что с гостями. Можно сказать, что средний парижанин не ходит туда никогда. Причины на то несколько. Во-первых, говорят, что в расположенном на первом уровне ресторане подают не самую лучшую пищу в Париже, во-вторых, в неизменной очереди на лифт можно запросто стать

жертвой карманника, которых здесь великое множество. Есть, правда, и еще одно немаловажное соображение — только за последние 10 лет цены на входные билеты поднялись здесь почти что в пять раз. За подъем на третий уровень сейчас надо заплатить 45 франков — это на 15 франков дороже, чем стоит билет в кино. И все же нет такого парижанина, который бы не гордился своей башней, не любил бы ее.

Предсказание поэта Верлена о том, что «эта скелетоподобная каланча долго не простоят», не сбылось. Башню, которую Поль Гюген назвал «кружевной готикой из железа», изобразили на своих полотнах художники П. Серо, М. Руссо, Р. Делоно, П. Бонар, М. Утрилло, М. Шагал. О ней писали многочисленные восторженные статьи журналисты. Ей посвятили любовные строки Луи Арагон, Гийом Аполлинер, Ролан Бартес и многие другие поэты, включая советских. Музыку в ее честь писали Дебюсси и Тиффани. Менее известные композиторы посвятили ей симфонию, сонату, несколько баллад, не говоря уже о разных вальсах, польках, блюзах и рок-н-роллах.

А что делал Гюстав Эйфель, пожиная плоды своей славы? Он действительно стал всемирно известным и в связи с этим заключил ряд удачных контрактов, за счет чего еще больше разбогател. Под старость, однако, продолжая свою извечную «борьбу с ветром», в которой он всегда выходил победителем (даже при силе ветра в 180 км/ч — самом сильном из когда-либо зарегистрированных в Париже — вершина его башни не отклонилась от оси более чем на 19 см), принялся за строительство самолетов, а точнее — истребителей-перехватчиков, о чем до сих пор напоминает знаменитый на весь мир Парижский аэродинамический центр имени Эйфеля. Занялся он этим практически сразу же после того, как истек 20-летний контракт, по которому он имел право эксплуатировать башню. Она окупилась ровно через год, хотя ее строительство и обошлось в 8 миллионов франков. Парижские власти сдали башню в аренду. И по сей день, хотя с 1964 года башня объявлена национальным историческим памятником, она находится практически в частных руках, ибо в компании по ее эксплуатации контрольного пакета акций ни у государства, ни у парижской мэрии нет...

Гюстав Эйфель умер непобежденным в 1923 году.

Непобежденным потому, что еще семь лет после его смерти, до того, как Крайслер построил свой знаменитый небоскреб в Нью-Йорке, его башня оставалась самым высоким сооружением в мире. Он навсегда вошел в историю, отдав свое имя башне. И сейчас он ее не покидает.

У подножия стоит его бронзовый бюст. А на третьем уровне — в его личном кабинете — сидит за столом Эйфель восковой.

Как все великие творения, она привлекала к себе не только поэтов и художников. Здесь не раз проходили мощные демонстрации и сидячие забастовки, собирались французские и зарубежные сторонники мира на свои антивоенные вахты. Сам я водил здесь «мирный хоровод» в 1987 году, когда по всему Парижу протянулась живая «цепь мира». И именно под башней встали тогда в одно «звено» вместе с другими делегациями и лидерами движения «Призыв ста» Рубен Симонов, Жанна Болотова. Была в этом какая-то магия. В тот день, когда мы стояли, взявшись за руки, в «цепи мира», новозеландский поэт читал стихи:

Пусть будет эта цепь бесконечной,  
Как генетический ряд,  
Как железное кружево Эйфеля...

В канун 100-летнего юбилея, когда забастовали служащие башни, они повесили на статую ее создателя табличку: «Ты с нами, Эйфель!» Башня — место встречи влюбленных. Но это для многих и место прощания с жизнью. С 1889-го по 1988 год с различных ее уровней бросились вниз 369 человек, из которых выжили только двое. С собора Нотр-Дам, кстати, с 1190 года по 1983 — укажем для сравнения — бросились вниз и погибли всего 23 человека. Это почти за 800 лет!

Самоубийцы другого рода неоднократно избирали Эйфелеву башню для того, чтобы прославиться рядом с ней. В 1926 году летчик Леон Колио попытался пролететь между ее опор и разбился, но не погиб, а лишь покалечился и ослеп. Потом предпринималось немало аналогичных попыток, в основном более удачных, пока такие полеты не запретили законом. Но даже страх тюремного наказания не останавливает отчаянных сорвиголов. На спор с башни спускались на парашютах и на канате в свободном прыжке, даже... на велосипеде.



Полиция то и дело снимает с ее опор любителей острых ощущений. Возведена решетка на всех трех уровнях, чтобы остановить самоубийц. Но тем не менее лезут...

Идешь по переходам башни и видишь следы человеческого тщеславия: «Здесь был...» — и число. На всех языках. В том числе, увы, и на русском, хотя наш турист здесь и редок. Неистребимо в людях, ничего не имеющих за душой, стремление хоть как-то да пристроить свое безродное имечко рядом с чем-то или на чем-то великом. Служители башни не успевают эти автографы отмывать...

Башня дает работу сотням парижан. Ее рисуют с натуры и тут же продают свои нехитрые творения туристам многочисленные художники. Рядом с ней выступают бродячие актеры и музыканты. Десятки фотографов зазывают гостей к объективам своих «полароидов», из чрева которых тут же появляются мокренькие и весьма далекие от совершенства снимки. Но кто устоит перед соблазном запечатлеть свою физиономию на фоне Великой башни?!

Кто только не пытался приобщиться к ее величию, поставить себя с нею вровень, а то и выше? В 1941 году Гитлер сфотографировался у Эйфелевой башни со всем своим генеральным штабом. А вслед за ним тут позировало едва ли не все оккупантское воинство: до 1944 года огневые точки гитлеровцев стояли на всех уровнях башни. Ни от Гитлера, ни от его «тысячелетнего рейха» и следа не осталось. А башня устояла и в огне войны, осталась дочерью Франции. Бойцы Сопротивления, освобождая Париж, первым делом сбросили с ее вершины флаг с паучьей свастикой. Башня снова передавала в эфир позывные «Марсельезы»...

Поднимаюсь на «лифте Жюль Верна» на второй этаж, где идет бойкая торговля сувенирами башни. Их тысячи, самых разных — от миниатюрной башенки на цепочке до настольной модели высотой в полметра. Башня изображена на нашивках, платках, пепельницах, зажигалках, тарелках... Цены немалые. Но для туриста средней руки вполне доступные, и потому сувениры здесь не залеживаются. Ведь особо важно купить какую-нибудь безделушку с эмблемой или изображением башни именно здесь, на самой ее вершине, о чем при желании в лавочке можно получить соответствующий сертификат. Были бы деньги. И если раньше, когда мы

писали о такого рода деловых предприятиях, в наших статьях непременно присутствовал элемент неизменной привычки по делу и без дела «на буржуев смотреть свысока», то теперь мы этому учимся. Учимся зарабатывать. Рекламирывать свои достопримечательности, чтобы привлечь как можно больше туристов. Это же целая индустрия и к тому же весьма доходная. 47 миллионов франков составил в 1985 году оборот компании, управляющей башней на паях с мэрией Парижа. К ее 100-летию эта сумма перевалила за 50 миллионов. Могли подумать о таких доходах Гюстав Эйфель?

Поднимаюсь на маленьком, более современном лифте на третий уровень. Дух захватывает от быстроты подъема и высоты. С птичьего полета отсюда обзор великолепный — в радиусе до 60 километров в хорошую погоду, будто на ладони весь Париж. Он, как всегда, прекрасен. И теперь уже никто не может представить его себе без Эйфелевой башни, ставшей на века его символом.

## **НОВОСТРОЙКА «БОЛЬШОЙ ЛУВР»**

«Фи!» — скажет придирчивый читатель, увидав этот заголовок. — «Лувр» и «новостройка»! Французы в массе своей сказали то же самое, когда в 1983 году в Лувр двинулись экскаваторы, бульдозеры и бетономешалки, а над прежде неприкосновенным Двором Наполеона поднялись подъемные краны. Парижане пришли в ужас, когда увидели вывернутую столетнюю брусчатку и выдранные с корнем деревья того же возраста. По мере того как углублялся котлован под будущую стеклянную пирамиду, которая должна была подняться к 1988 году между Павильоном Ришелье и Павильоном Денона, нарастал общенациональный скандал вокруг объявленного президентом Ф. Миттераном проекта «Большой Лувр».

Директор Лувра Андре Шабо подал в 1983 году в отставку, заявив, что планы расширения Лувра невыполнимы, а строительство пирамиды чревато «архитектурным риском». В департаменте исторических памятников официальные лица открыто ворчали: «Пирамида в центре Лувра — это нелепость. Она лишит гармонии

перспективу — вид на Триумфальную арку через парк Тюильри и Елисейские поля от центрального павильона дворца!»

Бывший госсекретарь по вопросам культуры М. Ги начал персональный поход против автора проекта луврской пирамиды американского архитектора И. М. Пей. Он создал «Ассоциацию за обновление Лувра» и заявил, что вход в Лувр через пирамиду Пей — это нечто «напоминающее атмосферу концентрационного лагеря». Скандал приобретал международный оттенок. Возмутились архитекторы, как французские, так и зарубежные: почему именно Пей получил контракт на строительство своей пирамиды, которое обошлось в 330 миллионов долларов, или почти в 2 миллиарда франков, без всякого международного конкурса?

...Во временном административном здании, расположенном рядом с миниатюрной триумфальной аркой, ведущей в парк Тюильри, за столом, заваленным бумагами, сидит элегантно одетый, подтянутый мистер И. М. Пей — автор проекта. Он смотрит на меня изучающе сквозь толстые стекла своих очков и с загадочной восточной улыбкой говорит: «Конкурса действительно не было... Когда меня пригласил во Францию президент Миттеран, он хорошо знал не меня, а мои работы. Мы очень мило поговорили — мы, кстати, с ним почти ровесники, — и я сказал ему: «Господин президент, мне пошел 71-й год. И еще одного архитектурного конкурса я просто не выдержу...»

И. М. Пей родился в Китае, образование, в том числе подготовку как архитектор, получил в США. Известность пришла к нему довольно поздно — в 1962 году. Ф. Миттеран, судя по всему, принял решение предложить ему работу над «Большим Лувром» после того, как увидел в Вашингтоне построенное Пеем «Восточное здание» Национальной галереи искусств. Пей известен и как архитектор «Ковенши сеитер» в Нью-Йорке, концертного зала в Далласе и многих других сооружений.

— Вы сразу согласились с предложением президента, мистер Пей?

— Нет, — отвечает он, слегка поразмыслив. — Я попросил, чтобы мне дали возможность поближе ознакомиться с Лувром. Мне дали три месяца. Представляете,

перспективу — вид на Триумфальную арку через парк Тюильри и Елисейские поля от центрального павильона дворца!»

Бывший госсекретарь по вопросам культуры М. Ги начал персональный поход против автора проекта луврской пирамиды американского архитектора И. М. Пей. Он создал «Ассоциацию за обновление Лувра» и заявил, что вход в Лувр через пирамиду Пей — это нечто «напоминающее атмосферу концентрационного лагеря». Скандал приобретал международный оттенок. Возмутились архитекторы, как французские, так и зарубежные: почему именно Пей получил контракт на строительство своей пирамиды, которое обошлось в 330 миллионов долларов, или почти в 2 миллиарда франков, без всякого международного конкурса?

...Во временном административном здании, расположившемся рядом с миниатюрной триумфальной аркой, ведущей в парк Тюильри, за столом, заваленным бумагами, сидит элегантно одетый, подтянутый мистер И. М. Пей — автор проекта. Он смотрит на меня изучающе сквозь толстые стекла своих очков и с загадочной восточной улыбкой говорит: «Конкурса действительно не было... Когда меня пригласил во Францию президент Миттеран, он хорошо знал не меня, а мои работы. Мы очень много поговорили — мы, кстати, с ним почти ровесники, — и я сказал ему: «Господин президент, мне пошел 71-й год. И еще одного архитектурного конкурса я просто не выдержу...»

И. М. Пей родился в Китае, образование, в том числе подготовку как архитектор, получил в США. Известность пришла к нему довольно поздно — в 1962 году. Ф. Миттеран, судя по всему, принял решение предложить ему работу над «Большим Лувром» после того, как увидел в Вашингтоне построенное Пеем «Восточное здание» Национальной галереи искусств. Пей известен и как архитектор «Конвеншн сентер» в Нью-Йорке, концертного зала в Далласе и многих других сооружений.

— Вы сразу согласились с предложением президента, мистер Пей?

— Нет, — отвечает он, слегка поразмыслив. — Я попросил, чтобы мне дали возможность поближе ознакомиться с Лувром. Мне дали три месяца. Представляете,

картинная галерея, Лувр рос вширь, у меня он растет вглубь.

— И все же, чем это вызвано?

— С 1793 года, с того момента, как декретом Конвента Лувр был превращен в национальный художественный музей, да и даже раньше, когда его помещения использовались для нужд Французской Академии художеств, он предназначался для размещения и показа художественных коллекций. Места для работы художников, реставраторов, историков в нем практически не было. Я уже не говорю о подсобных помещениях, ресторанах, кафе, туалетах наконец.

— Ну нельзя же превращать художественный музей в большой супермаркет!

— Нельзя. И особенно Лувр. Франция — не Америка. У французов высокое чувство истории, традиции. Все французские студенты, например, обожают историю, а вот об американских этого не скажешь. И тем не менее вот вам цифры. Лувр сейчас посещают 2,7 миллиона человек в год. 75 процентов из них — иностранцы. А Центр Помпиду (современный музейно-выставочный и научно-библиотечный комплекс) — 8 миллионов человек, большинство из них французы. Музей «Метрополитен» в Нью-Йорке посещают в год 6 миллионов человек, а Национальную галерею в Вашингтоне, которую мы строили вместе с сыном, 8 миллионов человек. 6—8 миллионов для такого музея, как Лувр, — нормальная цифра. Но, увы, ее нет. А посмотрим на продолжительность. В «Метрополитен» посетитель проводит в среднем 3,5 часа. В Лувре — 1 час 15 минут. Почему? Ведь коллекция богатейшая. Есть что посмотреть...

Да, коллекция действительно богатейшая. В Лувре традиционно 6 отделов: античного искусства, египетских древностей, восточных древностей, скульптуры, живописи и рисунка, прикладного искусства. Шедевры мирового искусства — Ника Самофракийская, которая встречает посетителей прямо при входе в Лувр на вершине парадной лестницы, Венера Милосская, «Маркиза де ла Солана» Ф. Гойи, «Мона Лиза» и «Мадонна в скалах» Леонардо да Винчи, уникальные полотна Рафаэля и Тициана, целый зал Рубенса, работы Микеланджело и Монтегни, Веласкеса и Эль Греко, Дюрера и Ван Дейка, Боттичелли и Фра Анжелино. Богатейшая коллекция французской живописи XVII—XIX веков — де Ла

Тура, Пуссена, Риго, Давида, Делакруа, Милле, Курбе...

— А все ли видят посетители? — продолжает Пей. — Далеко не все, конечно. Лувр не приспособлен к длительному посещению. Родители, когда приходят сюда с ребенком, стремятся поскорее пробежать по наиболее известным залам и вернуться на автостоянку, которая к тому же далеко от Лувра. Туриста тянет поскорее в спасительный отель. Одиноким посетитель, без экскурсовода, просто в Лувре теряется. Экспозиция устроена бес толково и напоминает лабиринт, из которого невозможно найти выход...

— Так как же вы задумали решить эту проблему...

— Вот вам каска строителя и самый лучший гид по Большому Лувру — мой сын и партнер. Ди-ди, — зовет он. (По-китайски это значит что-то вроде «сын»).).

Пей-младший представляется: Чен Чан Пей и деловито осведомляется: «Сколько у нас времени?»

— Немного, — отвечает отец. — Я тороплюсь, а нам надо еще поговорить.

Пирамида уже поднялась над Дворцом Наполеона, и на специально устроенной площадке для посетителей можно ее увидеть целиком. Странительство вступило в завершающий период. Идут, как говорят, отделочные работы. По боковой лестнице — парадная, винтовая из алюминия, на котором уложены ступенями плиты из бургундского известняка, — еще не открыта. Рабочие настраивают эскалаторы, спускающиеся в огромный «Зал встречи». Посетители будут входить в Лувр отсюда. Рядом с большой пирамидой — еще три маленьких. Через размещенную слева от ее центра отчетливо виден Павильон Ришелье — парадный вход в Восточный корпус, где пока что по-прежнему размещается министерство финансов. Через ту, что установлена справа, — вход в Западный корпус. Если смотреть прямо перед собой, видишь вход в знаменитый «Кур каре», то есть «Квадратный двор», самую древнюю часть Лувра, где издавна размещался отдел прикладного искусства. В «Большом Лувре» старинный «Кур каре» откроется посетителю по-новому — он увидит найденные здесь при раскопках остатки крепости Филиппа Августа и пер-

вые дворцовые постройки, возведенные двести лет спустя Карлом V.

— Вы замечаете разницу между обычным стеклом и тем, которое покрывает пирамиду? — спрашивает Пей-младший.

— Да, покрытие практически бесцветно.

— Верно. Обычное стекло, если приглядеться, имеет зеленоватый оттенок. Мы делали стеклопокрытие по старинному способу — в печах, а уже потом полировали. Это дало ту идеальную прозрачность, которая позволяет видеть Лувр таким, как он есть...

Под землей разместился целый город. Тут и рестораны, и кафе, и коммерческий центр, конференц-зал на 420 мест, столовая для персонала, многочисленные рабочие помещения, наконец — огромный подземный гараж, куда прямо с улицы будут заезжать автобусы с туристами, из-за которых сейчас не проедешь по набережной Сены у Лувра, и личные авто. Над этим паркингом уйдет в землю четвертая, перевернутая пирамида. 60 тысяч квадратных метров дополнительной площади получит Лувр под землей. Работа сделана огромная.

Я стою в самом центре «Зала встреч», проверяя на себе, прав ли был бывший госсекретарь по вопросам культуры господин Гн насчет той самой зловещей «атмосферы»... Нет, конечно. Пирамида создает ощущение удивительной легкости. И не только потому, что относительно легка сама — всего 180 тонн. В подземных сооружениях всегда ощущаешь, как давит толща земли на каждый сантиметр и помещения, и тела... Не случайно поэтому у многих возникает клаустрофобия — боязнь замкнутого пространства. Здесь видишь небо, видишь все три корпуса дворца, не теряешь ориентации, и поэтому давящего ощущения нет.

Когда я рассказываю об этом Пею-старшему, он говорит: «Для архитектора — это самая лучшая оценка. Приятно, когда говорят, что понимают замысел, его оправдывают. Но вот когда говорят, что в построенном тобой здании «ничего не давит», — это приятно вдвойне...»

Мы снова сидим в административной времянке, в его временном кабинете, куда он приезжает наездами из США раз-два в месяц.

— Главная задача, которая перед нами стояла, — это сделать Лувр настоящим музеем.

— То есть?

— Да, да, не удивляйтесь. До недавнего времени Лувр был сооружением многофункциональным. Это и дворец, и музей, который занимает всего половину его площади, и административное здание, включая министерство финансов. Поэтому с самого начала работы над проектом «Большой Лувр», а наша пирамида — это лишь часть его, было решено, что Лувр будет музеем и только, а все другие учреждения и службы, включая министерство финансов, переселятся отсюда в другое место.

— Короче говоря, вернутся к решению Конвента, объявившего Лувр «музеем и только»?

— Да, но создать надо музей современный. А в нем положено иметь 50 процентов площади для экспозиции, другую же половину — отдать под подсобные и служебные помещения. Вопрос вставал, где их взять? При условии, если в современном Лувре служебные помещения составляют всего 7—8 процентов его площади. Переезд министерства финансов из Восточного корпуса, который будет передан музею, в новое здание в Берси (район Парижа. — В. Б.) дает эти искомые 50 процентов. Но разместить в самом дворце служебные помещения, которые музею необходимы, невозможно. Здание старое. Планировка его годится для выставочных залов, но, увы, не для размещения современной техники и разного рода реставрационного оборудования. Не меняя плана дворца, построить 60 тысяч квадратных метров дополнительных сооружений было нереально. Тогда и пришло решение — сохранить Лувр в неприкосновенности, добавить музею 50 процентов освобождаемой министерством площади, а служебные помещения перенести под землю. Единственным местом для этого был Двор Наполеона, где до начала строительства размещалась автостоянка. Именно в этом дворе, как говорим мы, архитекторы, размещен центр тяжести Лувра. Здесь и должна была встать Пирамида.

— И все же, почему именно пирамида?

— Сложность проекта заключалась вот в чем. Из-за близости Сены котлован не мог быть глубже 8 метров. Но такая глубина недостаточна для вентиляции, не по-



зволит пробиться в подземные здания необходимому для них в таком сооружении дневному свету. Они не смогут то, что называется соприкоснуться с небом. Для меня главное было — это свет. Отсюда — идея прозрачной пирамиды. Она давала свет, простор, объем. Снизу видно, где находишься, с самого начала знаешь, что ты в музее. Этому еще поможет и соответствующее оформление «Зала встречи», где будут продаваться входные билеты, будет размещена схема музея, по которой, стоя в центре пирамиды, будет предельно легко сориентироваться в экспозиции...

— Пирамида. С этим всегда ассоциируется Древний Египет...

— Общее — только форма. Но пирамида существует и в самой природе. Каменные, тяжелые пирамиды для фараонов в Египте — это здания для мертвых. Моя пирамида стеклянная, легкая, она для живых. Через нее видно небо.

— Парадокс. Пирамида — это вроде бы нечто древнее. Ваше сооружение в виде пирамиды, наоборот, ультрасовременное. Отсюда и шла вся критика — считали, что соседство древнего Лувра с таким современным неестественно.

— Архитектура и стиль новых сооружений в проекте «Большой Лувр», я согласен, должны были быть нейтральными. Особенно в том, что касается построек во Дворе Наполеона. Но пирамида — это и есть как раз наиболее нейтральная форма, к тому же позволяющая достичь беспрепятственного обзора и легкости. С квадратным сооружением это невозможно. Более того, пирамида в том виде, в каком она была задумана, не нарушала традиций французской «архитектуры пейзажа», классиком которой был Ле Нотр.

...Интервью завершено, но сказать самому себе окончательно, что я «принял» Пирамиду Пея, я все же не могу. Аргументы разбиваются о контраргументы. Ну вот взять хотя бы столетние деревья во Дворе Наполеона... Мне объяснили, что их убрали потому, что это не соответствует традиции. Французы любят видеть архитектуру, и поэтому парадные дворы дворцов — без единого деревца, разве что скульптуры можно установить. Они и будут здесь установлены, в том числе снесенная

во время революции 1789 года статуя Людовика XIV. И все же...

Я выхожу на набережную Сены и, будто покорный чужой воле, вместе с толпой туристов вхожу в Лувр. Поднимаюсь по лестнице к Нике, из окна галереи смотрю на Двор Наполеона. Вечер. Пирамида подсвечена и вместе с ней — три маленькие пирамиды. У центрального павильона Лувра, ведущего в «Кур каре», установлены пюпитры для оркестра, напротив — стулья для публики. Музыканты еще не пришли, и зритель тоже. Но атмосфера праздника уже есть. Она ощущается в каждой переливающейся грани Пирамиды. Включается подсвет бассейна, полное ощущение, что Пирамида поднимается из воды. И вдруг начинают бить фонтаны, точно так, как это было в те далекие времена, когда еще были короли, строились дворцы и замки, и было можно, не торопясь, десятилетиями выращивать в океане Времени такую жемчужину, как Лувр. Кажется, я принимаю Пирамиду.

\* \* \*

«Принять» Пирамиду все же проще, чем Францию, ее народ, его обычаи, нравы. Пей-старший говорил о «тысячелетней истории Франции в ее непрерывности». На мой взгляд, это своего рода ключ к пониманию уникальности французов как нации, которую русская нация, тоже тысячелетняя, всегда воспринимала с известной долей ревности. Отсюда и перепады в нашем к ней отношении на протяжении веков — то отрицание всего французского, то, напротив, — слепое копирование. Истина все же посередине.

В одном из своих писем графу Панину Фонвизин писал: «Если кто из молодых моих сограждан, имеющий здравый рассудок, вознегодует, видя в России злоупотребления и неурядица, и начнет в сердце своем от нее отчуждаться, то для обращения его на должную любовь к отечеству нет вернее способа, как скорее послать его во Францию. Здесь, конечно, узнает он самым опытом очень скоро, что все рассказы о здешнем совершенстве сушая ложь, что люди везде люди, что прямо умный и достойный человек везде редок и что в нашем отечестве, как ни плохо иногда в нем бывает, можно,

однако, быть столько же счастливым, сколько и во всякой другой земле, если совесть спокойна и разум правит воображением, а не воображение разумом».

Для того чтобы понять это, в наше время необязательно, конечно, посещать Францию, хотя если возможность есть, посмотреть ее надо непременно. А во всем остальном с теми поправками, о которых выше мы поговорили, Фонвизин столь же прав, сколь и современен.

# Глава 3

По дорогам Франции.



Парковка рядом.



# В ЗАМКАХ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

У старого замка в Жьене.



Окрестности Саше. Старая мельница.



Замок Саше. Здесь жил и работал Бальзак.



Замок «Спящей красавицы». Уссе.



Вид из окна комнаты Балзака.



В придорожной таверне вас всегда вкусно накормят.



Кло-Люсе. Здесь жил Леонардо да Винчи.





Замки в долине реки Луары.



У входа в замок — потомки королевской династии Бурбонов...



Замок Во-Ле-Пеньль. Символические похороны «парагов» С. Дали, Ван Гог, Поля Гогена, Сезанна...







Дороги Франции пролегли по первотропью европейской цивилизации. Аппийская дорога римляни переходила в Галльскую. Первые славянские поселения в Бретани и Нормандии появились раньше варягов-норманнов. Земля галлов хранит следы копыт коней средневековых рыцарей, уходивших отсюда из своих замков в крестовые походы, и следы сражений всех европейских и мировых войн. Уже в силу этого Россия и Франция постоянно соприкасались на протяжении всей своей тысячелетней истории. Более 500 тысяч русских живут сегодня по всей Франции. И тем не менее найти русский след на дорогах Франции не так-то просто. Хотя таких следов и немало...

На въезде в Фонтенбло режет пейзаж бетонной грудью 12-этажная башня. Видно, ее создатель решил подтвердить правоту Стендаля, назвавшего загородный дворец Фонтенбло «архитектурным словарем» из-за обилия представленных в его строениях стилей. Не было на автора этого бетонно-панельного «дополнения» ни Франциска I, ни Наполеона Бонапарта, которые любили здесь жить и наверняка спросили бы с него строго за подобное урбанистическое надругательство над одним из самых прелестных уголков Франции.

«Когда у меня горе, — писал в прошлом веке французский историк и литератор Жюль Мишле, — где я найду прибежище и утешение в природе? Поеду в Фонтенбло. А когда полнится душа счастьем? Я тоже еду в Фонтенбло...»

Есть на земле места, словно самой природой созданные для людских поселений. Тут они появились примерно за пять тысяч лет до нашей эры. Наверное, и первый источник обнаружили в этой долине именно их строители, далекие предки современных французов, а вовсе не собака по имени Бло, любимая борзая одного из первых Капетингов, по приказу которого здесь в XI веке возвели первую церковь. (Отсюда, утверждают, и пошло название местечка — Фонтан Бло.)

Кто только не ступал по этим камням! Сколько тысяч придворных, расшаркиваясь перед королями и импе-

раторами, поднимались по лестнице Двора Белой Лошади в этот легендарный дворец! Камень ступеней истерт подошвами. История шла по ним не спеша, лишь изредка оставляя по себе глубокие следы.

Король Франциск I, откупив земли и здания у местного аббатства, создавал первые ансамбли дворцового декора, ставшие образцами для многих королевских замков Европы. Здесь в XVI веке работали великие итальянцы Россо и Приматис. При Франциске было положено начало грандиозной художественной коллекции Фонтенбло, откуда вышли на всеобщее обозрение шедевры мирового искусства, ныне хранящиеся в Лувре: от знаменитой «Джоконды» («Моны Лизы») Леонардо да Винчи до «Святого семейства» Рафаэля. В XVII веке церковь Св. Троицы, основанную за четыреста лет до того Людовиком Святым, а потом как бы «влившуюся» во дворец, украшал Франческо Бордони.

Великая французская революция ворвалась в этот дворец, сметая и круша монархические символы. Поначалу в нем организовали среднюю школу, затем — во время Консульства — военное училище. Став императором, Наполеон восстановил дворец в ранге загородной резиденции французских монархов и обставил его с присущей Первой империи кричащей роскошью. Долго, однако, пользоваться ему дворцом не пришлось. Ровно через десять лет, после того, как Наполеон впервые появился в Фонтенбло — 6 апреля 1814 года, — он подписал здесь свое отречение, а 20 апреля в последний раз спустился по лестнице Двора Белой Лошади к карете, которая увезла его в изгнание на остров Эльбу. Императора не стало. Остался только введенный при нем имперский стиль — ампир, которому суждено еще было соблазнить не одного правителя и не только во Франции.

Великое и смешное здесь прошагало рядом. Само название — Двор Белой Лошади — навеивает думы о белом коне, на котором победитель обязан куда-то въехать. В Фонтенбло было иначе. Имя свое знаменитый двор получил еще в начале XVII века после того, как Екатерина Медичи установила здесь гипсового скакуна, который служил моделью скульпторам, работавшим по ее заказу над четверкой бронзовых лошадей. Простоял гипсовый иноходец довольно долго. И только когда солдаты охраны, дырявившие его пулями потехи

ради, изуродовали коня окончательно, его со двора «вывели».

Экскурсоводы на всех языках рассказывают обо всем этом нагрянувшим сюда в двухэтажных автобусах туристам, школьникам, для которых и в каникулы занятия по истории Франции не прекращаются. На любом европейском языке здесь можно купить, как и в любом другом крупном музее Франции, толковый путеводитель, кассету с записью объяснений экскурсовода. Только вот на русском нет ничего. Наш турист здесь — редкая птица. И обидно это. Столько десятилетий туристическая поездка за границу считалась у нас то ли наградой, то ли аттестатом благонадежности. И выдавали его столь немногим, что от русского языка во Франции, с которой Россия веками была связана, просто начали отвыкать.

Аккуратно одетые служители расставляют в Овальном дворе пюпитры для музыкантов, стулья. Вечером начнется традиционный «праздник звука и света». Словно тени прошлого, выйдут из замка Фонтенбло актеры в старинных костюмах под звуки когда-то танцевавшегося в нем на балах котильона. Взметнется над деревьями затейливый фейерверк.

Но все это будет вечером. А пока дети кормят у озера огромных зеркальных карпов, которые берут у них хлеб прямо из рук. Туристы разъезжают по парку в старинной карете. Старушки потчуют павлинов просом. А влюбленные уединяются в самой дальней от дворца бухте, чтобы покормить белых лебедей «на счастье».

Для чего строили короли свои замки? Только ли для того, чтобы в них жить, есть, пить, устраивать балы и прятаться в потайных комнатах с фаворитками? Нет. У королей, ни один из которых власть не отдавал добровольно, была своя, отведенная им историей и судьбой миссия — объединение мелких доменов, графств и княжеств в ту Францию, которую мы знаем сегодня. У владельцев доменов тоже были свои замки, порой и получше королевских. И по карте этих замков, которых во Франции за последнюю тысячу лет понастроено великое множество, можно представить, как неудобно чувствовали себя в этом окружении французские монархи в те времена, когда их власть еще не была абсолютной. Даже мебель в королевских покоях легко разбиралась



и собиралась — так было проще путешествовать из одного обиталища в другое. В этих путешествиях — то по гостям, то по чужим костям, то в бегах, то в набегах — и проводили свое время Меровинги, Каролинги, Капетинги, Валуа и Бурбоны.

У каждого была своя отметина — герб, и по тому, где он обнаруживается, можно судить, кто посещал замок. Саламандра под короной — знак Франциска I, дикобраз — Людовика XII, выдра — Анны Бретонской... Чаше всего встречаются они в замках долины реки Луары, откуда, говоря древнеславянским языком, и есть пошла Франция.

От Фонтенбло к Луаре ведет великолепная дорога, по которой я решил проехать на Жьен, где расположен первый на берегах Луары замок. Но уже в нескольких километрах от Фонтенбло указатель с надписью «Замок Бурон, 1 километр» сманил с основной дороги.

Вид, открывшийся передо мной, показался удивительно знакомым. Но как, где я мог все это увидеть? В кино разве что. Загадка разрешилась просто. На центральной улице деревни Марлот, куда привел проселок, красовался отель со звучным названием «Ренессанс». Оказалось, что это не просто причуда хозяина, а дань уважения французским художникам прошлого века, которые здесь часто бывали, в том числе Пуссен и Курбе. В этих местах работали Моне, Сислей. В «Ренессансе» подолгу останавливался Огюст Ренуар, один из классиков французского импрессионизма. Вот откуда знакомые краски пейзажа.

Название замка идет от кельтов, которые населяли эти места в стародавние времена. От тех дней в архитектуре следа не осталось, но кое-что найдено в раскопках, по которым и удалось восстановить историю замка. Бурон несколько раз перестраивался. Первым его владельцем был в конце XII века Робер де Бурон, собиратель кельтских легенд и песен, которые известны теперь как «Сказания о короле Артуре и рыцарях Круглого стола».

За свою историю замок не раз переходил из рук в руки. Во время Великой французской революции его захватили санкюлоты, отправившие отсюда в Париж, в тюрьму, последнюю маркизу де Бурон, ненадолго пережившую Робеспьера. В 1878 году замок купила семья Монтескью-Фезенак, среди предков которой был леген-

дарный д'Артаньян. Оказывается, Дюма его не выдумал. Д'Артаньян реально существовал и служил неподалеку, в Фонтенбло, капитаном королевских мушкетеров. Утверждают, что в Буроне хранится его знаменитая шпага. Проверить это не удалось. В замке постоянно живут его хозяева, и посторонних туда не пускают.

Перед въездом, вдоль крепостной стены — старинные каменные навесы для лошадей. В них стоят выдавшие виды «рено» и «ситроен». Наверное, личный транспорт служащих замка. Хозяев я увидел лишь мельком. В длинном «мерседесе» ехал к замку настолько похожий на мушкетера мужчина с бородкой и тоненькими усиками, что я невольно стал искать глазами: а где же Арамис, Портос, Атос? Их не было. Но вот Миледи рядом с современным д'Артаньяном сидела. Это точно.

\* \* \*

Жьен, знаменитый на всю Европу своим фарфором, невозможно себе представить без мостов, перекинутых через Луару, парящего над ней старинного замка из красного кирпича. Мемориальная доска, прикрепленная у основания одной из замковых башен, сообщает, что его построила Анна де Божо (1460—1522 гг.), графиня Жьенская, старшая дочь Людовика XI. После смерти отца она стала в 23 года регентшей при своем младшем брате Карле VIII. Правила Францией — и весьма умело — почти девять лет и именно в это время, в 1483 году, начала строить, а точнее — перестраивать Жьенский замок, который поначалу был создан как база для королевской охоты.

История повернулась таким образом, что через 500 лет именно в этом замке, в котором Анна, охоту не любившая, извела все ее внешние признаки, разместился Международный музей охоты.

Жьенцы, а их немного — и 17 тысяч не наберется, — поддерживают свой город в образцовом порядке. С гордостью рассказывают, что в 1429 году именно отсюда Жанна д'Арк шла в бой с англичанами, чтобы снять осаду с близлежащего Орлеана. Когда смотришь, как по нависшей над Луарой скале поднимаются к стенам замка такого же кирпичного цвета и в той же манере выполненные дома, то кажется, что ни замок, ни окружающие его строения не тронуло время, что здесь

все так же, как во времена Анны де Божо, как в пору Фронды (1648—1653), гражданской войны, которая заставила укрываться в Жьене Анну Австрийскую, кардинала Мазарини и юного Людовика XIV.

Именно в таких маленьких городках, как Жьен, можно реально ощутить умение французов сохранять тысячелетние традиции, непрерывность истории и культуры народа. Жьен в 1940 и 1944 годах жестоко бомбардировали. Пришлось много восстанавливать, в том числе знаменитые арочные мосты над Луарой. Вот и храм, который представляется частью единого замысла архитектора, создававшего замок Анны де Божо. Но он, как оказывается, от XV века получил только часовню, все же остальное, в том числе и новое свое название — собор Святой Жанны д'Арк, — только в 1954-м, когда его перестроили заново. Да и дома, что прилепились к склону скалы, — недавней постройки.

А что за люди в них живут? Богатые или бедные — сказать трудно. Но все дома рядом с замком чистенькие и свежепокрашенные. Наверное, стоит этот глянец недешево. Правда, вообще во Франции, если дом не заброшен, что здесь довольно редко, хозяин содержит его в порядке, даже если вынужден для этого во многом себе отказывать. И если у него нет средств нанять кого-либо, он будет все свободное время убивать на украшение и усовершенствование семейного очага, благо с доставкой строительных материалов, инструментов, красок, гвоздей, обоев, паркета и т. д. во Франции проблем нет.

Едешь по проселочным дорогам долины Луары и думаешь не столько над французским, сколько над нашим житьем-бытьем. Ведь вот учим мы по Энгельсу, что семья — ячейка государства. Логичен к этому мостик — семейное хозяйство, дом семейный — ячейка хозяйства государственного, нашего общего, всенародного дома. Ведь радуется, когда видишь аккуратные, словно лубочные, дома где-нибудь в Молдавии, Западной Украине, Грузии, Прибалтике, реже, увы, в Сибири. А вот едешь по дорогам Подмосковья, Владимирской, Ярославской областей, моей родной — Смоленской — так иной раз тоска берет от вида придорожных строений. Даже цветочка часто не посадят перед домом, не то чтобы его побелить-покрасить. Смотришь, сравниваешь.

Сколько выдумки французский селянин прилагает,

чтобы для начала элементарно выжить при довольно-таки безжалостной конкуренции, а выжив, упрочиться, обеспечить себе достойную жизнь, в том числе обеспеченную старость. Не всем это удается, многие разоряются, но «выбиться в люди» стараются все. Бездельник, пьянчуга здесь — существо, откровенно презируемое.

Придорожное семейное кафе, маленькие гостиницы на пять-шесть комнат — больше не нужно. При них — маленький ресторанчик, по сути, семейная кухня, где пообедать за день человек пять-десять, а поужинают в лучшем случае двадцать, но зато семье это принесет доход, и немалый.

Под Жьеном видел я небольшой «оберж», в переводе «постоялый двор», хозяин которого, дабы завлечь проезжающую по дороге публику, установил перед домом в ряд старые повозки и фазтоны. Другой сделал придорожный ресторан в виде крытой соломой хаты. Третий соорудил нечто вроде голубятни со столиками на открытом воздухе. Четвертый использовал старую мельницу для своего «Погребка у мельника», где одновременно устроил музей местных вин. Без выдумки не заработаешь. И одними замками в долину Луары туриста не завлечешь...

\* \* \*

...В Блуа я бывал наездом не раз, но все никак не удавалось там остановиться, побродить не спеша по его узеньким, идущим террасами улочкам, постоять на стене старинного, знаменитого на весь мир замка. И вот наконец повезло...

История Блуа, особенно средневековая, полна трагедий, в том числе кровавых. Когда-то он был столицей домена, постоянно воевавшего с графами Анжуйскими и герцогом Орлеанским. В 1391 году окончательно разоренные графы де Блуа продали его брату Карла VI герцогу Орлеанскому. Он обосновался в Блуа со своей любимой женой Валентиной Висконти. После его убийства в Париже, по наущению герцога Бургундского по имени Жан Бесстрашный, вдова уединилась в Блуа в трауре.

Обо всем этом рассказывает нам гид в очках такого интеллигентно-ученого вида, что уже с первых слов, произнесенных предельно четко, в манере привыкшего

к публичным лекциям профессора, возникает трогательный образ человека, целиком посвятившего себя изучению древних фоллантов, отчего грудь его стала впалой, а зрение ослабло. Ни одна группа посетителей Блуа не минует гида. Экскурсии идут через каждые двадцать-тридцать минут. Тут есть что посмотреть. И украшенные старинной инкрустацией каминны Франциска I, и комнаты его коварной невестки Екатерины Медичи, жены Генриха II. Ее будуар обшит 237 деревянными панелями — потайными шкафами, в которых хозяйка прятала все: от яда до любовников.

Вот старый скульптурный портрет Пьера Ронсара (1524—1585), отца «Плеяды», целой литературной школы периода Ренессанса, которому суждено было совершить переворот в истории французской поэзии.

Сын придворного, рано оглохший и не имевший поэтому шансов на карьеру при дворе, Ронсар был пострижен в монахи, но монастырского затворничества избежал. Поэзия привела его во дворец, и он получил титул официального придворного поэта Карла IX. Между тем все не так однозначно. В своем «Наставлении» юному монаху Ронсар мог в XVI веке написать и такое:

Законны новые  
пуская в оборот,  
Подумайте сперва,  
чтобы потом народ  
Не вздумал действовать  
наперекор декретам.  
Ребечества нельзя  
позволить в деле этом...

А мы-то его знали в основном как автора игривой «Амуретты» («Ну что же вы? Приблизьте щечку смело...»), любовных стихов, посвященных аристократке Кассандре, которую он встретил в Блуа.

За что более всего чтили его короли, сказать сейчас трудно. У поэта далеко не всегда складывались гладко отношения с владельцами замков. Но важнее другое — каждый француз знает его так же, как мы знаем Пушкина. И хотя далеко не каждый припомнит деяния Карла IX, в Блуа память о том и другом хранится одинаково бережно, как все, что составляет историю Франции, ткань которой едина.

Сберечь ее в целости для потомков — главная задача Национального союза музеев Франции. Он сохра-

няет, например, цены на вход в замки и экскурсии на достаточно низком уровне. К тому же предусмотрены всевозможные скидки — для детей, студентов, пенсионеров, инвалидов, журналистов, ученых. Зарабатывают музеи на открытках, книгах, сувенирах, которые продаются у входа, а также в любом частном кафе, которых полно вокруг замков. Но зарабатывают немного. Между тем только на идущий в замок Блуа капитальный ремонт ежегодно уходит 3 миллиона франков.

Поддержание «на плаву» двух тысяч замков и других исторических зданий Центрального района Франции — дело нелегкое. Государство выплачивает 17 миллионов франков в год на содержание принадлежащих ему памятников старины, а еще 27 миллионов франков — на разного рода субсидии владельцам замков частных, но тоже имеющих историческое значение.

В последнее время на спасение замков мобилизуется общественность. Так, в Азе-ле-Ридо, неподалеку от города Тура, свой «фонд спасения» образовали местные торговцы и владельцы отелей. Это дело их прямо касается — ведь здешний замок посещают в год 400 тысяч человек.

Туризм — бизнес серьезный. В долине Луары вокруг замков кормятся 30 тысяч человек, прямо или косвенно обслуживающих туристов, которые оставляют здесь 2 миллиарда франков в год.

\* \* \*

...Время не пощадило замки Луары, а наше время — и ее саму тоже. Неподалеку от Тура, заправляя машину, спрашиваю владелицу бензоколонки: «А есть ли еще рыба в реке?» Она смотрит на меня с печалью: «Да вы разве не читали?..» Читал, конечно, как отравили Луару хозяева расположенного в окрестностях Тура химического завода. О том, как несколько дней они скрывали, что это по их вине всплывала рыба, о том, как в городе отключали питьевую воду, узнав наконец, что река была отравлена мышьяком. Вот оно — варварство XX века, увы, не миновавшее и Францию.

Хочется уехать куда-нибудь от этих мертвенно-серых вод. В глушь. Возможно ли это сегодня в долине Луары? Еду в Юссе, подальше от Тура, а здесь ждет сюрприз...

«...И вот перед ним заколдованный лес. Принц соскочил с коня, и сейчас же высокие толстые деревья, колючий кустарник, заросли шиповника — все расступилось, чтобы дать ему дорогу. Словно по длинной, прямой аллее пошел он к замку, который виднелся издали...» Это из «Спящей красавицы».

Сколько раз я читал эту сказку своим детям и не мог подумать, что «заколдованный», а точнее — зачарованный лес и замок в нем Шарль Перро увидел наяву. Произошло это именно в Юссе, куда французский сказочник приезжал не раз погостить.

У входа в замок — автостоянка, рестораник «Спящая красавица», сувенирная лавка — все, как положено в туристской индустрии. Каменная лестница ведет на вершину холма, на котором, будто сложенный из кубиков, стоит белый-белый замок с высокими башенками и «таинственными» переходами. В одном из них за стеклом — вереница восковых фигур. Здесь и ныне разворачивается действие знаменитой сказки. Вот король и королева у детской колыбельки в окружении фей. Вот злобная старуха с роковым веретеном. И вот он наконец — хэппи-энд. Принц своим поцелуем пробуждает принцессу, проспавшую сто лет. Дети визжат от счастья, и кажется, что восковые фигуры светятся, излучая тепло.

В самом замке все будничнее, прозаичнее. Там живут его хозяева маркизы де Блакас, потомки основателя египетского отдела Лувра. Часть своего владения они отвели под музей, где, пожалуй, самое интересное — королевские покои. В каждом замке такие апартаменты держали на случай, если его величество заглянет, украшая их по мере смены монархов их портретами. Но хотя замок был построен еще во второй половине XV века, ни один король так ни разу и не заглянул в эту «глушь»...

## В ГОСТЯХ У ВЕЛИКИХ

...Неподалеку от Азе-ле-Ридо шоссе пересекается с проселком, который ведет на Саше. Вдоль мелкой речушки Андруа, притока Луары, он вьется по укрытым туманом полям, мимо старых мельниц с поросшими

мхом колесамн. «Шато Саше» в переводе вроде бы тоже «замок», но славен он не королями, не графамн, а нменем Оноре де Бальзака. Владельцы замка были поклонникамн таланта писателя и охотно предоставляли ему Саше для работы.

Неуклюжее строение. Будто слепленные друг с другом четыре дома с островерхимн крышами. Под одной из нх кабинет Бальзака. Привлекает внимание листок с записью, сделанной его рукой. «Старнчок — семейный пансион — 600 франков ренты — лишает себя всего ради дочерей, причем у обеих имеется по 50 тысяч франков дохода, умирает как собака...» Это набросок сюжетной канвы «Отца Горно» — центрального романа «Человеческой комедии».

Комната с обоямн соломенного цвета, ромбиком. Небольшая кровать с балдахинем. Рядом с ней тумбочка, на которой обычно стояла чашка с кофе, приготовлявшаяся в огромном кофейннке, напоминающем чем-то турецкий кальян. Бальзак писал, лежа в этой кровати, и выпивал в день до трех литров крепчайшего кофе. Здесь рождались один за одним герои «Человеческой комедии» — Растиньяк, Ботрен, Бьяншон, виконтесса де Босеан...

Нервный, свидетельствующий об огромном внутреннем напряжении почерк Бальзака. Безжалостно переписанные гранки романа. На этой правке Бальзак терял едва ли не две трети своих гонораров, а то и оказывался должен издателю, но остановить себя не мог: вплоть до выхода книги в свет совершенствовал ее. Под стеклом — слепок с руки Бальзака, в которой он держал свое великое перо. Писатель сам звал ее «моя разорительница».

Зеркало, в которое смотрелся Бальзак. Часы, по которым он узнавал время. Трудно представить себе только его живого. Это удалось сделать великому Родену. Работая над скульптурным портретом Бальзака, он приехал в Саше. И вдруг в один из дней увидел молодого крестьяннина, который шел по дороге к замку. Он был похож на Бальзака как две капли воды. «В этой кровати, — пояснил гид в чисто французской эвфемистическо-каламбурной манере, — великий писатель создавал не только свои печатные романы...» Именно с крестьянина-двойника и лепил Роден свою знаменитую скульптуру.



...В Туре мне не удалось посмотреть ни старинные дворцы, ни соборы — до позднего вечера провел в местном отделении профсоюза, а рано утром надо было возвращаться в Париж. Записная книжка пестрела цифрами: 25 тысяч безработных в долине Луары, из них 2 тысячи — молодые люди, которые вообще никогда не работали; половина безработных не получает никакого пособия...

— И это в Долине Королей! — сказал, мрачно усмехнувшись, один из моих собеседников.

Эта фраза крутилась в памяти, когда на выезде из Тура я остановился у перекрестка, размышляя, какой же дорогой возвращаться в Париж. 951-я автострада манила с карты обозначениями замков и городов, названия которых — сама история: Амбуаз, Шамбор, Клер...

Все причудливо переплелось в Долине Королей. История и современность здесь, подобно сообщающимся сосудам, взаимно переходят друг в друга. В городке Сен-Мартен-ле-Бо хозяин придорожной гостиницы рассказал местную легенду о том, как много веков назад вот по этой дороге несли тело усопшего святого Мартина, и, хотя дело было поздней осенью, деревья расцветали и пели птицы, отсюда, мол, и название — «лето святого Мартина», что означает «бабье лето». Не уловив у меня на лице интереса к религиозной тематике, хозяин столь же легко перешел на современную историю. Оказалось, что в его гостинице скрывались во время Сопротивления партизаны. А по дороге, по которой несли святого Мартина, гестаповцы в 1943 году увезли на расстрел подпольщика Раймона Сержана, о чем напоминает теперь лишь скромная мемориальная доска на местном «Клубе отдыха и развлечений города Сен-Мартен-ле-Бо».

951-я вела через покрытый дымкой тумана лес, где человек двадцать великолепно экипированных охотников гонялись за зайцами, убежавшими от них через тщательно убранные поля вокруг Амбуаза. Он открылся сквозь туман парящим над землей и Луарой многобашенным средневековым замком, чем-то напоминающим гигантский авианосец. На его «палубе», вырубленной в скале, высился старинный дворец — обиталище Карла VIII, Людовика XII и Франциска I.

Озябший гид, кутаясь в выдавшую виды куртку,

ведет меня по широкому спиральному тракту, по которому когда-то могли подняться к самой верхней башне дворца кареты и повозки, к королевским покоям с выцветшими от времени гобеленами. «Вот в этом зале, — говорит он, — неоднократно бывал у Франциска I Леонардо да Винчи».

С вершины замка он показал, как можно проехать к Кло-Люсе, последнему пристанищу Леонардо. От вековых камней веет могильным холодом. Гид торопится закончить экскурсию у того самого места, где висит табличка: «Гиды в этом частном музее работают как энтузиасты и получают за свой труд минимальную зарплату». Намек прозрачен, как и сама фигура гида. Он галантно, как нечто само собой разумеющееся, принимает мое «дополнение» к своей зарплате, успев посетовать на прощание, что государство денег на содержание музея не выделяет, а его владельцы — люди небогатые, хоть и меценатствующие. Все делают здесь энтузиасты. «Это — святое, — говорит он. — Это история Франции...»

Да и только ли Франции? Кло-Люсе, тоже частный музей, с трудом существует на доходы от туристов и те крохи, которые достаются ему от государства «на охрану памятников». У дома Леонардо да Винчи надпись: «Посещая Кло-Люсе, вы помогаете сохранить его. Нет места во Франции более дорогого для тех, кто дружит с искусством, литературой и наукой».

А ведь и правда. Леонардо да Винчи — итальянец по рождению, по воле судьбы проведший свои последние годы во Франции, принадлежит всему человечеству. И память о нем священна. Небольшой «шато» — нечто среднее между замком и жилым домом — из красного с белым кирпича. Деревянная галерея, идущая вдоль каменной ограды. Зеленый ковер никогда не увядающей травы полого спускается к ручью, скрытому от глаз вековыми платанами.

Здесь Леонардо жил с 1516 по 1519 год. Так утверждает надпись на мемориальной доске. Хотя историки до сих пор спорят, когда он приехал в Амбуаз по приглашению Франциска I, с которым его связывала странная и непонятная дружба, — в 1516 или 1517 году? Так же, как спорят: был ли на его похоронах Франциск I или же те полотна великих мастеров Возрождения, где запечатлено это событие, — всего лишь дань легенде?

Достоверно только то, что после тяжких скитаний по Италии и трех лет, проведенных в Риме (1513—1516 гг.), где Леонардо совершенно забросил живопись и скульптуру, в Кло-Люсе он обрел покой и возможность систематизировать те записи и открытия, которые принесли ему славу величайшего гения эпохи Возрождения.

Дом не раз менял своих владельцев, и сохранить все так, как было при Леонардо, к сожалению, не удалось. Но все же с 1955 года, когда музей начал работать, по крупицам удалось собрать многое. Восстановлена спальня великого итальянца, кухня, где царствовал его неизменный спутник во всех скитаниях повар Матурини, камин, у которого Леонардо проводил долгие зимние вечера, старинный стол, где рядом с гусиным пером — одна из многочисленных записных книжек, с которыми никогда не расставался хозяин Кло-Люсе.

Личность Леонардо да Винчи остается загадкой для современников до сих пор. Он обладал способностью предвосхищать открытия, сделанные несколько веков спустя после его смерти. В подвале замка в трех просторных залах выставлены макеты машин, которые специалисты создали по чертежам, найденным в записных книжках Леонардо да Винчи, из тех материалов, что существовали в XV—XVI веках. Трудно поверить, что все это могло быть задумано 500 с лишним лет назад. Под сводчатым потолком висят модели вертолета, самолета, парашюта. Рядом — макеты пулемета, танка и даже реактивного миномета, принцип которого, как сообщает табличка, «русские использовали во время войны с Гитлером при создании своих знаменитых «катюш».

Многие технические решения, разработанные Леонардо да Винчи, и поныне применяются в гидравлике, архитектуре, металлургии, кораблестроении, самолетостроении и т. д. В Кло-Люсе Леонардо спроектировал для Франциска I замок, который был оборудован не только водопроводом, «автоматически» открывающимися и закрывающимися дверями, но даже переговорным устройством. До сих пор картины Леонардо да Винчи, все, что связано с его жизнью и творчеством, бьют рекорды на всех международных аукционах и вообще на рынке искусства. Свою знаменитую «Мону Лизу» он писал в 1503 году с Лизы Жерардини, супруги флорентийца Франческо дель Джокондо. Оригинулу портрет не по-

нравился. Может быть, потому, что, как это определили с помощью ЭВМ уже в наше время, лицо Джоконды сильно напоминает самого Леонардо. Жерардини отказалась его купить, и тогда портрет купил Франциск I, заплатив за него огромную по тем временам сумму — 15 миллионов 174 тысячи золотых флоринов, или примерно 15 кг золота. Это соответствует I миллиону франков по курсу 1982 года. Но сейчас «Мона Лиза» оценивается уже в 500 миллионов франков. Другие картины его стоят тоже десятки миллионов — например, «Жиневра ди Бенчи» оценивается в 30 миллионов франков, «Свадьба Посейдона» — в 50 миллионов франков. А Кло-Люсе живет на скромные дотации. Это уже «загадочная современность».

И все же меня больше занимало другое. Почему величайшие гении, зачастую даже далекие от точных наук, использовали свои знания для поисков наиболее совершенных средств уничтожения людей и ведения войны?

Странно переключаются иной раз история и современность. В киоске в Амбуазе я купил газету, где сообщалось, что с аукциона в США продали подлинник письма Альберта Эйнштейна, в котором тот объяснил президенту Рузвельту принцип атомной бомбы. Об этом письме Эйнштейн говорил позднее: «Я всю жизнь буду жалеть, что написал его». А быть может, не будь того письма, современная история человечества выглядела бы иначе...

Понимал ли Леонардо да Винчи, сколь опасной может быть техническая идея? Видимо, да, потому что в идеи свои оружейников посвящал осторожно. Но он, конечно, не мог себе представить, что открытый им метод измерения поверхности лунок будет когда-нибудь использован создателями технологии «звездных войн» для разработки параболических зеркал — неопременного элемента космического лазерного оружия.

...Легенда рассказывает, что он почувствовал свою смерть за две недели и начал к ней готовиться. Отдал все распоряжения, написал завещание, сказал, как и где его похоронить.

Через витраж небольшой часовни мягко падает свет на белую плиту, на которой написано в соответствии с его пожеланием следующее: «Здесь покоятся останки

Леонардо да Винчи». Точно. Именно останки. Потому что творческое наследие Леонардо да Винчи, в котором воедино слились искусство, литература и наука, живет и питает мысль и чувства современников до сих пор, поражая их воображение вечной загадкой гения Возрождения.

Амбуаз полон тайн. В небольшом Почтовом музее, затерявшемся на одной из его тихих улиц, лежит книжка — пушкинская «Капитанская дочка». Владелец музея господин Пьер Поль усмотрел в этой повести всего лишь подтверждение интереса великого русского писателя к почтовой тематике. Следуя той же логике, он приобрел по случаю на аукционе дуэльные pistols, которые были выставлены для продажи семьей де Баронт, унаследовавшей их от Эрнеста де Баронта, сына французского дипломата, который жил в Петербурге в 30-е годы прошлого века. Он дружил с Жоржем Шарлем д'Антесом, с тем самым, как у нас пишут, Дантесом, который смертельно ранил А. С. Пушкина. На Черную речку Дантес поехал с «дуэльной парой», которую на время занял у де Баронта, а после вернул. Из какого точно пистолета он стрелял, никто не знает. Но на аукционе гарантировали, что именно это оружие и использовалось им на дуэли с великим русским поэтом. (В СССР хранится другая пара, принадлежавшая Пушкину.)

В конце 60-х годов господин Поль умер и завещал свой музей городу Амбуазу вместе с печально знаменитой дуэльной парой. Ей суждено было вернуться в Россию только в июле 1989 года, когда президент Миттеран передал pistols де Баронта в дар Советскому Союзу во время визита М. С. Горбачева в Париж. В музее теперь — точная их копия и ответный подарок из Эрмитажа...

...Я вновь выехал на 951-ю. Амбуаз скрылся за поворотом, и дорога пошла вдоль каменной гряды, где в пещерах когда-то селились предки современного человека, а сейчас предприимчивые виноделы используют их как винные погреба.

Легенды и реальность, история и сегодняшний день тесно переплелись в долине Луары. Близ знаменитого замка в Шиноне, когда-то принадлежавшего Ришелье, стоит деревенька Лерне, где до сих пор выпекают описанный Рабле знаменитый хлеб «фуас». Его можно испро-

бовать в ресторанчике «Гаргантюа», на который смотрит сам Рабле, застывший навек в камне.

Всего в 11 километрах отсюда время подняло башни замка XX века — железобетонную цитадель Шинонской атомной электростанции мощностью около миллиона киловатт. Это тоже своеобразный памятник — именно здесь в 1963 году был установлен первый во Франции ядерный реактор, вырабатывающий электроэнергию. С тех пор они густой сетью покрыли территорию страны, подобно тому, как замки долину Луары, и продолжают победное шествие по ней до сих пор, как ни протестуют против этого хранители исторических памятников Франции и защитники ее окружающей среды. Но что могут они против такого натиска? Как писал Бальзак в «Отце Горю», «колесница цивилизации в своем движении подобна колеснице с идолом Джагарнаutom: наехав на человеческое сердце, она слегка запнется, но в тот же миг крушит его и гордо продолжает путь...»

## ЗАМОК С ДОБРЫМИ ПРИВИДЕНИЯМИ

С автострады национальная дорога убегает в поля и луга. Указатель на Мелен. Вроде бы простой дорожный знак. А на нем, как на скрижалях, — сама история Франции. Да и не только Франции. Сколько всего сошлось в долине между Сеной и Марной! Проскакиваешь часто в этих местах какой-либо городишко и коришь себя, что не заехал, не побродил по его улочкам с тысячелетней историей. Но тут жизни не хватит все увидеть, поэтому утешаешь себя изречением Козьмы Прутова: «Нельзя объять необъятное».

На этот раз адрес у меня конкретный — замок Воле-Пениль. Это под самым Меленом, в 50 километрах от Парижа, на правом берегу Сены.

...Было что-то нереальное в этой картине. На въезде в старинный замок в распахнутых настежь чугунных резных воротах стоит бежевый «мерседес». В машине вместе со своей неизменной помощницей Клодией сидит сам владелец замка Пьер Аржиле, основатель первого и единственного в мире музея сюрреализма, разместившегося здесь же. Он в элегантном вельветовом костюме, белой рубашке и при галстуке. Через руль «мерседеса»

пропущена старинная трость с резным костяным набалдашником, из которого «растут» два одуванчика.

Клодия держит в руках выдавшую виды пластмассовую миску с каким-то крошевом. Своеобразная, прямо-таки сюрреалистическая, эта сценка объясняется, однако, весьма прозаически: «Вот, подвез Клоди, — говорит Аржиле. — Сегодня служитель наш не работает, выходной, и птиц кормим сами. К тому же надо закрывать ворота. Завтра едем в Москву...»

Ворота, видимо, закрываются в этом замке не часто. Я с трудом сдвинул их с места. Поржавевший язычок замка со скрипом вошел в паз. Аржиле накинул цепь на решетку. «Символ, — пояснил он. — Все будут знать, что хозяев нет дома».

Его поездка в Москву — целая история. До этого один раз он был в нашей столице на форуме «За безъядерный мир, за выживание человечества». «Потрясающее собрание земной интеллигенции, — говорит Аржиле. — Никогда не видел ничего подобного. Не формальное, не протокольное мероприятие. Люди, прибывшие тогда в Москву, действительно хотели такого диалога».

Ему, говорят, 78 лет. Но речь живая, а взгляд озорной. В день нашей встречи он был весь в заботах по организации первой в Советском Союзе выставки работ Сальвадора Дали, художника с мировой славой, классика сюрреализма. Она открылась потом в Москве, в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. А в самом начале апреля 1988 года Аржиле пришел в наше посольство в Париже и передал в Советский фонд культуры несколько работ из собрания своего музея. И в первую очередь гравюру «Нептун» С. Дали. Художник мечтал выставиться в Москве всю свою жизнь. Так и умерла, не повидав родины своих предков, его жена Галá, урожденная Елена Дьяконова. Болезнь не позволила и самому Дали приехать в СССР.

«Декадентское искусство», «болезненное восприятие мира», «извращенная буржуазная эстетика» — сколько ярлыков кочевало по нашим энциклопедиям и работам известных критиков! А сколько было всяких запретов, связанных с его творчеством!

Дали между тем искренне считал себя революционе-

ром в искусстве, как и футуристы, и кубисты, и дадаисты, и экспрессионисты, поднявшие свои бунтарские штандарты «ионконформизма» в начале века. О том времени, когда только начинался их бунт против буржуазной эстетики, напоминает в замке Во-ле-Пениль пожелтевшая от времени газета «Фигаро» за 20 февраля 1909 года.

На первой полосе в ней помещен знаменитый «Технический манифест футуристической литературы», подписанный Ф. Маринетти. Рядом, на стенах, — старые фотографии основоположника сюрреализма Джорджо Де Ширико, Корзу, самого Сальвадора Дали с его неизменно закрученными кверху, крейделем, донкихотскими усами.

Повсюду в замке его работы. Помню, как впервые поразили меня знаменитые «Часы» — словно потекшие от неимоверной жары циферблаты, расплывшиеся по земле, висящие на ветке, на спине улётки. Не раз потом я вспоминал эту работу, когда видел на снимках запекшиеся в атомном взрыве в Хиросиме часы с остановившимися в момент смертельной вспышки стрелками.

В 1975 году в Австралии в экспозиции нью-йоркского музея «Метрополитен» я увидел еще одну его работу — «Мадонна на стене». Вновь поразился тогда, какой он великолепный рисовальщик. В современном искусстве у сюрреалистов — это непеременимое качество. У них работа методом Поллока, корифея абстракционизма, писавшего, разбрызгивая краски по полотну, не проходит.

Еще в 1934 году в своей книге «Покорение иррационального» С. Дали заметил: «Мне кажется совершенно ясным, почему мои друзья и враги делают вид, что не понимают значения тех образов, которые возникают и которые я переиожу на свои картины. Как вы хотели бы понять их, когда я сам их не понимаю! Но тем, что я в момент написания не понимаю значения моих картин, я не хочу сказать, что они лишены всякого значения. Напротив, их значение глубоко, сложно, связано и произвольно настолько, что не поддается анализу, интуитивной логике».

Иррационализм, представляющий конкретно, — вот, с точки зрения Дали, достижение сюрреализма, его метода. Плоды этой художественной концепции глядят со стен замка Во-ле-Пениль. Статуя самого Дали в полный рост высится рядом со старым роялем, из бока ко-



торого, словно кровь из раны под ребром, хлещет водяная струя. У этого своеобразного фонтана сидит женщина — бюст портновского манекена с грудью, прикрытой ракушками-гребешками, выкрашенными в коричневый цвет. К чему только не ведет воображение, играющее кистью и резцом мастера...

Пьер Аржиле проводит меня по всему замку. Лучше гда не сыщешь. Под конец экскурсии он говорит: «Клодия покажет вам и подземелье. Там тоже есть что посмотреть».

История проходила по этим местам семимильными шагами, под которыми рушился, и не раз, замок, возведенный на римском фундаменте. В XI и XII веках он служил цитаделью, защищавшей дворец французских королей, от которого теперь ничего не осталось. Дворец был расположен напротив, на острове посредине Сены.

Именно на этот остров привезло французское посольство из Киева Аину Русскую, дочь Ярослава Мудрого, в жены королю Генриху I. Она стала королевой Франции и в царствование своего малолетнего сына Филиппа I практически правила ею. В напоминание об этом в музее Во-ле-Пениль выставлен экспонат из Киева — чекаинный портрет Аниы Ярославны. Правда, современного изготовления.

В XVIII веке Мишель Луи Фрето де Сен-Жюст построил на этом месте четвертый по счету замок, который и стоит в Во-ле-Пениле по сей день.

Сен-Жюст-старший был первым секретарем Марии Лещинской, польской принцессы, ставшей женой Людовика XV и введшей моду во Франции на кровати с балдахином, именуемые «польскими». (Одна такая кровать стоит в музее замка, правда, «творчески» обработанная сюрреалистами.) Мишель-Филипп Сен-Жюст, избранный в 1789 году председателем Национального собрания Франции, один из авторов Декларации прав человека и гражданина, пять лет спустя был арестован именно здесь якобинцами и в 1794 году отправлен на гильотину в Париже.

Много позже, в 1815 году, в замке Сен-Жюста расположился победитель Наполеона русский царь Александр I. А еще век спустя французский генерал Жоффри и английский фельдмаршал Френч решали здесь, как им совместно вести знаменитую битву на Марие, в ходе ко-

торой удалось отбросить от стен Парижа воинство немецкого фельдмаршала Мольтке. Аржиле показывает нам комнату, где это было, и говорит: «Разгром немцев на Марне оказал самое прямое влияние на русскую революцию. Если бы немцам тогда удалось взять Париж, неизвестно, как сложилась бы европейская и конкретно русская история...»

Все взаимосвязано в этом мире, и не будем спорить с трактовкой истории, которой придерживается нынешний владелец замка Во-ле-Пениль. В любом случае для истории Франции он сделал немало, раскопав под замком несметные археологические сокровища. Даже древнеримский родник восстановил в подземелье, которое когда-то уходило под Сену и вело прямо к королевскому дворцу...

Загадочные картины сюрреалистов, их скульптуры, напоминающие привидения, мирно соседствуют с рыцарскими доспехами и каминами в человеческий рост. Может быть, логично, что сюрреалисты расположились именно здесь. Кому в конце концов мешает их неустанный поиск рационального зерна в нашем иррациональном мире? И если они не победили иррационального, то разве всегда это умеют делать государственные деятели? В их искусстве всегда было что-то от колдовства, шабаша, от вальпургиевой ночи. Не случайно Дали снабдил своими гравюрами «Фауста». Но он, правда, иллюстрировал и сборник стихов Мао Цзэдуна. Серьезное и даже заузное у Дали, да и многих его последователей, каким-то странным всегда образом уживалось с хохмой, с таким ерничеством и эпатированием буржуазной публики, которое даже футуристам не снилось. Не потому ли рядом со скульптурой, символизирующей республику, соседствует мраморная ванна, над которой висит эбеновый женский торс, одетый в настоящий средневековый «пояс верности»? Не потому ли каждый год в замке 24 июля, в день Юпитера, храм которого когда-то был построен неподалеку от нынешнего замка римлянами, разворачивается пышное языческое празднество в честь Солнца? Кто знает. Пути искусства несповедимы.

Дали умер, и в 1989 году в Во-ле-Пениль впервые состоялся праздник Солнца, на котором гений сюрреализма присутствовал только как призрак. Впрочем, он приехал в замок в старом «роллс-ройсе» — он обожал

«роллс-ройсы» и считал, что ездить можно только в них, — но приехал, увы, восковым. «О, мэтр!» — обращались к нему певцы и танцоры, юноши, на головах которых росли олени рога, и девушки в монашеских одеяниях, несшие по отдельности детали его картин и скульптур — сделанные из папье-маше губы, поплавшие часы, трубы. Все имеет свой смысл, свой подтекст...

...Траурная процессия шла по дорожке парка. Хорошили... Ван Гог, Гогена, Сезанна. Так завещал Дали, не считавший их художниками. Впрочем, они платили тем же и реалистам, и сюрреалистам. Аржиле радовался, как ребенок. Когда по сценарию праздника в воздух поднялся воздушный шар с прицепленным к нему носорогом из папье-маше, он засмеялся, всплеснул руками, потом захлопал в ладоши. Шар медленно подвели за веревку к парадной двери замка, у которой стояли Анна Ярославна Русская с герцогом Орлеанским вместе с Аржиле. (Анна была действительно русская, дочка нашего советского дипломата, а герцог Орлеанский — настоящий, только одетый в парадный костюм предков.) И тут 78-летний проказник бросил всех и залез в корзину шара. Шар опять накачали теплым воздухом с помощью специальной горелки, и Аржиле со счастливой улыбкой поплыл над своим владением.

«Когда-нибудь я посмотрю на всю эту философию «параноидально-критической деятельности», — писал Дали в своей книге-манифесте, — в попытке с нею вступить в полемику. Если у меня на это найдутся время и юмор...» Юмора у него было предостаточно, времени не хватило. Но и не могло хватить. Ведь спор о том, каким быть искусству, — вечен.

Утверждают, что и Пикассо просто дурил голову публике, когда присовывал к спинам женщин из высшего общества, ему позировавших, носы и ослиные уши. Это, однако, утверждение слишком примитивное. Элемент забавы и ерничества, конечно, был — искусство без него мертво. Но была и попытка вырваться из замкнутого круга классического искусства, которое канонизовало стабильность эксплуататорских обществ, возводило эстетику классицизма в их охранную грамоту. Не потому ли все самодержцы и диктаторы так люто ненавидели любые отступления от канонов? Почему Гитлер все, кроме реализма, объявил «дегенеративным»?

Быть может, особую опасность все диктатуры усматривают именно в том, что современное искусство чрезвычайно демократично в выборе материала, близко к уличному «граффити», к лозунгу на стене и карикатуре на властей предрежащих?

Аржиле, опытный критик, против направленных политических акцентов. Далеко не все сюрреалисты — революционеры, говорит он, и далеко не все реалисты — консерваторы. Главный критерий — это причастность к искусству. Вот что сближает художников, а в конечном счете и людей. Ни у кого нет монополии на истину. Ее надо искать вместе.

В своем письме М. С. Горбачеву, опубликованном 12 марта 1988 года в «Советской культуре», Аржиле писал: «Человечество не должно быть консервативным. Оно меняется каждый день, а в нашу эпоху невероятно быстро. Перестройка, являясь символом мира, делает для нас очевидным то, что меняется и уже изменилось в современном мире».

Меняется, конечно, в первую очередь мышление. И теперь далеко не все, что нам непонятно, непривычно и даже неприемлемо, мы с порога объявляем чуждым, вредным. Стремимся сначала разобраться. Вот сейчас, например, разбираемся в творчестве Сальвадора Дали.

Аржиле проводил меня до дверей замка и сказал: «Я пойду прилягу. Извини». К воротам мы пошли с Клодией и стареньким псом по имени Пип. «Клодия, — спросил я, — а в этом замке есть привидения?»

Она подумала и сказала: «Конечно, как и во всяком замке. Только здесь они хорошие, несмотря на то, что в его истории было немало трагического. Иногда, когда я работаю в подземных залах музея, слышу, как наверху кто-то танцует, как бегает по лестнице и смеются дети. А между тем знаю, что я здесь — одна...»

Пип, вильнув хвостом, помчался обратно к замку. С крыши на аккуратно подстриженный лужок скатывалось озорное весеннее солнце. Хорошие привидения в закоулках замка готовились к вечернему балу. Может быть, среди них была и Анна Русская...

С Анной мне пришлось «встретиться» еще раз в Рей-

мсе, в храме, в котором короновались на царство все французские короли. Мне рассказали, как в этот храм во время поездки по Франции зашел Петр Первый. Ему настоятель показал древнюю Библию и объяснил, что именно на этой книге короли присягали на верность Франции. Но добавил, что не знает, правда, на каком языке она написана. Петр посмотрел, увидел знакомую старославянскую вязь и в голос захохотал: «Так это ж по-русски!» Выяснилось, что книгу в Реймс привезла Анна Ярославна...

В этот город, однако, привела меня не тяга к историческим памятникам...

Там, в этом небольшом, но славном городе провинции Шампань, должна была состояться церемония, несомненно, историческая, по крайней мере для его самых молодых жителей.

Лил дождь, я опаздывал, и от искушения поднажать на педаль газа удерживала только мрачная статистика автокатастроф, которую сообщал в перерывах между модными шлягерами диктор французского радио.

На окраине Реймса у бензоколонки под зонтиком стоически дежурил молодой человек с плакатиком на груди: «Жду советских и американских детей — участников Недели мира в Реймсе». Подъехали еще две машины — советская и американская семьи. Человек с плакатом уселся в свой мини-автомобиль и показал нам жестом, в значении которого можно было не сомневаться: «Пожалуйста, следуйте за мной, и побыстрее — вас давно ждут».

Дождь, к счастью, кончился. Мы подъехали к зданию военно-исторического музея, где 7 мая 1945 года была принята капитуляция вермахта на Западном фронте. (Потом ее пришлось принимать еще раз, по всем правилам, в присутствии советского командующего Г. К. Жукова, и поэтому мы с Западом по-разному празднуем Дни Победы — они 8 мая, а мы — 9 мая.) Улицу перегородили дети. В руках у них разноцветные надувные шарики и флажки с одним словом «Мир» на трех языках — русском, английском и французском.

Познание мира у ребенка начинается с игры. Дети с незапамятных времен играли в войну, потому что война была всегда. И в военных играх проверялись мужество, отвага, ловкость будущих воинов. И сама война

становилась символом этого мужества, символом доблести. Но дети никогда раньше не играли в мир.

...Когда ООН объявила Год мира, в Реймсе мало кто знал об этом. Мишлен Левер, директор школы, ученики которой собрались в музее на церемонию открытия Недели мира, тоже узнала об этом случайно. И не могла успокоиться. «Нам всем надо что-то сделать, чтобы отметить Год мира», — говорила она. Ее слушали вежливо, но не более того. Тогда она показала в школе фильм о ядерной войне.

«Это было удивительно, — рассказывает преподаватель школы, один из активистов французского движения за мир — Ж. Ледофэн. — Дети перестали играть в войну. Они стали играть в мир. Я никогда не думал, что у них может быть столько выдумки.» Отец Ледофэна был замучен фашистами в Заксенхаузене. Он знает, сколь ужасны войны, и много думал о том, как передать это ощущение детям. Ребенок как воск, из него можно вылепить что угодно. А что получается, когда во всех магазинах, в том числе и в маленьком Реймсе, продаются импортируемые из США игры под названием «Убей русского! Убей вьетнамца, кубинца...»

Взрослые... Их много в музее вместе с детьми. Рабочие, служащие, мелкие лавочники, в основном народ трудящийся, не избалованный удачами жизни. Я всматривался в их лица и думал, сколько же они потратили времени и труда, чтобы все же пришла в Реймс Неделя мира. Это было нелегко. В некоторых школах директора наотрез отказывались в ней участвовать. «Это все коммунистическая пропаганда», — говорили они. На стене музея карта Европы. Вспыхивает красная неоновая линия фронта, подошедшая к самой Москве. Она отодвигается все дальше и дальше на запад, пока не останавливается у Берлина. Экран гаснет, и Мишлен Левер берет слово:

— Дети! Прошло уже свыше сорока лет с тех пор, как перестала гореть земля Европы, потому что ваши отцы и деды залили пожар войны своей кровью. Мы собрались сегодня здесь, чтобы эта трагедия никогда больше не повторилась...

К микрофону подходят советские ребяташки — Иван и Ольга, американские — Андреа и Джефф, французские — Мишель и Нанси. Они произносят клятву мира.

На длинных полосках бумаги пишут свои имена. Потом свертывают в кольца эти полоски, вдевая их одно в другое. Это маленькое звено соединяют с длинной цепью, на которой — сотни имен юных жителей Реймса. Цепь бумажная. Ее легко порвать. Но в ней символика непрочнейшей связи, связи детской клятвы никогда не воевать друг против друга.

Дети клянутся в верности миру. Каждый по-своему. Нанси, смешная девчушка с веснушчатым носиком, читает свои стихи:

Зачем война? Зачем?  
Зачем ружья прицел?  
«Нет!» — скажем мы войне,  
А миру скажем: «Да!»

Нанси сменяет Мишель. Смущаясь, читает свои стихи. За ним еще и другие юные поэты и поэтессы. Пусть безыскусны, бесхитростны их стихотворения, главное — они идут от души. А если в душе ребенка поселились такие вот строки: «Когда мы скажем «прощай война!», мы скажем прощай и оружию, и голоду, и жестокой смерти, оставляющих детей без родителей и их любви», это, согласитесь, на всю жизнь...

Под сводами музея хор жителей Реймса — старики и их дети, и дети их детей — поет песню на слова Пабло Неруды «Мир еще не рожденным!». Взлетают в небо Реймса разноцветные надувные шарiki. Дети прикрепляют к ним свои «послания мира».

Мы идем к школе по тихим скромным улицам реймской окраины за самодеятельным оркестром. Маленький барабанщик, точь-в-точь из моего пионерского детства, вышагивает по мокрой брусчатке под собственную дробь и переливы горна. Горн и барабан будят сонный Реймс. Люди выглядывают из окон домов, из кафе, спрашивают, что происходит. «Ничего особенного, — говорит какая-то женщина своей соседке, — дети играют в мир...»

На стене школьного двора прикреплен кусок картона с разноцветными линиями, помеченными начальными буквами латинского алфавита. У стены — ведерки с такими же буквами. Дети кидают мяч, стараются попасть в ведро с надписью «В». От «А» идет красная линия. На ней нарисованы взрывы, убитые, раненые. Это —

война. Мяч попадает на букву «В». Детский голос поясняет: «Это голубая линия. Линия переговоров».

Летят шарники над Реймсом. Летят мячи в ведерки у школьной стены, где играют в мир французские, советские и американские дети. Они решают сложнейшие вопросы современности запросто, еще не подозревая, сколь велика их сложность. Они вырастут. И может быть, именно им предстоит решать многое из того, что перейдет им в наследство от взрослых. От нас, взрослых, они просят сейчас одного — оставить им мир. «Мир — это так прекрасно, — говорит мне Мишель. — Это как канкулы».

Допоздна мы просидели в старой школе, отвечая на детские и не совсем детские вопросы ребятишек Реймса. Так всегда при встречах с нами, советскими. Мы для французов все-таки остаемся, как говорили древние, «терра инкогнита» — неведомой землей, непонятной системой и незнакомым народом.

Тут надо «наводить мосты», искать понимание, и поэтому, даже когда бываешь занят до предела, редко откажешь в ответ на просьбу приехать к людям и поговорить с ними о нашем с вами житье-бытье, о том, что мы за люди, советские, а во Франции все же говорят чаще — русские...

## У КОММУНИСТОВ БРЕТАНИ

В Бретань лучше ехать летом, когда там не так буйствует «роза ветров», в «лепестках» которой неистово сталкиваются южный и северный, меняя погоду по несколько раз в день. Но позвонил Жан Бюар из федерации ФКП департамента Кот-дю-Нор, одного из пяти, входящих в географическое понятие «Бретань», и пригласил в Могону, пригород Сен-Брнё, столицы департамента, на диспут «Поговорим о социализме».

Бретань — район интересный. Клубок проблем, из которого многие нити тянутся еще в древние времена, с каждым годом запутывается там все больше. Буйная ее история, многочисленные мятежи и бунты против сменявших друг друга правителей и правительств Франции (Бретань окончательно вошла в ее состав лишь в



1532 году, но долго сохраняла свой парламент и определенную самостоятельность, которую полностью утратила только после Великой французской революции 1789 года) в наше время питают и движение за автономию, и сепаратистское движение бретонцев, потомков кельтов.

В 1972—1978 годах в Бретани проходили громкие процессы по делу о боевиках подпольной «революционной бретонской армии» — военной организации национального Фронта освобождения Бретани. Более широкий фронт — Демократический союз бретонцев, в который входят различные левые организации, в 1974 году подписал «Декларацию борьбы против колониализма в Европе» вместе с движениями за освобождение Северной Ирландии, басков, каталонцев и других. Официально объявленная цель союза — «социальное и национальное освобождение бретонского народа».

Осталось, однако, этого народа во Франции, да и в самой Бретани немного. По переписи 1982 года 700 тысяч человек. А сколько из них говорят по-бретонски? Язык этот медленно умирает, несмотря на все попытки энтузиастов сохранить его, вытесняется официальным французским.

Умирают и многие традиционные ремесла и профессии. Соглашения, регулирующие производство сельскохозяйственной продукции и рыболовство в рамках «Общего рынка», привели к разорению многих фермеров и рыбаков, а это как раз главное занятие именно бретонцев. А тут еще напасть за напастью — то один, то другой танкер выливает нефть в море. И все — на пляжи, на устричные поля, на богатые рыбой отмели... Научно-технический прогресс лишил работы тысячи людей в городах. Результат? В Бретани, где проживает всего 5 процентов населения Франции, безработица выше средней по стране и достигает 12 процентов. Для Бретани это особенно тяжело — семьи здесь, как правило, многодетные. Даже традиционный «отходный промысел» — уход на заработки в район Парнжа уже не помогает, ибо теперь и там работу найти не легче. А в Бретани народ живет гордый, руку за подаянием не протянет. Вот и социальная подоплека одного из страшных показателей французской статистики — в Бретани самый высокий в стране уровень самоубийств.

Мчась по скоростному шоссе, судьбу людей не распознаешь. Но о ней говорят заколоченные либо просто брошенные, полуразвалившиеся фермы, отчаянные лозунги на стенах остановившихся заводов и фабрик: «Дайте нам право на труд!»

...Ураган, прорвавшийся из Англии через Ла-Манш, обрушился на Бретань дождем и градом как раз в тот момент, когда я подъезжал к Сен-Бриё. На его узких улицах, сохранивших средневековый облик, было пустынно. Лишь у старинного собора в центре города стоически держались под холодным ливнем приглашенные на чью-то свадьбу гости. Но, как только невеста нырнула в черный свадебный лимузин, площадь перед собором тоже мгновенно опустела.

Свернул в первый попавшийся проулок и по нему выбрался на улицу Сен-Пьер. На доме номер 8 через весь фасад шла надпись: «Федерация ФКП».

По нашим меркам — райком партии. Но помещение небольшое, а штатных сотрудников можно пересчитать по пальцам одной руки. Куда больше помощников добровольных, таких энтузиастов, как Жан Бюар.

— Клод ле Тено, секретарь федерации, — протягивает руку крепко сбитый, седеющий человек лет пятидесяти. — Готовы к нашему диспуту?

— А что, предстоит жаркая дискуссия?

— Придут люди, — говорит Клод, — у которых отношение к СССР доброе. Но вопросов зададут много, потому что не всем удастся разобраться, где правду о вас пишут газеты, а где врут.

На следующее утро мы уже были в Могоне. Зал полон, а люди идут и идут. Кому не досталось стульев, усаживаются на полу, устраиваются в проходах. Формальностей здесь не признают.

К микрофону подходит первый секретарь федерации ФКП Кот-дю-Нор Жак Куанар и говорит, словно продолжая давно уже идущую беседу:

— Ну что ж, давайте теперь поговорим о социализме. Поговорим, каков он в своем развитии. О его первых шагах, проблемах, успехах, ошибках. Ведь с Октября 1917 года социализм перестал быть мечтой, стал реальностью. Больше миллиарда людей живет сейчас

в мире социализма. А у нас во Франции буржуазная пресса до сих пор пытается изображать его как «империю зла».

— Коммунисты Франции, — говорит Жак, — отвечают на эту «войну» против социализма борьбой за права трудящихся, борьбой идей. Мы не собираемся копировать чью-то модель, ибо намерены идти к социализму путем, наиболее подходящим для Франции. Но считаем своим долгом изучать опыт социалистических стран. Нас радуют те перемены, которые происходят в СССР сегодня, нам нравится эта «революция в революции». Поддерживаем на сто процентов и предложения Горбачева о мире и разоружении. Если кто-то здесь другого мнения, пусть выскажется. Чем больше будет вопросов о том, что такое социализм, тем понятнее станет его суть.

— Мы видим сейчас в СССР социализм в действии, в динамике, — говорит доктор Коэн, французский ученый-марксист, в своей «вводной» к диспуту. — То, что там происходит, чрезвычайно важно. Смотрите, за какой короткий срок в политический словарь планеты вместе со словами «большевик», «спутник» вошли такие слова, как «перестройка» и «гласность». Понимаем их без перевода. За короткий срок в СССР стало больше демократии, больше социальной справедливости. Мы, французские коммунисты, воспринимаем это с гордостью за своих советских друзей.

Народ в Бретани дотошный. Заставить его поверить на слово трудно. К диспуту тут, видно, хорошо подготовились, и поэтому вопрос следует за вопросом. Если социализм успешно решает социальные проблемы, то как обстоят дела с обеспечением гражданских прав, личных свобод? Как, например, живет верующим? А что это за Закон об индивидуальной трудовой деятельности? Это не возврат к капитализму? Вы считаете, что нет? А уверены, что не возродится психология мелкого собственника и не отравит сознание вашей молодежи? Вы пишете в своей печати, что кое-кто держится за старые привилегии. Поясните, как это может совмещаться: коммунист и привилегии? Не воспользуются ли враги социализма демократизацией вашего общества, чтобы активизировать подрывную деятельность? Выборы директоров? Во Франции такое даже присниться не может. Перестройка для нас тоже боль-

шая надежда. Надежда на то, что авторитет социализма поднимется еще выше. Но часто нас спрашивают: а в Советском Союзе не может быть поворота назад? Ведь бюрократы — как хамелеоны. Они перестроиться могут для вида, чтобы потом пошло все по-старому. Как считаете, есть у вас такая опасность?

В этих вопросах и стремление лучше понять, что делается в СССР, и забота о судьбах социализма, нашей революции, дорогой для простых тружеников всего мира. На таких встречах начинаешь четче осознавать, сколь велика наша ответственность как перед историей, так и перед настоящим и будущим. По нашему опыту, по тому, добьемся ли мы успеха, целые поколения будут судить о жизненности социализма.

...Диспут заканчивается, но люди не расходятся. Споры продолжаются в небольших группках. Приглашенных ораторов окружают человек по 10—15, и диспут идет уже в этих «кружках». Затем он выплескивается на улицы Могона, а потом идет у домашних очагов Сен-Бриё и его пригородов.

Жена Жана Бюара качает подвешенную к потолку колыбельку, укачивая маленького. Послеобеденный сон наконец одолевает его, и он затихает, только время от времени причмокивая губенками с зажатой между ними соской. Старшая дочка, подражая маме, укачивает свою куклу и, поглядывая на братика, аккуратно поправляет игрушечную соску. Мы с Жаном сидим у огня, и он с гордостью рассказывает мне о том, как сам строил этот дом почти на пустом месте, несколько лет подряд. Зато теперь это настоящий дом, который перейдет после него по наследству его детям, внукам и правнукам. Какой-то тогда будет Франция, каким будет наш Советский Союз? Мы спорим с ним, продолжая диспут в Могоне уже один на один. Потом, когда пришла мне пора уезжать, я прощаюсь со всеми, и мы едем с Жаном на побережье. Атлантический океан неспокоен. Вспененные валы накатываются на прибрежные скалы с неистовой силой, и кажется чудом, что на одном из прибрежных островков мирно светит мощный маяк.

— Знаешь, как мы между собой его называем? — говорит Жан, показывая на мерцающий огонь. — «Октябрь». В честь вашей революции...

Моим спутником в поездке на Корсику оказался Владимир Джанибеков. А у космонавтов, как всегда, мало времени. Вот почему я взял билет на самолет, а не воспользовался паромом.

Жан Рабате из «Юманите» с трогательной заботой погрузил нас в аэропорту Орли на рейс Париж — Аяччо. Вместе с нами через металлодетекторы аэропорта проходили итальянские туристы. «Джованни! — кричал один из них провожающему, перегнувшись через стойку компании «Эр-Энтер». — Это правда, что Наполеон родился в Аяччо?»

«Правда, правда. Все великие корсиканцы родились в Аяччо...»

«Джованни, а если я буду говорить по-итальянски, меня поймут?»

«Поймут. Только не забудь, что говорить там надо не «Буона сера!» («Здравствуйте!»), а «Бьюена зерра»...

Джанибеков повторил, чтобы не забыть: «Бьюена зерра»...

«Ариведерчи!» — крикнул парижанин Джованни.

...Стюардесса никак не хотела умолкать и продолжала сыпать цифрами вплоть до самой посадки. По ее рассказу получалось, что этот небольшой остров в 160 километрах от Франции площадью около 8,7 тысячи квадратных километров постоянно кто-нибудь завоевывал. Впрочем, вся история Средиземноморья выбита на гранитных скрижалях корсиканских гор.

Примерно за двенадцать веков до нашей эры здесь поселились иберийцы и кельтско-лигурийские племена. Лет через триста сюда пришли жить этруски, затем торговались финикийцы, карфагеняне, римляне, другие завоеватели. В XI веке уже нашей эры Корсика перешла под власть архиепископа Пизы, а с 1347 года — Генуи. С небольшим перерывом генуэзцы управляли островом, жестоко подавляя многочисленные восстания, вплоть до 1768 года, когда был заключен Версальский договор, по которому Корсика отошла к Франции. Всего на два года это право вырвал у Парижа английский король Георг III, но со времени Консульства Корсика уже накрепко привязана к Франции. Борьба за независимость

тем не менее не была забыта. Разве только что во время войны, когда Корсика стала одним из крупнейших очагов французского Сопротивления. Немцы так и не смогли оккупировать весь остров — только кое-где сумели установить дзоты. И до сих пор их развалины уродуют побережье.

После войны корсиканские сепаратисты взяли на себя ответственность за ряд, как их квалифицируют официальные справочники, «насилованных акций». В 1978 году их было 379, в 1980-м — 463, в 1982-м — уже 715. В середине 80-х волна терроризма пошла на спад. А с 1989-го опять загремели взрывы.

— Пинсунти! — процедил презрительно нам вслед хозяин сувенирной лавочки, у которого мы не купили ни одного Наполеона — они были у него выставлены по росту на всех полках — от самого миниатюрного, размером со спичечный коробок, до поясного бюста. На корсиканском наречии это словечко означает «иностранец». К этой же категории в равной степени относят и французов, если только те не живут на острове.

— Это — русские, — примирительно пояснил хозяин соседней лавочки, где продавались длинные ножи, с помощью которых, согласно традиции, следует сводить счеты с обидчиками по законам корсиканской вендетты. — Их привезла дочка Морелли...

Элен Рабате, жена Жана Рабате, в девичестве Морелли, сразу из аэропорта привезла нас к музею Наполеона, объясняя по пути, кто, когда и почему именно в таком виде — то римского консула, то генерала, то небожителя — изобразил в графике и бронзе великого корсиканца, ставшего теперь неотъемлемой частью всех центральных площадей Аяччо. Города, где, кстати, ни его, ни его семью при жизни не любили, но зато обожествляли после смерти.

Дом номер 1 на площади Летиция — дом Наполеона — закрывает теперь двери только на ночь. Поток туристов не иссякает. Они дружно раскупают открытки, бесхитростные книжечки, повествующие о любви Бонапарта и Жозефины, о наполеоновских походах времен Великой французской революции и после нее, наконец, о его финальных «ста днях». Портреты, скульптуры, оружие начала XIX века, старые, потрескавшиеся и по-

желтевшие от времени зеркала. Гиды в музее удивительно похожи на своего венценосного соотечественника. Может быть, они и впрямь из одного с ним клана? Ведь до сих пор живы многочисленные потомки Наполеона. На генеалогическом древе во всю стенку музея — великое множество его праправнуков и прочих родственников. Корсиканская кровь смешалась с таким количеством «пинсунти», что от императорских генов мало что осталось. Одна веточка на древе тянется и к России. Пьер Бонапарт, родившийся в 1908 году, прямой потомок сестры Наполеона Элизы, в 1939 году женился на Ирине Александровне Овчинниковой, маркизе де Монлеон. Брак, судя по всему, был бездетным.

Интерес к личности Наполеона велик и с течением времени не ослабевает. Его жизнеописанию посвящены тысячи книг. Изданный во Франции в 1986 году «Словарь Наполеона» составляли 205 историков под руководством ведущего специалиста по этой части Жана Тюлара. В словаре 1763 страницы, 15 тысяч статей, 17 миллионов знаков...

Чем же объясняется интерес обывателя к особе императора, давным-давно скончавшегося на острове Святой Елены? Многие приписывали ему исключительную заслугу в создании основ правового государства во Франции, в первую очередь гражданского кодекса, известного как «кодекс Наполеона». Но в наше время это авторство оспаривают. В основу кодекса, названного его именем, легли, оказывается, труды известного французского юриста Потье, немного не дожившего до взятия Бастилии, а потом уже и труды адвокатов, современников Наполеона, которые разрабатывали новые законы после революции. Не было бы ее — не было бы и «кодекса Наполеона».

В связи с 200-й годовщиной революции интерес к Наполеону Бонапарту вырос, как и число туристов в Аяччо. Миф о «маленьком капрале», символизирующий возможности простого смертного — подняться от капрала до императора, — заманчив. У историков же этот интерес академичен. В поисках истины они развенчивают мифы. По мнению многих из них, Наполеон не был великим полководцем. Он мог выиграть — и часто выигрывал — локальные сражения на площади до нескольких сот гектаров и продолжавшиеся несколько

часов. Но длительные кампании (в Испании, в России), как и многодневные сражения, чаще всего проигрывал. Тут его известный принцип «ввяжемся в бой, а там посмотрим» уже не срабатывал. Для Франции его авантюры обернулись такой трагедией, от которой она долго не могла оправиться демографически. В период с 1803 по 1815 год в наполеоновских войнах было потеряно около 1,5 миллиона французов, то есть примерно столько же, сколько в первой мировой войне 1914—1918 годов. Наполеон, получивший за это еще одну кличку — «Людоед», как выясняется сейчас, внутренне презирал французов, считая их пушечным мясом, и только. Он обескровил Францию, опустошил ее деревню и поставил экономику страны на грань краха.

И все же его чтят вот уже около 200 лет...

Неписаная традиция Корсики: если тебе хотят оказать уважение, показать, что доверяют, то приглашают в свой дом. Не обязательно на обед или ужин. Даже просто испить воды.

Уже смеркалось, когда Элен привела нас к своему дому у порта. Два гигантских парома, светясь всеми огнями, вбирали в свои чрева потоки автотуристов.

Мы сидели на старинных стульях, смотрели на тлеющие уголья декоративного камина и пили из фарфоровых чашек минеральную воду.

— Завтра поедем в горы, в Боконьяно, — сказала Элен.

— Там родился кто-нибудь из великих корсиканцев? — спросил я.

— Там родилась я, — рассмеялась Элен.

...Боконьяно расположился в долине между двумя хребтами. Дома вдоль горной дороги стояли гнездами — три-четыре, пять-шесть, кое-где по десятку и больше. На вопрос, как называется деревня, возникавший всякий раз с появлением домов вдоль обочин, Элен отвечала:

— Боконьяно.

И поясняла:

— Просто разные амó. (Клан, где все родственники, пусть иногда даже совсем дальние. — В. Б.)

Амó из шести домов, в котором родилась Элен, расположилось у самого хребта. Под огромными каштана-



ми нас ждал Антуан Жозеф Морелли — крепко сбитый старичок с загорелым, обветренным лицом, на котором белели разбегающимися лучиками морщинки у глаз — признак доброго и веселого нрава. Элен обняла отца.

— В дом, в дом, — позвал он.

Такие дома из камня и горного каштана здесь строят на века. С таким же расчетом ставил свой очаг и старик Морелли, вырубив остов камина из 120-килограммовой гранитной глыбы. Все здесь сделано его руками.

— Когда-то я работал на почте в Париже, но все свободное время тратил не на кино, не на кафешантаны, а смотрел, как люди работают. И учился у них, — рассказывает он. — Смотрел, как камень кладут, как вставляют стекло, как прокладывают трубы. Пила, рубанок, долото, сверло, мастерок, напильник — все эти инструменты для меня, как для вас, журналистов, перо...

У него были только участок земли здесь, в Боконьяно, и мечта выйти на пенсию и начать строить свой дом. Строил он его почти десять лет. Ни у кого нет такого — ни в их амб, ни в соседних. Даже старое колесо от телеги папаша Морелли ухитрился приспособить под столик в своем саду. Золотые руки! Сколько можно делать такими руками, когда человек, как хозяин, работает на своей земле, для своих детей, внуков, правнуков! Во Франции, кстати, и не только на Корсике, — это традиция. Создается из поколения в поколение семейная собственность, семейный капитал, который помогает потомкам и жить лучше, и выжить в трудные времена.

Пока старики Морелли хлопотали, готовя для гостей семейный чай, Элен повела нас вниз, к ручью, где виднелась старая водяная мельница. Горная тропинка вилась вдоль отвоеванных у камня участков с изгородями из ежевики, над которыми раскинули свои кроны каштаны и грецкий орех. Мельницу в Боконьяно — а она работает — держит Жан Бонелли, двоюродный брат Элен. Досталась она ему по наследству, но проку в этом никто не видел: давно уже перестали здесь сеять хлеб. А Жан наладил производство питательной муки из каштанов, потом стал показывать мельницу тури-

стам за небольшую плату. На Корсике, где уровень безработицы в полтора-два раза выше, чем в материковой Франции, без выдумки не проживешь.

Наш визит естественно в тайне ни от кого не мог остаться и к вечеру стал делом общим. В небольшом ресторанчике, чем-то напоминающем вагончик строителей, стоял длинный стол, во главе которого усадили Владимира Джанибекова, и все вновь прибывающие сразу же подходили к нему и знакомились. Я едва успевал записывать в блокнот имена: Андре, Даниэль, Жан, Франс, Мари, Франсин, Жюль Люсьен Шарли Клер (вот какое длинное), Франсуа, Ненет, Сюзан... А родственники все приходили и приходили.

Поначалу беседа не очень клеилась, но всех выручил жук-богомол, который выполз неизвестно откуда и вышагивал по стенке, покачивая своей зеленой головкой, будто прислушиваясь к голосам нашего застолья. Все принялись бурно обсуждать, что делать с богомолем: то ли выгнать, чтобы, не дай бог, не упал кому в бокал или в тарелку, то ли оставить, так как вроде когда он в доме — это хорошая примета.

Джанибеков пошутил:

— Может, оставить? Вот ведь как он нас внимательно слушает, зелененький! А что, если прилетел с другой планеты?

Смех прорвал шлюз всеобщей сдержанности. Вопросы посыпались один за другим.

— Жан-Лу Кретьен опять готовится в полет? С вами полетит снова или с кем другим?

— На этот раз, увы, не со мной. А я бы с ним полетел с удовольствием...

— Он у вас так давно... Наверное, уже и от хлеба нашего отвык...

— А вы знаете, — сказал Джанибеков, — мы брали с собой в полет французский хлеб. Попробовали его в космосе. А потом долго крошки собирали — они разлетелись по всей кабине. Невесомость...

\* \* \*

Космонавт берет корзиночку для хлеба, которая в его руке становится нашей планетой, и, ловко поворачивая ее вокруг собственной оси, свободной рукой дви-

гает вдоль нее солонку, изображающую орбитальную станцию. Он говорит, и мы все вместе — хозяева и гости — видим нашу Землю с космической высоты. Она такая красивая. И маленький ресторанчик на высоте двух тысяч метров в корсиканском горном селении Боконьяно будто по мановению волшебной палочки превращается в орбитальную станцию. И мы все в ней, как в одном полете, и поэтому судьба каждого — это судьба всех.

# Глава 4

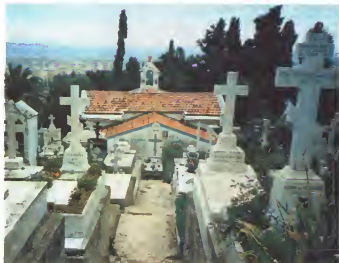
«Круглый стол» с художниками-эмигрантами.



# "ТОВАРИЩИ ЭМИГРАНТЫ И ГОСПОДА СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..."



Л. Варигина беседует с Чрезвычайным  
и Полномочным Послом СССР во Франции  
Л. П. Рябовым. Апрель 1987 года.



Русское кладбище в Ницце.



Могилы генерала Н. Н. Юденича в Ницце.



Русский храм в Ницце.





Церковь Пресвятой Богородицы в Сент-Женевьев-де-Буа.



Могила И. А. Бунина и его жены на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.



Мемориал белого генерала М. В. Алексеева.



Могила Д. Мережковского и З. Гиппиус.



Здесь похоронен С. Лифарь.



Памятник белым армиям. Он был воссоздан во Франции как точная копия того, который стоял в Галиполи и был разрушен землетрясением.



Могила В. Н. Некрасова.



Могила А. Галича и его жены.





Мы как-то привыкли, что в статьях и книгах об эмиграции, особенно о ее отношении не просто к нашей общей исторической Родине — здесь вроде все ясно, а к Советскому Союзу конкретно, автор уже в первых строках делит разношерстную массу наших зарубежных соотечественников на «чистых» и «нечистых», на тех, кто с нами, и тех, кто против нас. Привычка эта столь сильна, что на одной встрече с зарубежными русскими интеллектуалами один наш «представитель» к ним обратился так: «Дорогие товарищи эмигранты и господа соотечественники!» При всей кажущейся правомерности такого деления проблемы современной эмиграции куда сложнее примитивных и стереотипизированных схем. Отказаться же от стереотипов, как нас к этому ни призывают, бывает нелегко. Часто это куда труднее, чем выкинуть старые, изношенные, но... притершиеся, по ноге, туфли. При всей своей интеллектуальной убогости стереотип удобен уже потому, что позволяет самое сложное явление объяснить на пальцах и освобождает от необходимости мучиться гамлетовскими вопросами.

Жизнь, однако, вопросы эти ставит едва ли не ежедневно. И хорошо, что мы, потихонечку привыкая к новому, самостоятельному мышлению, учимся на них отвечать. Не знаю, как бы мы выглядели без школы перестройки в те дни, когда буквально вся эмиграция, все те гуманитарные организации, которые у нас, бывало, числились в списках «подрывных» и «антисоветских», пришли с предложениями помощи Армении после того, как там стихия унесла десятки тысяч жизней, а сотни тысяч человек оставила без крова над головой. Я наблюдал в Париже, как советские дипломаты, среди которых были и армяне, и азербайджанцы, и русские, быстро, без каких бы то ни было дипломатических хитростей и уверток, договаривались в те дни о помощи Армении даже с теми лидерами армянских организаций, которые буквально вчера еще выходили на демонстрацию к стенам нашего посольства. Беда сблизила, научив кое в чем политической мудрости и нас, и их.

Но только ли беда лучший учитель? Не слишком ли

дорого обходились в прошлом для нашего национального самосознания удары клювом поговорочного «жареного петуха»?!

Отношение наше к эмиграции долгое время не было сбалансированным. Это объясняется и историческими обстоятельствами со всеми входящими в это понятие «перегибами», и нашими национальными особенностями. Мы часто говорим, что Родина — мать. Мать жалует всех своих детей, даже заблудших, и всегда готова их простить и принять со всеми заблуждениями и слабостями. Мы же своих соотечественников, оказавшихся за рубежом, могли либо люто ненавидеть, либо попросту их игнорировать. Но вот любить... или хотя бы просто воздавать по заслугам как-то не научились. Долго довлел над нами весьма своеобразный комплекс брошенной жены: «Раз ушел, значит, уже подлец, а не вернулся — подлец вдвойне». Только сейчас, постепенно преодолевая образ врага, в котором до недавнего времени для нас представлял едва ли не любой иностранец, мы снисходительно признали, что воссоединение семей — это чаще всего нормальная человеческая потребность. Мы согласились, что, ну хотя бы теоретически, можно выйти замуж по любви за иностранца или жениться на иностранке. (По этим причинам, кстати, только во Франции сейчас живут постоянно 2600 наших соотечественников, сохраняющих гражданство СССР.) Но даже теперь в применении к той части иностранцев, в которой числятся наши соотечественники за рубежом (а их много, только в Париже около 10 тысяч человек, а во Франции остальной — еще около полумиллиона только русских. Всего же за рубежом — около 20 миллионов тех, кого мы именуем «соотечественниками»), образ врага преодолевается у нас, с одной стороны, как-то весьма неохотно, а с другой — с горячностью все той же брошенной женой: «Вернись, я все прощу!» Часто мы зовем вернуться тех, кто никак этого не хочет по причинам, о которых еще пойдет у нас речь впереди, а тех, кто хотел бы и мог вернуться, более того — нужен нам сейчас, иной раз отталкиваем. Но главное, пожалуй, в другом. Мы никак не можем спокойно воспринять тот факт, что русская эмиграция (часто в это понятие за рубежом включают едва ли не всех эмигрантов из России) существует вне СССР сама по себе, как самостоятельная этническо-

политическая общность, вобравшая в себя все три волны эмигрантов (послереволюционную, послевоенную и «застойную») и их потомков, и, что бы мы ни думали по этому поводу, в ближайшем обозримом будущем с советским обществом не сольется. Она будет жить по своим правилам, обычаям и законам и впредь. Но от нас в значительной степени зависит, будет ли она по отношению к СССР враждебной, нейтральной или же дружественной. Истина вроде бы и азбучная, но ее необходимо наконец признать и понять, как это поняли, и давно, в Китае, поделив китайцев на граждан КНР и «хуацяо», то есть зарубежных китайцев, которым Пекин не навязывает ни коммунистическую идеологию, ни китайское подданство. У нас же то любовь переходит в ненависть, то наоборот, а ровного и цивилизованного отношения к своим же братьям по крови, увы, нет. Я уверен, что мы со временем и этому научимся. Но учиться надо уже сейчас...

Дорога № 6 за несколько километров от Парижа распадается надвое. Новая автострада № 11 ведет на Лонжюмо, где до революции В. И. Ленин и Н. К. Крупская организовали партийную школу для большевиков, а оттуда — на Шартр и Нант, к Атлантике. Старая — на Лион, к Средиземному морю. Если ехать по шестой на юг, примерно через полчаса увидишь указатель поворота на городок Сен-Женевьев-дю-Буа. Он ничем особо не примечателен, кроме «русского православного кладбища». Первые могилы появились там в 1927 году. Поэт Роберт Рождественский написал о них:

Здесь похоронены  
сны и молитвы,  
Слезы и доблесть  
«Прощай!» и «ура!»  
Штабс-капитаны  
и гардемарины.  
Хваты-полковники  
и юнкера.  
Белая гвардия.  
Белая стая,  
Белое воинство,  
Белая кость.  
Влажные плиты  
травой зарастают.  
Русские буквы.  
Французский погост...

Да, в основном тут белая кость. И не какая-нибудь

захудалая, а отборная. Уцелевшие Романовы — князя Гавриил, Андрей, Владимир. Князя Юсуповы — в том числе и сам Феликс Юсупов, организатор убийства Распутина, князя Гагарины, Голицыны, Оболенские, графы Зубовы, Вырубовы, Татищевы. Рядом с ними — потомки Радищева и Пушкина, Сумарокова и Одоевского.

Могилы белой гвардии выстроились в последнем каре вокруг святыни белого движения — копии Галипольского мемориала, разрушенного в 20-х годах землетрясением в Румынии. Галиполийцы, донские артиллеристы, Русский кадетский корпус, казачьи полки. Памятники — «Корнилову и всем корниловцам», Деникину, Колчаку, Врангелю, Алексееву, Маркову... Как в учебнике истории — имена за рядом ряд, даты, знакомые по летописи гражданской... На памятнике дроздовцам выписка из последнего приказа начальника дроздовской дивизии генерала А. В. Туркула: «Севастополь, 2 ноября 1920 года. Покидая родную землю, храните память о 15 тысячах убитых и 35 тысячах раненых дроздовцев, проливших кровь свою за честь и свободу Отчизны. Этим жертвам мы неразрывно связаны с Родиной...»

Надолго порвалась эта связь у «русской диаспоры». Первые годы они еще ждали, верили, что возвращение в родные края не за горами. Но время шло, и они, наблюдая из парижского далека за событиями в Советской России, все отчетливее осознавали, что лишь на одной небольшой полоске земли их всегда готовы принять такими, какими они были, — на русском кладбище в Сен-Женевьев-дю-Буа.

Другой мир. Вроде бы и русский, но, кажется, нереальный. Когда на могиле белогвардейского полковника я увидел исхудавшего до прозрачности человека в махровой панамке, который, ни к кому не обращаясь, сказал: «Я здесь, господа, в гостях у своего начальника, полковника Анатолия Ивановича Кульнева...», я вдруг почти физически ощутил, что переступил какую-то невидимую границу, отделяющую реальный мир от потустороннего, что путешествую в давно прошедшем, в умершем, а раз так, то и мне необходим свой Вергилий, знаток загробных маршрутов...

Случай явил мне его совершенно неожиданно в лице председателя комитета русского кладбища Григория

Юрьевича Христофорова. Он сразу же сообщил мне, что воевал в армии Врангеля. Тогда ему было, видимо, не меньше 18 лет, а сейчас 1988-й. Значит, он — минимум ровесник века.

Ровесник века смотрел на меня пристальным и изучающим взглядом, поглаживая время от времени чисто бритую голову, словно проверял, не осталось ли где незамеченного «островка». Память у него ясная, мысль четкая, выправка сохранилась еще с тех офицерских времен... Воевал он не только во врангелевской, но и во французской армии против немцев. Потом был плен, затем отпустили к вишистам. А они не воевали. Кем только не работал... И во Франции, и в Алжире. Чаще всего таксистом. Трудно ли было? Трудно. Французы все же русских эмигрантов не признавали за равных. Столбовые дворяне, родовитые князья шли в привратники, в официанты, крупье, а то и просто в рабочие. Сколько их было?

Христофоров считает, что через Париж прошло примерно 140 тысяч русских эмигрантов. На источники он, понятно, не ссылается. В справочниках же такие цифры. В 1926 году население «русского Парижа» — главного центра послеоктябрьской эмиграции — составляло 71 928 человек. Со временем часть эмигрантов вернулась на родину, другие подались в Америку, иные страны. В Париже в начале 30-х годов оставалось 63 394 русских эмигранта. В основном это была интеллигенция. Всего же, по данным Нансеновской комиссии, к началу 30-х годов во Франции осело около 400 тысяч русских из 860 тысяч послеоктябрьских эмигрантов, то есть почти половина.

Эмигрантские «Последние новости», издававшиеся тогда в Париже, писали в апреле 1920-го: «Из России ушла не маленькая кучка людей, группировавшихся вокруг опрокинутого жизнью мертвого принципа, ушел весь цвет страны, все те, в руках кого было сосредоточено руководство ее жизнью, какие бы стороны этой жизни мы ни брали. Это уже не эмиграция русских, а эмиграция России...» Над этими строчками впоследствии, бывало, посмеивались — эка хватили! Россия-то осталась на тех же параллелях и меридианах, где извечно стояла! Да, осталась. Но, увы, без значительной части той интеллигенции, которая составляла ее законную славу. Далеко не все приняли революцию

сразу, безоговорочно, как Маяковский, Блок, Брюсов, Тимирязев. Не всех удержала на якоре любовь к родине, как Анну Ахматову. Не все решили вернуться, как Алексей Толстой и Александр Куприн, Марина Цветаева и Андрей Белый. Не найдя себе места в Советской России, предпочли эмиграцию Иван Бунин, Сергей Рахманинов, Федор Шалапин, поэты Константин Бальмонт, Игорь Северянин, Ирина Кнорринг, художник Коровин... Во Франции осталась целая плеяда писателей, к сожалению, на десятилетия вычеркнутых из русской литературы. К советскому читателю возвращались и сейчас возвращаются Евгений Замятин, Георгий Адамович, Алексей Ремизов, Георгий Иванов, Владимир Набоков, Иван Шмелев...

Придут еще и десятки других — поэты Владимир Злобин и Иван Савин, Владимир Смоленский, Георгий Раевский, Анна Присманова, Юрий Трубецкой, Дмитрий Кленовский, Анатолий Величковский, Иннокентий Анненский, Владислав Ходасевич, прозаики Владимир Варшавский, Яков Горбов, Сергей Шаршун, который к тому же был и известным художником...

С моим Вергилием-врангелевцем иду вдоль могильных плит русского кладбища в Сен-Женевьев-дю-Буа. У могилы балерины Ольги Преображенской мы останавливаемся, и Христофоров говорит: «Когда ваш балет (я отмечаю про себя это в кавычках «ваш») на гастролях здесь, кто-нибудь обязательно приходит к ней с цветами. Помнят...» А вот там, на другой аллее, поближе к центральной, в 1986 году похоронили Сергея Лифаря... Знаете его, конечно, наш балетмейстер из Киева...» («наш»...) «Французы... Особенно молодежь... Для них эти могилы что? Чужое, непонятное. Балуют, — ворчит Христофоров. — С казачьих могил потаскали георгиевские кресты на сувениры. Да и только ли это... А тут, посмотрите, какие люди лежат!»

Могилы балетмейстера А. Е. Воынина, танцевавшего когда-то со знаменитой Анной Павловой, балерин Кшесинской, впоследствии княжны Романовой-Кшесинской, В. А. Трефиловой, артистов МХАТа Петра Павлова и В. М. Греч. Запыленные надгробия над могилами художников К. А. Коровина, К. А. Сомова...

«Люди, понимаете, умирают, — говорит Христофоров, поправляя опрокинутый ветром цветочный горшок на могиле княжны Гагариной, — а следить за могила-

ми некому. А ведь это — наша история, ее хранить надо...»

Скромное надгробие И. А. Бунина. Даже памятника нет, а ведь он — первый русский писатель, получивший Нобелевскую премию в области литературы в 1933 году. Еще скромнее у писателей А. Ремизова и И. Шмелева. Лежат в одной могиле поэты «белой гвардии» и «черной ненависти» к нам — Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865—1941) и его жена — Зинаида Николаевна Гиппиус-Мережковская (1869—1945).

Да, мы можем упрекнуть их во многом, особенно Мережковского за его увлечение Пилсудским, Муссолини и Гитлером. Но можем ли мы их вычеркнуть из нашей литературы, отринуть их Слово? В феврале 1927 года в обществе «Зеленая лампа» (в XIX веке существовало такое же общество в России, и его собрания посещал А. С. Пушкин), объединявшем цвет русской интеллигенции в Париже, с докладом «Русская литература в изгнании» выступила З. А. Гиппиус. Она сказала (этот отрывок я привожу по книге Юрия Терапиано «Литературная жизнь русского Парижа за полвека») буквально следующее:

«Скажут, пожалуй: изгнание, эмиграция — это такие неблагоприятные условия, что нечего и ждать, кроме анабиоза. Но ведь и в России условия для процесса жизни не очень-то благоприятны. Мы их знаем. Рабство, нищета, насильническое вытравливание моральных ценностей, отрыв от общеевропейской культуры, беззаконие и несправедливость, — если эти условия положить на одну чашу весов, а на другую наши условия: чужая земля, сознание безродности, распыленность, трудность заработка и т. д., — не думаю, чтобы вторая перевесила. Даже, думаю, первая окажется тяжелее. Но чтоб не вызывать лишних споров, поставим между неблагоприятными условиями там и здесь знак равенства. Что ж, разве мы считаем, что Россия в анабиозе? Разве мы не приглядываемся жадно, какие там, в глубинах, происходят изменения, что дал людям в России их кандалыный опыт?

Опыты наши различны. Но ихний впоследствии пригодится нам, а им — наш. Ничья паника, что вот, мол, мы с ними разделены, на меня не действует: между нами — нерушимая связь. Одно разделение, впрочем,

я вижу и предлагаю его принять: это разделение труда. По тому же предмету нам задан судьбой один урок, им — другой. Вот и все...» Гиппиус трудно отказать в логике. Учтите, доклад был сделан в 1927 году. А уж в 1937-м! Отмечу, что присутствовавший на том вечере «Зеленой лампы» И. А. Бунин тоже выступил против мифа о невозможности писать в эмиграции. «Говорят: там (в России, — *В. Б.*) счастливые, а мы здесь... — смеялся он над авторами этого мифа. — Переселение, отрыв от России — для художественного творчества смерть, катастрофа, землетрясение... Выход из своего пруда в реку, в море — это совсем не так плохо и никогда плохо не было для художественного творчества... Но, говорят, раз из Белевского уезда уехал, не пишет — пропал человек...»

Пропадали не от того, что не писалось, а от тоски, от бедности и одиночества.

Только Константин Бальмонт выпустил за границей с 1920 по 1931 год такие сборники стихов: «Светлый час», «Из мира поэзии», «Дар земле», «Марево», «Зовы древности», «Сонеты солнца, меда и луны», «Мое — ей», «В раздвинутой дали», «Северное сияние». Всего этого мы в СССР не знали. Бальмонт мучился оттого, что связь с Родиной потеряна. Как поэту ему не хватало Антеевой связи с родной землей, с языком предков. В 1931 году слабеющей рукой он написал: «Есть в году праздник всех святых. Хочу и верю: будет в истории праздник всех славян...» Муза его слабела, он в последние годы своей жизни почти ничего не написал. Умер Бальмонт в русском общежитии в Нуазиле-Гран, устроенном легендарной матерью Марией 26 декабря 1942 года. Всего несколько человек пришли с ним проститься...

Пример Бальмонта порой приводили как хрестоматийный, говоря об «обреченности» русского писателя в эмиграции на творческое бесплодие и безвестность. Но о бесплодии тут говорить явно не приходится. И разве судьба, скажем, Осипа Мандельштама сложилась лучше?

Русская эмиграция создала богатейшую литературу. С 1918 по 1932 год за границей существовало 1005 русских периодических изданий. В период с 1919 по 1952 год увидели свет 2230 эмигрантских журналов и газет. В американских источниках есть такие цифры —



за период с 1918 по 1968 год в эмиграции было создано 1080 романов, больше тысячи сборников стихов. С кем были эти мастера культуры, по большей части нам неизвестные, все эти годы? Если продолжать делать вид, что не было и нет никакой русской зарубежной литературы, кроме той, существование которой общепризнано на уровне Нобелевских и других международных премий, то мы в этом не разберемся. А разобраться надо бы, пока существуют неразобранные, еще не выброшенные архивы, даже живые свидетели. Их авторов наши идеологические противники скопом зачисляли в антисоветчики. Часто огульно и облыжно! А потом уже в наших иных «литературных исследованиях» появлялись ссылки на «западные источники», где «точно сказано»: писатель-эмигрант имярек — убежденный «антикоммунист», «противник» и т. д.

Березы, как и на наших погостах, ласкают плакучими ветками камни кладбища Сен-Женевьев-дю-Буа. Писатель Иван Сергеевич Шмелев (1873—1950). Один из самых значительных русских прозаиков XX века. Судьба его — и личная, и литературная — трагична. Его сын, белогвардейский офицер, добровольно перешел на сторону революции, но был расстрелян красными в Крыму. В Париж Иван Шмелев уехал по ходатайству Луначарского. Оставаться там не собирался. Говорят, не возвращаться уговорил его И. А. Бунин. Тот же Бунин вместе с Николаем Рошиным обвинил его в «сотрудничестве с немцами». На том основании, что главы из романа Шмелева «Лето господне» печатались в антикоммунистической газете «Парижский вестник», выходившей в оккупированном Париже. Непричастность Шмелева к «коллорационизму» была доказана только много лет спустя. Лишь в 1964 году наш «Новый мир» напечатал несколько отрывков из его «Лета господне».

Когда-то мы со всей нашей запутанной историей разберемся? И хотелось бы, чтобы разобрались спокойно, не кидаясь из крайности в крайность. А то ведь разукрасим уничижительными эпитетами так, что истинного лица писателя и не видно, то елеем обольем — с тем же для лица результатом. Куда заведет такое шараханье? Не раз подводило нас элементарное нежелание мыслить, как подобает марксистам, — диалектически — и в соответствующем диалектическом

измерении представлять существующий мир, в том числе и русскую эмиграцию.

У Слова несколько жизней. Возьмите вот эти стихи Николая Гумилева.

### НАСТУПЛЕНИЕ

Та страна, что могла быть раем,  
Стала логовищем огня,  
Мы четвертый день наступаем,  
Мы не ели четыре дня.

Но не надо яства земного  
В этот страшный и светлый час,  
Оттого что господне слово  
Лучше хлеба питает нас.

И залитые кровью недели  
Ослепительны и легки,  
Надо мною рвутся шрапнели,  
Птиц быстрее взлетают клинки.

Я кричу, и мой голос дикий,  
Это медь ударяет в медь,  
Я, носитель мысли великой,  
Не могу, не могу умереть.

Словно молоты громовые  
Или воды гневных морей,  
Золотое сердце России  
Мерно бьется в груди моей.

И так сладко рядить Победу,  
Словно девушку, в жемчуга,  
Проходя по дымящему следу  
Отступающего врага.

Для белой гвардии они были тем же, что для коммунистов в Великую Отечественную стихи А. П. Межирова «Есть в военном уставе такие слова...».

«Наступление» приводилось, бывало, в качестве прямого подтверждения причастности поэта к контрреволюционному заговору профессора Таганцева, за что он и был расстрелян петроградской ЧК в августе 1921 года. Независимо от того, участвовал Гумилев в нем или нет — сейчас вроде бы уже доказано, что нет, — его стихи стали работать во время второй мировой войны уже не против большевиков, а за них, звали на бой с гитлеровцами. То же самое произошло и со многими бывшими противниками Советской власти в тот тяжкий час испытаний для нашей Родины.

По всей черно-белой логике следовало бы ожидать, что белая гвардия стройными рядами встанет под штандарты «третьего рейха» и пойдет «освобождать Россию» от большевиков. Но получилось не так. Патриотизм россияни оказался выше классовой ненависти. Вчерашние белогвардейцы уходили в маки и армию генерала де Голля, возвращались, если могли, на родину, чтобы — неважно на каких условиях — сражаться в разгромившей их в гражданскую Красной Армии. Для большинства русских патриотов, оказавшихся в эмиграции, и особенно их детей, борьба с фашизмом, помощь Советской России были единственным возможным выбором в те годы. Даже генерал А. И. Деникин отказался от предложений фюрера возглавить новую добровольческую армию из белогвардейских недобитков и вновьявленных предателей. Всю войну держал он «глухую оборону» в своем домике в городе Мимизан под Бордо. Вот что рассказывал мне наш бывший торгпред во Франции К. К. Бахтов, который в 1941 году оказался в командировке в Вишн:

«16 июня 1941 года в наше посольство пришел князь Волкоиский. Он сказал, что хотя и был противником Советской власти, сейчас готов защищать свою Родину как рядовой солдат Красной Армии. Князь рассказал, что военный комендант Парижа предложил ему стать «директором киевского радио» после оккупации Украины фашистами и сказал, что Германия начнет войну против СССР 22 июня. Волкоиский от должности сразу не отказался, чтобы не угодить в концлагерь, попросил разрешения подумать, но после беседы в советском посольстве сразу же через Испанию выехал в Англию». Князь Волкоиский был не единственным русским дворянином в Сопротивлении...

...Христофоров останавливается у могилы с пропеллером, выбитым на надгробии. Еще — пропеллеры, а над ними русские имена. Странно распорядилась история. Где-то в далекой России остались навечно лежать французы — летчики из славной эскадрильи «Нормандия — Неман». А здесь русские летчики, воевавшие во французских частях, но против тех же гитлеровцев.

«Владимир Поляков» — надпись на французском языке звучит как «Полякофф». «Это, знаете, отец актрисы Марины Влади, жены Владимира Высоцкого, — говорит подошедшая к нам активистка комитета рус-

ского кладбища. Представилась она только по имени-отчеству — Татьяна Борисовна. — Он был летчиком-добровольцем еще в первую мировую, попал сюда с Русским экспедиционным корпусом. Тут и остался...» Полная его фамилия — Поляков-Байдаров. Немцы, оккупировав Париж, искали его, так как знали, что он изобрел устройство для быстрого снижения скорости самолета в полете. Ему сулили богатство, большие чины в «третьем рейхе». Он сжег чертежи, чтобы ими не завладели фашисты, и сбежал на юг Франции, а оттуда к де Голлю.

Неподалеку от кладбищенской церкви Успенья Пресвятой Богородицы, построенной архитектором А. А. Бонуа в 1939 году, — небольшая часовенка, напоминающая семейный склеп. На могильных камнях с пожелтевших фотографий смотрят молодые лица. В первом ряду — княгиня В. А. Оболенская. «Вики», «красная княжна», участница Сопротивления. Ее арестовали фашисты в декабре 1943 года. Пытали страшно. 4 августа 1944 года в возрасте 33 лет ей отрубили голову в берлинской тюрьме Плетцензее. 18 ноября 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР В. А. Оболенская посмертно награждена орденом Отечественной войны I степени.

Этим же Указом и тоже посмертно был награжден медалью «За боевые заслуги» потомок великого Александра Радищева Кирилл Радищев, руководивший в годы оккупации в Париже антифашистской группой русской молодежи «Мщение».

...Прошло уже много времени после того, как в «Правде» я рассказал о русском кладбище. И вдруг незадолго до Дня Победы 1989 года мне позвонил шеф парижского отделения Аэрофлота Р. Г. Глушков и сказал: «Приезжай, привез тебе из Москвы посылку с пометкой «Срочно». Посылка была необычная — искусственные гвоздики да лента, на которой по красному шелку золотыми буквами написано: «Вике Оболенской от соотечественниц». Приложенное письмо все объяснило. Писали мне ветераны войны В. Д. Бабурина и Л. П. Гончарова: «С большим волнением прочли вашу статью «Русские березы под Парижем», в которой говорится о судьбе наших соотечественников, захороненных на русском православном кладбище в городке Сен-Женевьев-дю-Буа, под Парижем. Особенно нас потряс-

ла трагическая биография участницы Сопротивления В. А. Оболенской («Вики», «красной княжны»). Ее судьба нам очень близка и не безразлична, так как мы сами в годы Великой Отечественной войны сражались в рядах партизан. Преклоняя головы перед подвигом наших соотечественников, мы просим вас от нашего имени возложить цветы на могилу В. А. Оболенской. К сожалению, у нас нет возможности послать живые гвоздики...»

В тот же день я поехал в Сен-Женевьев-дю-Буа. Долго раздумывал, как быть: куда возложить присланные из Москвы цветы? Ведь дело в том, что на этом кладбище у В. А. Оболенской две символические могилы. (Где настоящая — под Берлином? — неизвестно.) На одной — надгробие с ее портретом, а рядом захоронены те потомки родовитых русских дворян, которые вместе с ней сражались в рядах Сопротивления. Имя лейтенанта французской армии В. А. Оболенской выбито и на надгробии ее мужа священника Николая Оболенского, который также сражался в Сопротивлении, но умер сравнительно недавно, в 1979 году. Он, кстати, захоронен рядом с приемным сыном А. М. Горького, братом Я. М. Свердлова Зиновием Пешковым, сражавшимся во время войны в рядах французского иностранного легиона. Цветы я положил все же у первой могилы — вроде как всем юным подпольщикам сразу.

На могильных плитах захоронения «русской молодежи, погибшей в рядах Сопротивления», все надписи на французском. По-русски нет ни слова, как и упоминания о советских посмертных наградах. Христофоров объясняет это прозаически: «Дорого, знаете, по-русски. Французы берут за русские буквы в три раза дороже. А у нас средств нет...»

Дело-то, конечно, не только в этом. Среди тех, кто принял наследство от поколения русских эмигрантов кладбище в Сен-Женевьев-дю-Буа, было мало желающих похоронить здесь навсегда и ненависть к Советской власти, и к социализму. После войны эмиграция опять разделилась. Одни, даже оставшись во Франции, в других странах, окончательно порвали с антисоветизмом. Другие сделали его своей профессией. Оплачивалось это ремесло нежирно, но все же в долларах. В те времена, когда штаб-квартира НАТО располагалась во

Франции, антикоммунистических кормушек было создано здесь превеликое множество. Послеоктябрьская эмиграция отнеслась к этому в основном с брезгливостью. Заполнили «вакуум» новые «бывшие» — вторая волна эмиграции, выплеснувшая на парижские бульвары вчерашних власовцев и оуновцев, удравших от возмездия пособников гитлеровцев из Прибалтики, из стран Восточной Европы. По кладбищу Сен-Женевьев-дю-Буа эта волна прошла незаметно, и здесь ее могилы не афишируют. Но вот волна третья...

«Блаженны изгнани правды ради» — эта библейская цитата выписана белым по черному граниту. А рядом с ней знакомое, гремевшее у нас в 60-е годы имя — Александр Аркадьевич Галич (19.XI.1919—15.XII.1977). Цитата из Библии выбрана точно. Галича, известного сценариста и поэта, поначалу лишили доступа к печати и кино, запретили выступать с концертами, а потом изгнали из нашей страны именно те, о ком он пел в своих «крамольных» по тем временам песнях. На Западе Галич тоже себя не нашел. Был слух, что разочарованные в нем мастера «психологической войны» против СССР подсунили ему в подарок аппаратуру, включив которую Галич погиб. Но пойдй докажи. При довольно странных обстоятельствах погибла в 1986 году и его вдова Ангелина Николаевна. Оба они захоронены в чужой могиле некой Магдалины Голубицкой.

Еще одна могила «третьей волны», совпавшей с тем периодом, что обозначается сейчас термином «годы застоя». Виктор Платонович Некрасов (17.VI.1911—3.IX.1987). Автор повести «В окопах Сталинграда», фронтовик. Как у него «не сладилось», по чьей воле он оказался в эмиграции в Париже, когда-нибудь напишут подробнее и у нас. Пока, как и семья Галич, он покойся в чужой могиле — не известной никому дотоле Ромы Семеновны Клячкиной.

В чужую могилу — земля в Сен-Женевьев-дю-Буа стоит дорого — опустили здесь и кинорежиссера Андрея Тарковского — классика, как давно это уже ясно, не только советского, но и мирового кино. Только в 1988 году создателя «Андрея Рублева» перезахоронили, положили в отдельную могилу, вырытую на субсидию французского правительства. От нас ни на первые, ни на вторые похороны не поступило ни франка.

Одна из последних песен Галича называлась «Когда

я вернусь...». Ни он, ни Тарковский, ни Некрасов не вернулись. Не успели. А я задаю себе вопрос: захотели бы? С кем были бы они сегодня? С теми, для кого отъезд из СССР в «третьей волне» был трагедией и кто ищет сейчас шанса вернуться? Или с теми, в ком патриотизма нет и не было в помине? Про Галича можно сказать точно: вернулся бы. Его дочь А. Архангельская-Галич писала в «Правду»: «Направляю вам текст магнитофонной записи высказываний отца, сделанный за день до его отъезда (23 июня 1974 года). Думаю, ознакомление с ними снимет любые сомнения насчет того, вернулся бы Галич на родину и с кем был бы сейчас. Вот этот текст:

«Мне все-таки уже было под 50. Я уже все видел. Я уже был благополучным сценаристом, благополучным драматургом... И я понял, что я так больше не могу, что я должен наконец-то заговорить в полный голос, заговорить правду. Кончилось это довольно печально, потому что, в общем, в отличие от некоторых моих соотечественников, которые считают, что я уезжаю, я ведь, в сущности, не уезжаю. Меня выгоняют. Это нужно абсолютно точно понимать.

Добровольность этого отъезда, она номинальна. Она фиктивна, она, по существу, вынужденная. Но все равно. Это земля, на которой я родился. Это мир, который я люблю больше всего на свете. Это даже «посадский, слободской мир», который я ненавижу лютой ненавистью и который все-таки мой мир, потому что с ним я могу разговаривать на одном языке. Это все равно то небо, тот клочок неба, большого неба, которое накрывает всю землю. Но тот клочок неба, который мой клочок.

И поэтому единственная моя мечта, надежда, вера, счастье, удовлетворение в том, что я все время буду возвращаться на эту землю. А уж мертвый-то я вернусь в нее наверняка». Читаешь и думаешь: «Господи, за что!» Конечно бы, он вернулся... Да он от нас, по сути, и не уходил...

Думаю, и Тарковский вернулся бы, хотя гадать трудно, да и не нужно. Ибо значение Тарковского в мировом, как и русском, искусстве определяет не гражданство. Некрасов в эмиграции ожесточился. Но все же незадолго до смерти написал теплое письмо в свою любимую «Юность», опубликовавшую его повесть...

Нельзя, однако, забывать, что среди тех, кто когда-то задавал тон в нашей литературе и искусстве, есть и руководители современного «антибольшевистского блока» — базирующегося в Париже «интернационала сопротивления». Есть и штатные сотрудники руководимых ЦРУ радиостанций, журналов, газет, издательств. Правда, сейчас у них то, что называется «кризис жанра». Прежняя их продукция спросом не пользуется ни в СССР, ни на Западе. Кто-то «перестроился», кто-то, напротив, лишь заматерел в ненависти ко всем нам...

Литература эмиграции «третьей волны» — явление сложное. Далеко не все из этой волны станут нашими союзниками и единомышленниками сейчас, когда у нас идет перестройка, когда пришла гласность, а вместе с ней приходит уважение к творческой личности, к людям искусства со всеми их сложностями и метаниями. Лучшее, подлинно патриотическое в этой литературе останется жить надолго. Остальное канет в небытие.

Мы стоим у русских могил в Сен-Женевьев-дю-Буа. Трое русских. Татьяна Борисовна рассказывает, как она, родившаяся и выросшая здесь, во Франции, и своим детям передала любовь ко всему русскому. Вроде бы формально они уже французы, у них — французские фамилии, а часто и имена. «Но кровь наша — сильная, — говорит она. — Россия к себе их как магнит притягивает». Да, ее отец вместе с Христофоровым воевал против красных в рядах белой армии. Его могила тут же, в Сен-Женевьев-дю-Буа. Но Татьяна Борисовна искренне убеждена, что и красные, и белые просто не поняли друг друга, хотя и воевали, по сути, за одно и то же — за лучшую жизнь для народа России.

Я не спорю с ней. И не спорю с Христофоровым, когда он излагает мне свои взгляды на перестройку и книгу М. С. Горбачева, которую он только что прочитал. Хорошо и то, что прочитал. Хорошо, что он, когда-то врангелевский офицер, а теперь — французский гражданин, голосующий за правые партии и лично за их лидера, бывшего французского премьера Жака Ширака, болеет за нашу с ним общую родину, которую не выбирают, которая всем нам — мать. Я могу сказать ему только спасибо за то, что он и еще девять человек рабочих, занятых здесь, на кладбище, его комитет, поддерживают в таком образцовом порядке вот эти могилы, в которых — часть истории России. Ее тоже



нельзя поделить на части, что-то взяв, от чего-то отказавшись. Она — цельная, какая есть, и никуда от нее не уйдешь. Чтобы нация умела познать самое себя, эту историю, надо тщательно и именно во всей ее целостности сохранить.

Можно, конечно, как это традиционно делается, попытаться перевезти с кладбища Сен-Женевьев-дю-Буа в СССР останки И. А. Бунина, перенести в наши границы и другие «приемлемые» для нас могилы. Но а все остальное — зачеркнуть? Забыть? Залить, как асфальтом, непроходящей ненавистью? А как быть с «Вики» Оболенской? С Тарковским? С Галичем? Долго ли удастся сохранять все это «на пожертвования»? Не пора ли и нашему государству внести в сохранение этого памятника русской истории свою лепту? Хотя бы для начала прислать по букету цветов на могилы Бунина, Коровина, Сомова, Ремизова, установить памятники на могилах молодых россиян — бойцов Сопротивления, погибших в гитлеровских застенках...

Тихо шелестят березы над русским кладбищем. Покачивает ветер колокола на звоннице прикладбищенской церкви. Пахнет сырой землей, ладаном, Россией. У всех нас она одна.

## РУССКАЯ НИЦЦА

Придорожные щиты на скоростном шоссе, ведущем в Монако, пестрят швейцарскими и итальянскими названиями — поблизости граница. Но вот неподалеку от Ниццы, рядом со съездом к аэропорту, появляется непривычный в галло-романской окружающей среде указатель «Английский променад». Именно сюда надо свернуть, чтобы проехать по самому красивому и самому длинному на Лазурном берегу приморскому бульвару, увидеть Ниццу с ее фасада и заодно сразу же прикоснуться к ее истории.

Немногим более ста лет казад никакого променада здесь не было, и там, где стоит сейчас дворец Массена, названный так, как и прилегающая к нему площадь, в честь наполеоновского маршала — уроженца Ниццы, жители города охотились на бекасов и водяных курочек. В начале 20-х годов прошлого века любившие от-

дыхать в этих местах англичане проложили в складчину вдоль берега моря узкую, но прямую дорожку для ежедневных прогулок. Отсюда и пошло название «Променад дез Англе», то есть «Английский променад», а точнее — «Променад англичан». Впоследствии здесь строили свои особняки, дворцы и отели и немцы, и испанцы, и голландцы, и шведы...

В богатой истории Ниццы каждый народ Европы отыщет для себя если не главу, так страничку либо строку. Для нас, русских, столица Приморских Альп в силу ряда исторических обстоятельств и поворотов это целая книга, увы, послереволюционными поколениями не прочитанная. Во многом Ницца — это символ России, ушедшей в прошлое, сгоревшей в огне революции. В нашем обыденном сознании она остается где-то в одной связке с буржуями, поедающими ананасы и жующими рябчиков, с ресторанами экзотической Ривьеры и «осенью в прозрачном бреду» из песни Александра Вертинского, с белой гвардией, бежавшей на Запад после Великого Октября и замышлявшей начать отсюда новый поход против нас. Все это и так, и совсем иначе...

...С площади Массена, стоит пройти небольшую крутую лестницу и ступить на брусчатку узеньких улиц старой Ниццы, сразу переносишься в другой мир. Первое, о чем думаешь, — сколько же простояли эти дома, сколько видели и сколь прекрасны они сегодня по сравнению со своими современными многоэтажно-бетонными братьями. Туристическое восхищение, однако, смеяет прозаический вопрос: как живут люди в этих исторических развалах? Как умудряются туда провести современные коммуникации, электричество, газ, телекабели?

«Дворец Ласкари?» Задумавшись на минуту над моим вопросом, прохожий — чистенький старичок в соломенной шляпе затараторил в почти что итальянском стиле: «Пройдете налево, направо, потом — по лестнице прямо, а там через двор выйдете на соседнюю улицу и уткнетесь во дворец».

Переплетение улиц и проходимых дворов, где дома смотрят друг на друга окном в окно, — наследие средневековья, с которым приходится жить и сегодня. Старая Ницца, хоть и превращена в заповедник, тем не менее населена плотно. И живет здесь люд небогатый. Поэтому я не удивился, увидев сразу по два служителя на каждом этаже (а они не столь уж и просторны —

всего две-три небольшие залы) Дворца Ласкари — мэрия, отремонтировав его, дала работу «первоочередникам». И поэтому они, хоть и вежливы предельно, ничего рассказать о дворце и его истории, а уж тем более об экспозиции не могут.

Из разложенных в холле проспектов я узнал, что дворец начали строить еще в начале XIII века и закончили в 1261 году, постепенно приращивая к нему те дома, что удавалось купить поблизости. Одним из его владельцев в 1802 году стал 55-й Великий Магистр Мальтийского ордена, а затем после его смерти он переходил из рук в руки, пока не был выкуплен окончательно городскими властями, и устроившими здесь музей.

Экспозиция его достаточно эклектична — тут тебе и Рубенс, и фламандские гобелены, и восстановленная специалистами аптека конца XVIII века.

В одном из залов музея неизвестно почему были выставлены под стеклянными колпаками макеты декораций старых балетных спектаклей. Я просто замер от неожиданности. Над макетами значилась надпись — «Дягилевский сезон в Опере Монте-Карло 1932—1935». Автор их — знаменитая русская художница, эмигрировавшая во Францию Наталья Гончарова. Рядом — работа Александра Бенуа, декорация к постановке «Петрушки» 1912 года и к «Шехеразаде» Римского-Корсакова, где танцевали Нижинский и Карсавина.

«Откуда у вас все это русское?» — спрашиваю уже внизу у служителя, обложенного рекламными проспектами, путеводителями и незатейливыми открытками с видами Старой Ниццы.

«В Ницце не следует этому удивляться, меесье, — отвечает он. — Русские появились здесь раньше французов, хотя и несколько позже римлян...».

Последнее уточнение дает ему возможность сбыть мне путеводитель «Ницца и Древний Рим», и я, следуя напечатанной в нем карте, поднимаюсь по крутой лестнице на холм Шато, на вершине которого сохранились развалины римских терм и какое-то старинное сооружение, превращенное ныне в смотровую площадку.

На холме Шато есть еще и старое кладбище, а там — могила А. И. Герцена. Он умер в Париже 9(21) января 1870 года от воспаления легких — просту-

дился на митинге протеста против режима Наполеона III. Поначалу его похоронили на кладбище Пер-Лашез, а уже потом перевезли сюда, в Ниццу. И теперь памятник Герцену глядит с вершины холма на Средиземное море, которое поглотило его сына и невестку. Вместе с легендарным Искандером похоронена его жена. Так соединили их всех смерть и земля Ниццы. В том была их последняя воля. В том и причина, почему прах «нашего Герцена» остается по сей день на чужбине и не перевезен на Родину.

Плана кладбища у меня не было, я пошел наугад, но, побродив с полчаса меж семейных склепов местных миллионеров, все же отыскал служителя, объяснил, что я из Советского Союза, и попросил его помочь. «Александр Герцен? — спросил он, ставя, как все французы, ударение на последнем слове, к чему русскому человеку привыкнуть никак невозможно. — Это очень просто, месье. Идите прямо и увидите бронзовый памятник, он, кстати, единственный на этом кладбище...» Мягкий, скрытый упрек прозвучал в этой фразе. Только у самой могилы, увидев единственно бронзового Герцена работы украинского скульптора П. П. Завелло на фоне ослепительно белых мраморных скульптур и гранитных кладбищенских стел, я понял, почему упрек служителя был адресован именно мне, а в моем лице и всем моим соотечественникам. Из-за близости моря и от времени памятник Герцену почернел и покрылся зеленой грязной пленкой, от которой бронзу надо очищать регулярно. Но кому это делать?

...Улица Лоншан — когда-то, в бытность Ниццы в составе Сардинского королевства, именовавшаяся Виа ди Кампо Лонго. На самом углу русский православный храм, освященный по старому стилю 31 декабря 1859 года. На двери табличка сообщала, что богослужения проводятся здесь по вторникам еженедельно. Было восемь часов утра и как раз вторник. Я поднялся по лестнице, прислушиваясь к звукам заутренн.

Роскошный иконостас псковско-новгородского стиля из мореного дуба. Великолепной работы иконы с позолотой. Царские врата с кружевной резьбой по дереву. Церковные хоругви, пудовые свечи. И на фоне всего этого старинного великолепия — седой священник, тихо подпевающий ему с клироса розовощекий дьячок с косичкой да три старушки, сохранившие при всей

своей дряхлости легко узнаваемый даже нашим поколением «старорежимный» облик. Видно было по этой немногочленной заутрене, что православных в Ницце осталось совсем немного и что некогда многочисленная русская колония неизбежно ассимилируется. Подобно тому, как ассимилировались, переделавшись на местный лад, старинные русские названия — знаменитая когда-то вилла Апраксина, где разместился приют для слепых и глухонемых, теперь названа «виллой Апраксин», а ведущая от нее крутая улица в планах Ниццы 30—40-х годов нашего века именовалась последовательно — «Апраксинский спуск», затем «Спуск святого Апраксина» и наконец — «Святая Апраксия»...

А люди? В Париже мне дали один адрес в Ницце. Сказали, что там, на бульваре Карно, живет сын бывшего русского консула в Ницце Артемий Павлович Лобачев. Оказалось, что он действительно сын Павла Артемьевича Лобачева, только служившего вплоть до 1917 года генеральным консулом России в Салониках в Греции, а не в Ницце. Судьба разбросала его сыновей по всему свету. Старший жил в Югославии до конца второй мировой войны и только потом переехал в СССР. Он стал журналистом и художником-иллюстратором. Третий брат оказался в Бразилии. У самого Артемия сложилась жизнь, типичная для послереволюционных обладателей «иансеновского паспорта». Он мотался по Балканам, пока не попал наконец в Париж, куда белая эмиграция чаще всего и стремилась...

Артемий Павлович несколько лет назад купил на первом этаже жилого дома на бульваре Карно два гаража и переделал их в небольшую квартирку. На большее не скопил. Но что делать? Он одинок. Никого, кроме кота, у него нет. Так что места хватает. Правда, только шумновато — рядом шоссе, по которому днем и ночью летят автомашины в Монако и Ментону. «Но мне шум не мешает, — говорит он, улыбаясь своей какой-то удивительно беспечной, детской улыбкой. — Я даже люблю шум, гам, тарарам. Знаете, я в 1932 году открыл в Ницце небольшой кинозал и назвал его «Эдуард VII». По началу публика валила валом. Но потом я прогорел. Переехал в Париж и там встретился с казаками, которые работали на заводах «Рено». Я тогда открыл свое кабаре в Париже и пригласил их выступать у меня в программе «Джигиты». Но мода на русское уже

проходила, и я опять загорелся синим пламенем. Все заново решил начать в Ницце. В 1938 году открыл цыганское кабаре неподалеку отсюда...»

«А почему вас, сына дипломата, тянуло именно на кабаре?»

«Это просто — не нужно было никаких дипломов, свидетельств... Если бы жизнь и судьба России сложилась иначе, то я бы, конечно, поступил в Пажеский корпус и стал бы, глядишь, как отец, дипломатом. Не сложилось... Но я ни о чем не жалею. Я многое повидал. В 1941 году пошел во французскую армию добровольцем, воевал, а потом после войны опять вернулся к своему делу. Я, знаете, даже пел... Вот это... По-русски я слов не знаю, собственно, я русский специально и не учил никогда, он ко мне как-то сам собой пришел...»

Лобачев поет по-французски удивительно знакомую песню. Я наконец понимаю, что это «Отцвели уж давно хризантемы в саду». На прощание он мне дарит небольшой сборничек своих стихов на французском языке, который он издал методом самиздата тиражом ровно в 100 экземпляров, что в Ницце стоит копейки. Я полистал вежливо его зарифмованные стариковские раздумья и благодарности богу за радость жизни, которая продолжается, несмотря ни на что. Ни единого слова о России в этих чисто французских стихах не было...

Все в тот же вторник вечером я зашел в библиотеку при церквушке на Лоншан. Библиотекарь Нина Владимировна, по мужу мадам Гийе, рассказала мне, что библиотека была основана еще П. А. Вяземским в 1859 году, когда только началось строительство этого первого русского приходского храма в Западной Европе. Вскоре в ней насчитывалось уже более двух тысяч книг, что по тем временам немало. Сегодня здесь более 13 тысяч томов, среди которых есть уникальнейшие. Рук на все у Нины Владимировны не хватает. Она одна, а прихожане — в основном старики, помощь от них какая?

...Им всем где-то далеко за семьдесят. Они сдают и берут книги, но сразу не уходят. И дело здесь не только в политесе, благоприобретенном еще в те, стародавние времена, либо уже позже от родителей, оканчивавших те самые «царскосельские лицей». Все русские в Ницце знают часы работы этой библиотеки — с трех

до пяти по вторникам — и приходят сюда, как на утреннюю службу в храм. Приходят даже не столько почитать, сколько услышать живую русскую речь, обменяться последними новостями...

Нина Владимировна дает мне несколько книг об истории русской колонии в Ницце, и я сижу, делаю выписки, прислушиваясь к разговорам, которые мне самому кажутся надиктованными на магнитофон отрывками то ли из «Анны Карениной», то ли из «Белой гвардии».

«Здорова ли супруга ваша? Со Страстной не видим ее ни здесь, ни в Соборе».

«Слава Богу, здорова. Отлучалась в Кале повидать нашу младшенькую. А вы, князь, давно ли виделись с вашим непутевым братцем?»

«Истинно непутевым. Он летом опять в Совдепию собирается. Говорит — зов предков...»

«Вольно же ему...»

На этом островке русской жизни, оторвавшемся от материка нашей нации, говорят на другом русском языке, давно у нас забытом. Так сложилось, и не в одночасье.

Начало «русской Ниццы», если говорить о серьезно организованной и значительной по тем временам зарубежной русской колонии, положила вдовствующая императрица Александра Федоровна, жена Николая I. Ее пристрастие к этому курорту многие историки объясняли модными поветриями середины XIX века. В ту пору в королевских домах Европы было принято на лето уезжать в какой-то «свой» город. Императрица Евгения предпочитала — Баден, а Наполеон III — Баден-Баден. Нельзя исключать и этого момента, но это было скорее поводом, чем причиной. Причины же основания «русской Ниццы» куда глубже.

Александра Федоровна присматривала для русской короны не просто заграничный курорт, а нечто вроде военно-дипломатического плацдарма. Не случайно, видимо, она бросила якорь в Вильфранше, портовом городке близ Ниццы. Было это в сентябре 1856 года, полгода спустя после окончания Крымской войны, после подписания позорного для России Паризского мирного договора, по которому ей запрещалось иметь свой военный флот в Черном море. Появление русской императрицы в Вильфранше, на территории Сардинского ко-

ролевства, всего лишь за полгода до этого события воевавшего с Россией, не могло пройти незамеченным, хотя и говорят, что она поначалу сходила на берег инкогнито. В европейских столицах этот императорский десант вызвал немалый переполох. Искали ему объяснение. Официально оно было абсолютно невинным — императрица сама решила найти подходящий зимний курорт для своего любимого внука — больного наследника императорского престола, великого князя Николая Александровича, который и должен был бы войти в нашу историю под именем Николая II. Он действительно некоторое время жил в Ницце и умер здесь в 1865 году. Именно в его честь в 1912 году здесь был возведен храм святого Николая на бульваре, который носит до сих пор имя Царевич.

Помимо забот о здоровье внука и своем собственном, вдовствующая императрица тревожилась и о восстановлении пошатнувшегося здоровья Российской империи. В ходе первых своих рекогносцировок на Лазурном берегу она, видимо, пришла к выводу, что Ницца идеально подходит для западноевропейского филиала ее двора. Многочисленные родственники Романовых, так или иначе породнившихся со всеми европейскими монархами, могли приехать сюда из любой столицы запросто, без протокола повидаться с родными, что не так было просто сделать, выезжая к императору в гости в Россию. Так же, не возводя все это в ранг государственного визита, могла поступать — и поступала вплоть до 1914 года — вся императорская семья. По подсчетам летописцев дома Романовых, только с 1856 по 1898 год здесь побывали все дети Николая I (кроме его дочери, умершей в 1844 году), включая Александра II, который сюда приезжал не раз. Постоянно отдыхали в Ницце и его дети, в том числе будущий царь Александр III, их ближайшие родственники. Список посетителей императорских вилл в те годы читается, как генеалогический справочник европейских королевских семей.

Такие возможности общения с коронованными особами Европы и членами их семей трудно было переоценить, особенно в те годы, когда Россия активно искала выход из тупика, в который загнал ее Парижский мирный договор. А для этого было необходимо искать союзников.



В Санкт-Петербурге знали, что сложные дипломатические маневры фактически привели к развалу той антирусской коалиции (Англия, Франция, Турция, Сардиния), которая вела Крымскую войну. Франция боялась усиления Англии, а Сардиния панически боялась Франции. С первого же визита русская императрица получила от савойской династии самую активную помощь. Ей предоставили даже личную военную охрану из отборных сардинских гусаров.

21 января 1859 года в Ницце ждали сардинского короля Виктора Эммануила. Историки отмечают, что, помимо пушек форта Вильфранш, его приветствовали салютом из всех стволов с борта русского военного фрегата «Орлов». Король немедленно отправился с визитом к русской императрице на ее виллу «Авигдор», где за обедом и было окончательно легализовано русское присутствие в Ницце и Вильфранше. Русской колонии король разрешил построить здесь даже православную церковь (на Лоишан), что по тем временам было совершенно немыслимо, ибо Ватикан не допускал православных священников в Западную Европу. Но куда важнее было другое — Россия получала право захода в сардинские воды и разрешение на практически постоянное базирование в Вильфранше своей военной эскадры, что с учетом русской военно-морской базы на Крите существенно подрывало позиции англичан в Средиземноморье. Савойская династия явно пыталась таким образом с помощью России обезопасить Сардинское королевство и от происков Наполеона III. Но безуспешно. Франция буквально через год после исторического обеда на вилле императрицы оккупировала Ниццу, и по Туринскому договору вся Савойя вошла в ее состав окончательно. Любопытно, что Наполеон III не рискнул отменить даже после этого все те привилегии, которыми пользовалась русская Ницца по договоренности с Виктором Эммануилом. Вдовствующая императрица, например, потребовала для своей охраны французских зуавов, и они ей были немедленно предоставлены. Помимо зуавов, в подтверждение суверенитета Русской Ниццы в бухте Вильфранша фактически постоянно реял андреевский флаг над весьма внушительной русской эскадрой. Во время своего первого посещения Ниццы в 1864 году Александр II, кстати, дважды инспектировал Вильфранш, и это сильно нервировало Наполеона III. Дело

дошло до того, что «император всех французов» прибыл в Ниццу никогдѣ, но Александр II узнал об этом и «случайно» с ним встретился в городской префектуре.

В этих сложных, полиых одним посвященным пониманию подтекста отношениях между Россией и Францией той поры даже один какой-нибудь неловкий жест, неудачное слово, несоблюдение того или иного пункта протокола могли обернуться длительной враждебностью, а то и войной. Александр II, как и его мать, урожденная принцесса Пруссии, не скрывали своей неприязни к племяннику Бонапарта — Наполеону III. В 1860 году Александра Федоровна унизила его в Ницце: не вышла к нему во время приема на своей вилле, сказавшись больно. А Наполеон две недели спустя отомстил ей за это в Париже, усадив ее сына великого князя Николая за один стол с бароном Дантесом — убийцей Александра Сергеевича Пушкина...

Такого рода «уколами» Париж и Петербург обменивались постоянно вплоть до прихода на трон Александра III, с именем которого связан не только самый красивый мост через Сену в Париже, но и небывалый расцвет русско-французских отношений в конце XIX века. Русская Ницца на всех этапах их развития играла далеко не последнюю роль.

Влияние России во Франции подкреплялось, замечу, не только русскими военными кораблями. Длительное пребывание императорской семьи в Ницце потянуло туда и российскую знать, и богатых людей того времени, желавших быть поближе ко двору. Одним из таких людей стал барон фон Дервиз, разбогатевший на строительстве железных дорог в России. В 1867 году он построил в Ницце свой дворец Шато-де-Вальроз, куда приезжал каждую зиму, отряжая для этого целый поезд. Барон привозил в Ниццу из Петербурга своих музыкантов и хористок и устраивал великолепные концерты. В историю города вошли его загульные «русские карнавалы», как впоследствии дягилевские «русские театральные сезоны» в Монте-Карло.

В Ниццу среди русского дворянства стало ездить престижно. «Как? Вы не были никогда в Ницце?» — как часто звучала эта фраза и в салонных разговорах, и в душещипательных романах. Сюда ехали прожигатели жизни, которые, подобно фон Дервизу, не представляли себе отдыха на Лазурином берегу без кутежа

на Ривьере и без игорного дома в Монте-Карло. Ницца вошла в моду и у врачей — сюда рекомендовали ехать больным туберкулезом. А. П. Чехов лечился здесь несколько лет подряд от этого недуга, хотя и поругивал Ниццу, «пропахшую артишоками и апельсинами», а еще больше ругал Монте-Карло, игорные дома которого в силу присущего ему азарта не миновал...

Во второй половине XIX века русское влияние в Ницце было столь очевидным, что один журнал того времени писал: «На улицах города — сплошные русские костюмы, и всюду слышна русская речь...» Русские рестораны, отели, русские театры, банки, страховые компании, акционерные общества — вот что составляло экономическую базу влияния Русской Ниццы, сохранившегося, кстати, и после революции в России. Вот небольшое тому свидетельство из «Вестника Русской Ниццы» за 1927 год.

«Русская Ницца, — сообщает хроникер тех лет, — имеет даже своих финансовых тузов, которым принадлежат и доходные дома, и роскошные виллы: ни один спектакль, ни один бал не обходится без блещущих элегантными туалетами русских дам: всюду — на музыке, на прогулках, в поездах и трамваях, в кинематографах, кафе и барах и просто на людных улицах слышится русский говор и бросается в глаза золоченая молодежь с претензиями на элегантность и шик. Все куда-то спешат — мужчины, по большей части без шляп и с пустыми руками, по-видимому, догоняя растративаемое попусту время. Нечего и говорить, что для такого рода благородных занятий необходимо иметь свободные ресурсы...» Империалистическая война, а затем революция и гражданская война преобразили не только Россию. Русская Ницца окончательно оторвалась от родного национального материка и жила уже своей жизнью, связанной с родиной разве только что воспоминаниями. К 1927 году в Ницце и близлежащих — до Кани городах и поселках оказалось около трех тысяч русских. Далеко не все они успели перевести сюда свои капиталы, даже если их и имели в России. Революция выбросила на французский Лазурный берег сливки российского дворянства. Ту самую знать, которая годами собиралась здесь на императорском курорте. Тех, кто кутил в лучших отелях и ресторанах «Английского променада», не помышляя ни на миг, что однаж-

ды им придется наниматься туда официантами, вышибалами и швейцарами.

«Памятка русской колонии в Ницце» с дежурным оптимизмом встречала вновь прибывших: «Нигде в Европе русскому бедняку не живется так хорошо, как в Ницце. Кто не калека и не совсем еще износился в физическом смысле, тот здесь найдет себе работу или занятие... Кто устраивается в шоферы, кто в «кухонные мужики», кто в агенты комиссионных контор, кто возит в колясочке больного...

Что касается до женского труда, то спрос на него буквально неограничен. В Ницце нет, кажется, ни одного обывателя, который бы не мечтал иметь русскую прислугу. А кто к такого рода работе не привык, для того всегда готово место к детям, правда, преимущественно к маленьким, или работа по части рукоделий...» Больше Ницца бывшим российским аристократам предложить не могла ничего.

Быт русской эмиграции того времени был нелегким. Далеко не все, конечно, сошли с круга, обнищав и отчаявшись. Большинство как-то сумело устроиться в новой жизни, и надо отдать должное Франции, она все же приютила наших соотечественников, отринутых революционной Россией, а тем самым помогла и нам с их помощью сохранить для будущей России многое из того нашего общего культурного и исторического наследия, что революция в своем нетерпении и нетерпимости отрицала и уничтожала безжалостно. Постепенно русская эмиграция интегрировалась во французское общество. И Русская Ницца этому всячески способствовала. Хотя не секрет, что многие в те годы все же заканчивали «меранвиловкой» — так именовали благотворительную столовую, которую содержали на Лоишане для русских эмигрантов маркиз Меранвиль де Сен-Клер со своей супругой Ольгой Николаевной, либо приютом «Убежище имени императора Александра II». Политически, как только окончательно растаяли надежды на быстрое возвращение в Россию, русская эмиграция в Ницце оказалась банкротом куда большим, чем в финансовом отношении.

«Поначалу, — рассказывает один из очевидцев событий 20-х годов, — «политические страсти» переживали здесь бурный период. То была борьба вокруг вакантного престола. Спорили, ссорились, избирали и пере-

избирали председателей, посылали друг другу даже секуидаитов, которых роль в конце концов сводилась к редактированию примирительных писем, но, конечно, дальше этого не пошли, ибо и идти было некуда. Потом все это выдохлось и окончательно опостытело...»

Улица Шмеи де Кокад. Единственное в мире зарубежное русское православное кладбище на окраине Ниццы. Единственное, потому что здесь похоронены только русские. Ни французов, как на русском кладбище под Парижем в Сеи-Женевьев-дю-Буа, ни немцев, как под Кале, ни американцев, как в Калифорнии, ни австралийцев, как под Сиднеем, тут нет. Его организовали еще в 1866 году первосвященники Лоншана. И до сих пор следит за ним православная церковь. Стоит часовенка — дар бывшего барона Дerviза, из его знаменитого Шато она перешла сюда...

...Печальную историю рассказывают каменные надгробия с надписями на русском языке — историю гибели Русской Ниццы. Могилы военных моряков, тех, кто когда-то служил на кораблях в Вильфранше и на Крите. Имена князей, графов, баронов. Помню, когда я впервые написал в «Правде» о русских захоронениях под Парижем, один разъяренный читатель прислал мне письмо, в котором писал, что нечего, мол, поминать всяких там князей да графов, с которыми мы покончили в 17-м году. Да, в 17-м, а в основном уже в гражданскую и позже мы покончили, в том числе физически, с российским дворянством и российской буржуазией — двумя самыми просвещенными, образованными классами. При всей неумолимости логики борьбы с контрреволюцией и даже ее исторической неизбежности те потери, которые понесла наша нация в результате общероссийской резни интеллигенции, уничтожения до корней вместе с «бывшими» многовековых традиций культуры, нравственности и управления обществом, — невосполнимы, и это нам горько аукается до сих пор.

...Есть какая-то магия в этих именах, от которых веет ароматом самой истории. Княгиня Урусова, урожденная Лазарева, 1842 года рождения, умерла здесь, в Ницце, в 1932 году и легла в землю Савойи вместе с князем Михаилом Леонидовичем Оболенским. Могила заросла травой, мхом. Взгляд выхватывает из рядов надгробий имена, знакомые с детства по учебникам истории, литературы. Ведь мы все это «проходили»...

Княгиня Грузинская, урожденная княжна Туманова... Крестник императора Александра II граф Соколовский в одном ряду с потомками декабриста Пущина, с князьями Волконскими, графами Капнистами, Мусиными-Пушкиными, князьями Голицыными, Ростовскими. Кажется, тут весь царский двор. Скромные могилы у членов императорской фамилии. Князь Ростислав Александрович Романов... Вдова Александра Второго (по второму браку) княгиня Екатерина Михайловна Юрьевская, урожденная Долгорукая. Умерла она только в 1922 году. А в 1947 году, помню, у нас праздновали 800-летие Москвы, и мы, мальчишки, приходили смотреть, как перед Моссоветом устанавливали на высоком гранитном постаменте бронзового всадника — памятник ее предку Юрию Долгорукому.

Нарушена связь времен. Кому, как не нам, ее восстанавливать? Пока не поздно. Пока не исчезли все те следы на земле, в том числе и здесь, во Франции, которые позволяют это сделать. Я не знаю, как к этому приступить. К чему призвать. Наверное, к великодушию, которое всегда было нашей национальной чертой, к умению прощать. Ничего же не случается с Французской Республикой, когда она сохраняет в целостности могилы королей и императоров Франции и даже называет их именами улиц. В США, где тоже была гражданская война, уже давно примирены потомками генералы Севера и Юга, сторонники английской империи и независимых Штатов. Может быть, через 200 лет и мы придем к той же душевной щедрости.

Кто, скажите, принесет сейчас цветы к могиле Герцена? А кто сможет провести соотечественников по Русской Ницце, если у нас с ней практически нет никакой связи? Разве что кто-то из французских ученых, занимающихся нашей историей, но, увы, не русский гнд.

Как раз французы и раскопали историю художника Жозефа Френсера из Ниццы, выставка работ которого проходила в Вильфранше в июне — июле 1989 года. Четыре акварели Френсера для этой выставки прислали из Эрмитажа. Как они к нам попали? А оказывается, еще весной 1847 года князь Гагарин познакомился с художником где-то на Лазурном берегу, когда тот рисовал пейзаж с натуры, и предложил ему съездить в Россию. Так Френсера попал в Санкт-Петербург и был представлен ко двору. Там он познакомился с внебрач-

ной дочкой Николая I Жозефиной Кобервейн, которая стала его женой и уехала вместе с ним в Ниццу в 1849 году. Впоследствии оба они были приняты к зарубежному «зимнему двору» Александры Федоровны, где Фрисеро нарисовал немало акварельных портретов петербургской знати. Это же целый роман, но, увы, так никем у нас и не написанный.

Да уж ладно, скажут, Фрисеро все же француз. Пусть у французов о нем и голова болит. А нам бы порадовать о наших. Радеем ли? Авеню Доктора Менара. Узенькая улочка, пропахшая паприкой и свежестриженными кипарисовыми кустами, забита туристическими автобусами до самого верха холма. Там — знаменитый на весь мир музей Марка Шагала. В нем 17 самых известных его громадных, во всю стену, картин, множество акварелей, написанных маслом набросков и портретов, его гуаши, пастели, литографии, скульптуры...

С Шагалом дело у нас известное — не сложилось. Не сложилось дважды, если не трижды. Сначала в первые послереволюционные годы, когда он был комиссаром искусств в своем родном Витебске и воевал с Малевичем. Потом, когда эмигрировал во Францию, а оттуда во время войны — в США. Затем уже в начале 60-х годов, когда он сам послал свой альбом в дар Хрущеву, а тому его даже не показали, так так Никита Сергеевич «абстракционистов» не жаловал. Картины Шагала так и были нашими критиками дружно списаны в «абстрактные», «полурелигиозные», «мистические» и потому «народу не нужные». О нем практически забыли. И если все же иногда вспоминали, то, как правило, не лестно. А Ницца с 1973 года получает миллионы за счет музея Шагала.

Я сам не любитель его творчества. Оно меня за душу не берет. Но отрицать за Шагалом дар божий невозможно. В Искусстве это явление. Будучи евреем по рождению, он до конца своих дней воспевал стародавнюю Россию. Шагал умер всемирно известным «русским художником» и абсолютно никому не известным у себя на родине. А сейчас, когда вроде бы уже его признать можно, наши специалисты едут сюда, просят «поделиться» с нами Шагалом. И не раз еще, видно, придется нам так кланяться, если не научимся беречь все свое, отечественное.

...В Ницце я совершенно случайно встретил своего

парижского знакомого — доктора Сергея Николаевича Чехова. «Поздравьте, — сказал он. — Мне наконец-то разрешили построить госпиталь в Советском Союзе, правда, не в Москве, в одном из корпусов Боткинской больницы, как я мечтал, а в Грузии, но все равно...»

Доктор уже в том возрасте, когда можно вообще не заниматься ничем, кроме собственных удовольствий. Он богат. У него свой самолет, своя вилла в Швейцарии, своя практика под Парижем. У него то, что называется «все есть». И давно он уже живет во Франции, как французский гражданин. И все же притяжение России неодолимо. С его-то корнями! Впрочем, что я буду рассказывать, почему его так тянет в Россию? При чем здесь Боткин? Сергей Николаевич это делает куда лучше...

— Мой отец, — говорит он, — еще студентом медицинского факультета стал социалистом-революционером. В 1905 году он был арестован, осужден и затем выслан в Сибирь. Оттуда убежал. Немногим это удавалось. Шел он через всю Россию и, сумев уйти от преследований, уехал за границу, устроился в Париже.

Ему здесь пришлось заново осваивать не только французский язык, но и заканчивать медицинский факультет. В 1914 году началась первая мировая война. В Россию отец не мог вернуться: ведь он был политический — ссыльный и беглый. Тогда он пошел добровольцем во французскую армию и почти всю войну провел на передовой, в том числе под Верденом, где была настоящая мясорубка. Таких добровольцев, как известно, посылали не в тыл, а на верную гибель. После Вердена, где он пробыл от начала до конца, его направили в госпиталь Монпелье, где лечили раненых русских солдат, воевавших на Восточном фронте.

Моя мать была дочерью Сергея Петровича Боткина. Он мало жил в России. Его считали при дворе либералом, а на них тогда смотрели подозрительно. Поэтому он не любил жить в России, а жил либо в Финляндии, либо в Париже или в Италии, особенно на Капри. Там Боткины познакомились со многими русскими эмигрантами, включая Игоря Стравинского и Максима Горького. Горький, кстати, едва ли не ежедневно бывал в гостях у моей бабушки.

Мою мать война застала в Женеве. Как и отец, она тоже хотела хоть как-то помочь России в ее борьбе про-



тив немцев и пошла в Красный Крест. Так и ее назначили в военный госпиталь в Монпелье. И в этом госпитале они и познакомились с моим отцом, а в 1917 году поженились.

После первой, февральской, революции мой отец в Россию не вернулся. И причина вроде бы была не-серьезная. Дело в том, что тот корабль, на котором он должен был плыть в Россию, потопили немецкие подводные лодки в Средиземном море. Поездку пришлось на время отменить. А затем пришла Октябрьская революция, и эсеры, как вам известно, с большевиками не ладили. Он поэтому остался во Франции окончательно и работал терапевтом в маленьких французских городах.

Я воспитывался в двуязычной атмосфере — учил русский и французский. Моя бабушка — жена Сергея Петровича Боткина — много мной занималась, вплоть до своей смерти. Она умерла в 1929 году, 8 апреля. В белых русских кругах я бывал мало. Не потому, что ко мне относились с подозрением, скорее не так принимали, хоть русское дворянство не могло Боткиных отбрасывать. Все-таки сын Боткина был до конца с императором. Это был мой дядя — Евгений Сергеевич Боткин. В Екатеринбурге в 1918 году его расстреляли вместе с царем и со всей его семьей.

Князь Оболенский, мой прадед, женился на девушке из знатного венецианского рода Маруцци. Собственно, как это получилось? После убийства турками молдавского господаря князя Гикки его семья была принята при дворе Екатерины Великой. Одна из дочерей Гикки, Елена, вышла замуж за посла Венецианской Республики маркиза Маруцци. У них родилась дочка, которая вышла замуж за князя Сумарокова, а уже ее дочка вышла замуж за князя Оболенского, и у них родилась дочка Екатерина, которая и вышла замуж за Сергея Петровича Боткина...

«А за что же тогда вас не любили в эмиграции?»

«Где-то начиная с 70-х годов, еще когда я практиковал хирургию, я оперировал, когда в этом возникала нужда, практически всех советских граждан, работавших во Франции. И теперь я консультирую их, им помогаю...»

Он читает мне «Заповеди Боткина», пояснив: «Это мне подарили в Боткинской больнице, когда я там

был»: «Помни слова Сергея Петровича Боткина. Главнейшая и существенная задача практической медицины — предупреждение болезни и лечение болезни развившейся и, наконец, облегчение страданий больного человека. Спешь к людям, будь внимателен, терпелив, милосерден. Из всех сил и до последней минуты борись за жизнь человека. Человеческий организм целостная система. Сделай больного своим союзником в борьбе с недугом. Внушай веру в выздоровление, восстанови душевное здоровье. Все новое, создаваемое медицинской наукой, методы, препараты, приборы, неси в практику врачевания. Всегда учись. Не стыдись обращаться к товарищам за помощью и советом. Нет ничего опаснее думать, будто знаешь все. Не скрывай ошибок, ни своих, ни чужих. Зависть и амбиция несовместимы с твоей профессией, а ложь не спасает авторитета. У нас нет второстепенных работников и работ. В борьбе за здоровье человека все важно, и все ответственные. Храни славные традиции нашей больницы, гордись званием боткинца. Будь всегда достоин носить это звание».

«Красиво?»

«Красиво, — отвечаю я ему. — И разумно».

«А ведь это написано более ста лет назад. И все современно. Даже учение о системности...»

Он неугомонен. Низкий ему поклон за это. За доброту. Терпимость к нам и умение прощать.

...Я уходил из библиотеки на рю Лоншан и с благодарностью ко всем тем, кто хранит эти бесценные тома со времен Вяземского, и с сожалением — уйдет ведь все, как в песок, погибнет вместе с этими стариками, если мы вовремя не найдем с ними общего языка, не договоримся о том, чтобы как-то спасти это вместе для нашей общей Родины.

Старики провожали меня взглядами, в которых, я спиной чувствовал, не было тепла. Да и с чего это им, потомкам князей да белых офицеров, испытывать теплые чувства к корреспонденту «Правды»; а кто я такой, им, видно, Нина Владимировна рассказала. Слава богу, не было у них уже той былой ненависти к комиссарам, к «советчикам». Видно, давно уже все перегорело, перешло в измерение другое. Они быстрее нас поняли, что есть у всех русских одна общая святыня, которую не поделишь и доступ к которой у русской души, где б она ни маялась, не отнимешь никакими декретами. Это —

Родина, Русь. Осознав простую и вечную эту истину, они не бросились в объятия к нам, коммунистам. Они так же, как и мы, научились бороться за наши общие святыни. Объективно, как во время войны, вместе с нами. И все же по разные стороны баррикады. Это надо уметь понять и принять как данность, которую никаким волевым решением не изменишь. А для этого прежде всего необходимо признать их право быть такими русскими, которыми их предки были века...

Очень хотелось подойти к ним, поговорить. Что у них на душе? Что думает о нас, сегодняшних, переживающих, Русская Ницца? Если только она еще существует...

...На пороге моего гостиничного номера стоял человек в белом чесучовом костюме, с выдавшей виды шляпой-канотье в руке. Уже по тому, как он представился, слегка наклонив голову: «Игорь Борисович Ласкин-Ростовский», как сел в кресло, прямо держа спину, будто в седле, как положил руки, почти не касаясь подлокотников, было видно, что это пришелец из нашего далекого прошлого. И легко было догадаться, что титул князя достался ему по наследству не только юридически, но прежде всего генетически. Род Ласкиных-Ростовских действительно древний, идет от удельных князей, сидевших в подмосковном Ростове, а те уже вели свою генеалогию от самих Рюриковичей. Прадедом Игоря Борисовича по матери был «царскосельский гусар», генерал-майор Бухаров, друживший с А. С. Пушкиным. В полку Бухарова служил М. Ю. Лермонтов, который именно ему и посвятил стихи «К портрету старого гусара».

«У прадеда было имение Михалево в Псковской губернии, — неторопливо, будто четки, перебирая слова, говорит мой гость. — Я там много-много лет не был. Только в 1975 году удалось наконец увидеть родные места. Ведь мы уехали из России вскоре после Октябрьского переворота, в 1920-м. Я был совсем еще мальчиком... Нашей семье пришлось много пережить в те годы. Дело в том, что отец мой по окончании Пажеского корпуса стал офицером царской армии. В 1917 году он как раз был прикомандирован к нашему посольству в Вашингтоне и ждал, что мы тоже туда приедем, но известные обстоятельства нам это сделать помешали...

Нет, у меня нет никакой ненависти к большевикам.

Даже, как это ни странно, определенное чувство благодарности. Во-первых, красные спасли нашу семью в 20-м году, так как в нашем Порховском уезде действовали тогда банды Булака-Балаховича, который просто вырезал дворянские семьи, и если бы не красноармейцы, неизвестно, что с нами стало бы. А так нам в 1920 году все же удалось легально перебраться в Эстонию, где мы снова встретились с отцом. Оттуда уже переехали сюда, во Францию...

Во-вторых, при Советской власти уже наше имение все же не разорили дотла, а как-то сохранили. Я, конечно, не к тому это говорю, что надеюсь получить его когда-нибудь обратно. Просто приятно возвращаться в родное гнездо и видеть его целым. А возвращаться надо... Ведь это Родина...»

«А в Русской Ницце многие так думают?»

«Начнем с того, что ее практически уже нет. Те, кто былые времена помнит, — это старики, которым под 90. Они доживают свой век в Русском старческом доме, здесь, в Ницце. Таких, как я, из того поколения, что встретило революцию детьми, тоже осталось немного. Наши дети уже путали русские и французские слова. А внуки, современная молодежь наша, они по-русски практически не говорят, так, кое-что. Церковь захирела. Сейчас в основном службы идут в соборе на бульваре Царевнч. Сюда мало кто ходит. Разве что зайдут французы. Но для них это экзотика, развлеченне... Ну а что касается вашего вопроса об отношении к моим поездкам на Родину, то оно, поначалу особенно, было у многих просто враждебным. Сейчас, правда, попривыкли, да и перемены в Союзе делают свое дело и здесь...»

«В этом году поедете в Михалево?»

«Обязательно. Я же состою в обществе «Франция — СССР». Как вы говорите, активист. Вот по их линии и езжу в наше имение...»

Мы вышли с князем на улицу. Было поздно уже, и в небе Ниццы горели крупные, прозрачные звезды, бросая свой рассеянный свет на купол старой русской церквушки на рю Лоншан. От этого она казалась совсем воздушной и будто бы пришедшей из другого мира. Как Русская Ницца.

В советское консульство в Париже он позвонил уже к вечеру, когда рабочий день заканчивался. Дежурного дипломата «отчитал»: «Что же это такое, никак не могу к вам дозвониться. Все время занято. А у меня срочное дело. Хочу сдать деньги в фонд помощи советским воинам, раненым в Афганистане, 50 тысяч франков...»

— Кто вы?

— Русский человек, Вячеслав Петровнч Севастьянов, 1898 года рождения. Только вы уж, пожалуйста, сами ко мне подъезжайте, мне теперь передвигаться без помощи тяжело. Мой адрес... Записываете?

И вот я уже еду по этому печальному адресу: город Сен-Мор, приют для престарелых «Фуайе резиданс». Венсеннский лес, что под самым Парижем, еще не тронули краски осени. Солнце купается в сочной зеленой листве каштанов и платанов. И только желуди, покрывшие тропинки, да пожухлая придорожная трава напоминают, что на дворе сентябрь.

От Венсеннского леса до Сен-Мора — рукой подать. Дорога как бы сама привела к «Фуайе резиданс». Чистенький приют. Люди доживают здесь свой век в небольших однокомнатных квартирах, но у телевизора в холле собираются все же вместе — не так одиноко. И у входа сидели на скамеечке три чистенькие старушки, сторожа взглядом приютские ворота: не заедет ли вдруг сердобольный родственник?...

Вячеслав Петровнч был не один. Из консульства ему привезли анкеты на въезд в СССР. На 68-м году эмиграции, на 91-м году жизни он решил возвратиться на родину, насовсем.

— Верно нагадала тогда цыганка в Севастополе, в двадцатом году, — вспоминает он. — Сказала, что мне всю жизнь предстоит скитаться и что вернусь домой стариком. А я молодой был, ей не поверил.

Я никак не могу представить его молодым. Хотя в свои 90 лет он даже не облысел — седые волосы, зачесанные назад, как у священника, ниспадают почти до плеч. И все же годы не грим, не смоешь. Густая, словно льяная, борода, седые кустистые брови, старческая манера подолгу держать неподвижно руки на коленях ладонями вниз. А главное — глаза: выцветшие, подернутые слезой.

Мальчишка с уллицы заглядывает в окно — квартира на первом этаже выходит во двор — и ставит на стол пакет с продуктами. Потом разжимает кулак и нехотя высыпает на подоконник несколько монет. «Это сдача, месяе Севастьянов», — говорит он и исчезает. Вячеслав Петровнч провожает его взглядом, глаза, оживившиеся было при виде мальчишка, вновь тускнеют, и застывает в них нензбывная тоска...

«Мальчуган соседский, — говорит он, будто оправдываясь. — Еду покупает, а по вечерам забирает к себе мою кошку. Так мне спокойнее. Плачу ему за это, конечно. Я ведь здесь совсем один. Представляете. Ни знакомых, ни родных — никого».

«Ни-ко-го...» — глухо звучит это слово в четырех стенах приютской квартиры. Убогая мебель, не застеленная постель, письменный стол с многолетним наслоением писем и бумаг. Ненстребный запах однококой старости, от которого не избавляет даже открытое настежь окно. Понятно, что 50 тысяч франков у него были не лишние. Отдал, может быть, последние.

Консулу нужно записать его биографию. Вячеслав Петровнч рассказывает медленно, с долгими перерывами. И не потому, что припоминает, память у него отличная. Мешает одышка. И переволновался накануне, не спал всю ночь — ждал, дадут ли разрешение на оформление советского гражданства.

— Я родился в Новочеркасске, в казачьей семье. Отец, Петр Иванович Севастьянов, был редактором и управляющим «Донских областных ведомостей». В 1905 году он стал одним из основателей первого на Дону земского союза. Я окончил кадетский корпус в Новочеркасске и сдал экзамены в политехнический институт. Мечтал стать агрономом. Но не получилось, не судьба, как видно. И к тому же мне ужасно не везло...

Невезением номер один был призыв всего их курса в белую армию в 1919 году. За полтора месяца из студентов-второкурсников сделали артиллеристов. Во втором походе Деникина батарея Севастьянова дошла до Борнсоглебска, оттуда под ударами красных катилась обратно к Дону, к Новоросийску, а затем в Крым — к Врангелю. Будто листаю страницы булгаковского «Бег», а не слушаю Севастьянова. Венгерский углевоз «Сегед», набитый до отказа казаками. Чей-то голос: «Братцы, может, останемся, не уедем, простят... Родина

все же, братцы...» «Сегед» заглушил все сомнения последним гудком. И вот уже словно в пьяном бреду — минареты Константинополя, изматывающая качка на рейде, где их больше недели держали в карантине, ибо боялись тифа. Потом пришли вербовщики, звали ехать в Галлиполи, где белые собирали новую армию для нового «освободительного похода». Среди тех, кто отказался от реванша за Крым, был и Севастьянов. На «Сегеде» они прошли Босфор, причалили к берегам Югославии. И снова карантинный барак, голод.

«Надо было есть, надо было работать...» Стал рабочим на химическом заводе под Дубровником. Потом — землекопом, каменщиком. «Молодые были, сильные, — вспоминает Вячеслав Петрович. — Сначала, конечно, от тяжелой работы появились мозоли кровавые на ладонях, а потом все зарубцевалось. Зарабатывали прилично, с голоду не умерли. И то хорошо».

В 1923 году пошли слухи, что можно будет вернуться в Советскую Россию, что объявлена амнистия бывшим офицерам и солдатам белой армии. Во Франции был создан «Союз возвращения на родину». Севастьянов узнал, что первая группа белоэмигрантов готовится к репатриации в Болгарию. Чтобы попасть туда, он завербовался на железные рудники. Проработал там почти пять месяцев, пока не перебрался в Софию. Там его впервые познакомили с новыми советскими законами, с правилами возвращения на родину. «Я радовался, — говорит он, — что цыганкино предсказание не сбылось. Но оно, увы, сбывалось. В 1925 году в Болгарии после военного переворота была восстановлена монархия, и царь Борис наложил запрет на деятельность болгарского отделения «Союза возвращения на родину». Севастьянов решил ехать во Францию и попытаться вернуться домой оттуда. Снова рудник, на этот раз французский, под Мецем. Оттуда Вячеслав Петрович переехал в Париж, стал работать на мебельной фабрике.

Как все-таки бытие ваяет сознание! Воспитанник детского корпуса, мечтавший стать агрономом, бывший белый артиллерист подробно, любовно, даже с гордостью рассказывает, как учил его искусству полировки старый мастер на заводе эмигранта Королева под Парижем. Посвящает меня в тонкости смешения олифы и краски, искусство обработки застывшей лаковой поверхности.

Война заставила его снова сменить профессию — пошел на завод, выпускавший артиллерийские снаряды, и там работал по ночам, а днем, чтобы добывать себе пропитание, батрачил на ферме.

Из груды бумаг Севастьянов достает удостоверение ветерана Сопротивления, свидетельство о награждении его медалью, какие-то газетные вырезки, письма... «Вы слышали про «батальон д'Арманьяк? — спрашивает он. — Я провоевал в нем всю войну».

Я не слышал, но вежливо киваю, и это воодушевляет старика. Он начинает в деталях вспоминать те годы. Все ветераны похожи. Тут все переплелось: боль старой раны и до сих пор живущая радость по поводу когда-то сброшенного с самолета мешка с долгожданным табаком, память о первом бое и о последнем, имя лучшего друга, не дожившего до победы. И опять мне не повезло, говорит он, все так же упираясь ладонями в колени. Когда освободили Тулузу, на ее окраине я встретил группу русских, только что вырвавшихся из плена. От них узнал, что поблизости формируется русская часть из военнопленных, они мне дали адрес — Кэмп де Касно. Приехал туда, встретили хорошо, даже пловом накормили, а когда я попросил, чтобы и меня отправили домой вместе с русскими солдатами, тамошний начальник подумал, а потом сказал: «Оставайтесь-ка лучше здесь. Ведь вы же граждане Франции». То ли пожалел начальник, знал ведь, что на родине Севастьянова ждет по меньшей мере лагерь, то ли отринул — не наш, эмигрант... Так или иначе, судьба сделала еще один круг, и вновь он был отброшен от родины, теперь уж на долгие годы.

За второй мировой войной последовала «холодная война». Газеты пугали «красным террором». О России писали только как о «гигантской тюрьме» и «суперказарме». После войны он женился, и жена, старше его на семь лет, уговорила не ехать.

Севастьянов ненадолго умолкает, отдыхает от рассказанного и заново пережитого. Поражает его язык — столько лет на чужбине, а в какой чистоте сохранил родное слово. Как-то я повстречал бывшую советскую гражданку: вышла замуж за француза, живет в Париже. И забыла напрочь родной язык за какие-то девять лет. С трудом подбирает слова.



— Вячеслав Петровнч, а как вы так хорошо сохранили свой русский! Без всякой практики?

— Так как же можно иначе, когда это язык, на котором говорили отец, мать, братья. Есть, конечно, тут такие бывшие русские, которым на все это плевать. Я с ними не общаюсь. Лучше буду сам с собой разговаривать. Я уже привык так.

Потом он берет со стола старый номер журнала «Отчизна», который издается у нас для соотечественников за рубежом, и, перелистав его, говорит: «Вот считаешь когда, поплачешь...». Странным образом действительность в его восприятии переплелась с увиденными фотоснимками, с фильмами о России, которые он так пропустил через себя, будто бы сам прожил все показанное в кино и в иллюстрациях журналов. Верно, ностальгия — это не болезнь, а состояние души. «Вот женщина в поле, у могилы сына, — говорит он. — Вся в черном. И сидит, как окаменела. Женщины столько у нас перенесли. И в войну работали в поле, на заводах, заменяли мужчин...»

Другие как-то устранились во французской жизни, интегрировались, становясь уже больше французами, чем русскими. А Севастьянов не умел, да и, видимо, не хотел. Свою ностальгию глушил непрерывной воловьей работой, которая состояния ему не принесла, но покалечить сумела. После того, как при разгрузке 200-килограммовый тук рухнул ему на спину, он попал на два месяца в больницу и вышел оттуда уже полным инвалидом — спина больше не разогнулась. Со временем к этому добавилась водянка. Накопленных средств с трудом хватило, чтобы устроиться в приюте «Фуайе резиданс» и кое-как лечиться.

Предсказание цыганки все же сбылось. Вновь ему удалось увидеть родной Новочеркасск — в 1979 году. С группой туристов из общества «Франция — СССР» он поехал в Краснодар и оттуда, упросив местные власти, все же съездил в родные места, повидал брата Ивана, от которого писем не получал с войны. Брат обещал получить разрешение и построить для него в Новочеркасске квартиру. Сказал: «Как построю, напишу тебе сразу, чтобы приезжал». Не написал.

Огромная рыжая кошка бесцеремонно прыгает на мой блокнот и топчется, собираясь удобно устроиться

потом на коленях. «Вот и она радуется, — говорит Севастьянов. — Отвыкли мы от гостей...»

И снова плачет, морщась, словно от боли, — так резанула по сердцу собственная же фраза. Сквозь слезы произносит: «Может, доживу, приеду в Россию, хоть помру дома...» Подумалось: как-то он у нас устроится? Ведь совсем беспомощный, больной.

Мы уже собирались уходить, а Севастьянов все не отпускал, хотя и просидели вместе почти четыре часа. Руки его сохранили крепость, и, он, радуясь этому, то и дело сжимал наши ладони, будто старался удержать их, как давно порваниую, а теперь вот вдруг установленную связь с родиной.

Мы вышли из «Фуайе резиданс». Вечерело. Но старушки все так же сидели на скамейке, сторожа чистое и тоскливое одиночество французского приюта. К окошку Севастьянова снова подошел мальчик. Забирать на ночь кошку.

## ЧТО СЕЮТ, ЧТО ПОЖНУТ!

Звонок был поздний. С минуту соображал, кто бы это мог быть, механически отвечая: «Да, я, да, корреспондент «Правды» во Франции». И вдруг услышал: «С вами говорят из издательства «Посев». Мы проводим завтра семинар на тему о перестройке. Приглашаем, приходите. Начало в 14.30. Адрес: Рю Лекурб, дом 233. У входа вас встретят...»

Вот уж поистине в огороде бузина, в Киеве — дядька: «Посев» и перестройка. И даже — «гласность». Или решили показать, что их издательству, как и самому НТС (народно-трудовой союз, созданный в 1930 году), скрывать нечего — приходите, слушайте, даже советские?

С чего бы? Что за поворот? Эволюция НТС — дело заведомодохлое. Динозавры не развиваются. Уже в 1930-м, с первых своих шагов, НТС провозгласил целью уничтожение Советской власти. Его политическая программа тех лет сводилась к формуле «возрождения» России, выработанной еще генералом Корниловым: для начала перевешаем всех большевиков...

Не для того ли пошли главари НТС в услужение к

гитлеровцам во время войны? Тогда о «единой, неделимой» не вспоминали. Продавали Родину оптом и по частям. И себя продавали в услужение. Сначала нацистам. А после войны — англичанам, точнее — спецслужбе «Интеллидженс сервис». А уж те, убедившись, что победные реляции НТС о вербовке целой «армии» последователей в России — чистой воды липа, перепродали НТС вместе с издательством «Посев», журналом аналогичного названия и журналом «Грани» американской разведке. Под крылышком ЦРУ «Посев», а точнее — НТС, занимался, как это официально объявлено на первых же страницах журнала, «поддержкой российского освободительного движения во всех его проявлениях». Проще говоря — диверсионно-подрывной деятельностью и именно во всех ее проявлениях: от засылки в СССР печатной антисоветчины до вербовки.

Цели те же, что и в 30-х годах. Кумиры те же. На обложке девятого номера «Посева» за 1987 год — состоявшийся верховный вешатель России. Корнилов.

...Рю Лекурб, дом 233. Что-то вроде казармы. Глухая стена отгораживает внутренний двор. У ворот дежурит здоровенный детина в черном. Сзади кто-то дышит мне в спину: «Заждались. Рады, что пришли...»

Куда только журналистская судьба не заносит нашего брата! В зале — сине-бело-красные флаги Российской империи, которые по незнанию можно принять за французские, украшенные чем-то вроде петлюровского трезубца с надписью: «За Россию». Какие-то странные личности. Маленький человечек с бородкой и расплущенным носом потирает пухленькие свои ручки и сверлит меня масляными глазками через допотопного фасона очки, изготавливаясь к спору то ли со мной, то ли с залом. Сморщенная старушка в белом пуховом платке у плаката: «Жертвуйте в Фонд свободной России»... Рядом с ней кипа антисоветской литературы, гора журналов «Посев» — товар неходовой — и жестяная кружка вроде той, что приковывали на цепь к титану с пяточком на вокзалах во время войны.

Что за фонд? Читаю: «Фонд свободной России создан решением Совета НТС в 1966 году для поддержки российского освободительного движения. Собранные фондом средства идут на поддержание связи между оппозиционными группами в стране и зарубежной общественностью, на вывоз рукописей из страны, на пере-

правку в СССР изданной за рубежом литературы, на материальную помощь преследуемым. Фонд свободной России нуждается в вашей поддержке!»

Собравшиеся жертвовать в фонд не спешат. Да и что их копейки! На них и бумаги не купишь. А уж что говорить об издании карманным форматом и на папиросной бумаге антисоветских книг и брошюр, плакатов и листовок на русском языке для засылки в СССР, регулярной перепечатке листовок «Демократического союза», бюллетеня «Гласность» и т. д. и т. п. Тут дела многомиллионные.

...Меня любезно приглашают в первые ряды. Нет, господа, я здесь только как журналист и на роль «свадебного генерала» не готовился, не гожусь. Я где-нибудь с краешку, поближе к выходу. Поснжу, послушаю.

Е. Р. Миркович, главный редактор «Посева», не первой молодости дама с колючими глазами и резко очерченным ртом, представляет участников «диспута». Тут и Ян Эллот, советолог, главный редактор мелкотравчатого бюллетеня «Совет элелст», и главный редактор «Русской мысли» Т. Иловайская, и предатель Я. Барр, бывший сотрудник МИД Польши, а ныне представитель Восточного института в Берлине. Всю эту публику тоже, надо думать, кормят и выплачивают ей командировочные не из железной кружки.

...Госпожа Миркович сразу берет быка за рога: «Мы надеемся, что произойдет возобновление общественной жизни на основах конструктивного плюрализма, в утверждении которого одна из задач общественности в России, которая после 70-летнего опыта насильственной однопартийной системы начинает себя проявлять...» Да, они говорят только так — «У нас, в России», хотя и с акцентом, рассуждают о «русском национальном духе» и т. д., хотя в самом составе Совета НТС, в редколлегиях «Посева», «Граней» и «Русской мысли» людей чисто русских по национальности раз-два и обчелся. Та же, кстати, история, что в «русской» редакции радиостанции ЦРУ «Свобода», с которой НТС связан по рукам и ногам. Но это детали. Важнее политическая суть.

«Конструктивный плюрализм» — одно из самых последних энтээсовских изобретений. А в чем суть? Да тех же щей, только погуще. Ставку НТС делает сейчас, как поясняет госпожа главный редактор «Посева», на «те

силы, которые хотят не лакировочной перестройки системы, а коренного и принципиального изменения существующего политического и общественного строя...».

Или действительно после 70 лет Советской власти энтэзовцам удалось организовать в СССР свое подполье? Или это тот же показушный трюк, типа тех, которыми дурили головы англичанам, рассказывая об «отрядах НТС» в России? Впрочем, если сравнить программу НТС и «демократического союза»...

Мадам Миркович завершает свое вступление к дебатам на высокой ноте: «Сейчас в России началась регенерация общества, которая тормозилась властью в течение 70 лет! Под сомнение ставится не только 70-летняя практика власти (надо понимать Советской. — В. Б.), но и вообще оправданность самого Октября!»

Прокуренный голос мадам садится. Она тоже. На трибуне основной докладчик — член руководства НТС Владимир Рыбаков, ответственный секретарь «Посева». Доклад — мутный, как глаза у оратора — «смесь эклектики с диалектикой». Привожу текст дословно, без редактуры: «Действия в рамках системы — это вроде развернутого веера. Политически на одном конце веера — тотальный террор, на другом — власть. Экономически — на одном конце военный коммунизм, на другом — политико-экономическое расстояние между обоими концами веера представляет собой обширное поле для многочисленных комбинаций». Зал слушает затаив дыхание. Сосед мой толкает меня в бок локтем: «Во дает!»

Оратор путается. На-гора выдается сногшибательный термин: «Нам нужна политическая политизация...» Сообразив, что это масло масляное, он поправляется: «Свободная политизация, вот это я хотел сказать...». За словоблудием, однако, четко проглядывает та же программа 30-летней давности. И как только, поплутав по лабиринтам «философствующей философии», Рыбаков переходит к конкретным рекомендациям, язык его обретает четкость инструкций, предназначенных для завербованной агентуры:

«Для преобразований в России нужно провести первую реформу, о чем НТС говорит уже 50 лет, — это устранение от дел коммунистической партии. Такую цель может ставить только общероссийская политическая оппозиция. И надо понимать, что сегодня и в бу-

душем, до каких бы граней ни дошла перестройка, наша политическая оппозиция останется нелегальной, действующей в подполье. Надо использовать уже сейчас все открывающиеся перед нами новые возможности борьбы. Например, если будет изменена или отменена прописка, отменят трудовые книжки. Это даст нам небывалые возможности. Надо налаживать контакты с национальными, другими течениями оппозиции, выдвигать альтернативу существующей системе власти. Такого должно быть наше служение обществу в период перестройки...» (Заметьте, все это говорилось в ноябре 1987 года. Тогда только-только узнали о Нагорном Карабахе. Ни Тбилиси, ни Сухуми, ни Новый Узень, ни Сумгаит еще не стали ареной кровавых стычек.)

Добравшись до конца абзаца, оратор стирает капельки пота, выступившие на лысине, и благодарно вслушивается в дружные аплодисменты зала. Среди единомышленников и просто, и душевно. Мой восторженный сосед опять повторяет: «Ну, Рыбаков, ты им всем дал дрозда. Как все вывернул!»

Объявляют перерыв. И, пользуясь этим, я поднимаюсь, потихонечку пробираюсь к выходу. «Куда же вы, — звучит все тот же вкрадчивый голос. — Дальше будет еще интереснее».

«Нет уж, увольте, — говорю в ответ. — Все мне ясно».

«Так ли? А то, может, поспорили бы?»

«О чем же?»

«О перестройке, о чем же еще?!»

Слово это мой оппонент, преградивший мне всем своим телом дорогу к выходу, произносит, отчаянно грассируя. И с тем же французским или немецким, или каким еще «р», пулеметно трещит про свое: «Мы, солидаристы из НТС, с вами, конечно, не согласны идейно, но у нас есть то общее, что объединяет, — Россия, ее тысячелетняя история...»

Они говорят о перестройке, о «процессах, происходящих в нашей стране», о *нашем* народе», о *нашей* истории». А ставки все те же — на подполье, диверсии, листовки, подброшенные невидимой рукой, где каждый наш промах и каждый недочет оборачиваются вынесенным нам «приговором». Цель та же, сформулированная еще Корниловым. Ненависть та же. Они теперь не кричат: «Коммунистов к стенке, комиссаров на фонари!»

Подходят к советским людям с обаятельнейшей улыбкой, особенно за границей: «Ну как там *наша* перестройка?»

Как они ищут сейчас эту общность, наперебой предлагая нам рецепты «перестройки» на западный лад, такой, где социализмом и не пахнет!

...Я вышел на улицу из душного, тесного зала. Толстяк-охранник закрыл за мной тяжелую деревянную дверь. С улицы уже было не слышно, о чем там, за каменной стеной, говорили выступавшие энтээсовцы. Могу сказать с уверенностью только одно: те, кто оплачивает подобные сборища в Париже, прекрасно понимают, во сколько раз приумножится притягательная сила социализма, если мы докажем его превосходство над капитализмом по всем параметрам. И обсуждать они могли лишь одно — как нам в этом помешать. Мы должны понимать это, хотя и не будем сваливать все свои неудачи на чужие происки. Нам нелегко. Быть может, будет еще труднее. Но если не мы, то кто же?!

## **«ТАК ХОЧЕТСЯ УВИДЕТЬ ВОЛГУ...»**

В Руане непогодило. Низко проплывавшая туча зацепилась краем за высокий шпиль знаменитого собора, который строили почти 500 лет, и пролилась таким ливнем, что даже самые стойкие туристы поспешили скрыться в автобусах. В те дни их в Руане, как всегда, было великое множество: и сезон начался, и к тому же приближалось 30 мая — в тот день в 1431 году в Руане сожгли на костре Жанну д'Арк.

В Руане живет сама история Франции. Когда идешь по узенькой улочке Старого города к храму, по которой когда-то инквизиторы водили на допросы обвиненную ими в колдовстве Орлеанскую деву, то кажется, что слышишь стук деревянных башмаков по булыжной мостовой, потрескивание масляных факелов и скрежет средневековых доспехов ратников. Время здесь как бы остановилось.

Но хотя мостовая и булыжная, древняя, по ней идет XX век со своими предрассудками, причудами и парадоксами. Вот один из них: имя Жанны д'Арк взяли на вооружение молодчики из ультраправого «национально-

го фронта» Ле Пена, современные «охотники на ведьм», стопроцентные антикоммунисты и антидемократы. Дай им только право зажигать «костры очищения». Запылают не только книги...

Об «охоте на ведьм» заговорили вновь, когда французская печать с марта 1987 года принялась раздувать дело об «обнаруженной в Руане советской шпионской сети, созданной для того, чтобы украсть секреты французской космической ракеты «Ариан». По «делу «Ариан» 17 марта в Руане арестовали советскую гражданку Людмилу Павловну Варигину, жену французского инженера Пьера Вердые (его бросили в тюрьму на день раньше).

Только 2 апреля Людмилу выпустили за отсутствием улик. Но по-прежнему строгий полицейский надзор, обязательство — каждый вторник и пятницу отмечаться у следователя мадемуазель Элизабет Сено, отвечать на дошлые расспросы и возвращаться потом к себе домой сквозь толпу, в которой едва ли не каждый знает ее в лицо: во всех газетах и иллюстрированных журналах десятки раз воспроизведены ее фотографии анфас, в профиль, в наручниках и без, рядом с дюжим, усатым жандармом.

Что пережила наша с вами соотечественница, которая приехала сюда во Францию с берегов Волги из Ярославля на берега Сены к человеку, которого, так уж сложилось, полюбила, связала с ним свою судьбу на всю жизнь?

У подъезда ее дома в Руане — десятки фотокорреспондентов, кинооператоры. На телекамерах — фирменные знаки всех телепрограмм Франции. Ждут приезда посла Советского Союза во Франции Я. П. Рябова. Раньше у нас, бывало, в таких случаях многозначительно молчали. Времена теперь, к счастью, изменились. Советское государство не оставило Людмилу в беде. С самого начала с ней поддерживали связь и наши дипломаты, и мы, советские корреспонденты. О ее судьбе говорили на самом высшем уровне во время визита премьер-министра Ж. Ширака в Москву в мае 1987 года. Премьер обещал «разобраться», хотя и сослался на то, что исполнительная власть суды не контролирует. Он вернулся из Москвы в Париж, а Людмила по-прежнему ходила на допросы, по-прежнему ей отказывали во встрече с мужем, по-прежнему не разрешали выехать в



Ярославль для сдачи экзаменов в пединституте, повидать родных, больную мать. Да и только ли это...

Нацеленные зрочки кинокамер, чуткие головки микрофонов. Советского посла встречают заранее заготовленными вопросами: «Не означает ли ваш приезд сюда вмешательство в дела французского правосудия?» Яков Петрович отвечает терпеливо, вежливо, разъясняя, что ни с кем из работников суда пока еще не встречался, что приехал на встречу с советской гражданкой, права которой совершенно очевидно нарушаются, и посольство СССР закрывать на это глаза не может.

Чего только про нее здесь не писали! «Людмила не смогла бы приехать во Францию, если бы ее муж Вердье не пошел на предательство и не стал бы сотрудничать с советской разведкой» («Либерасьон», 30 и 31 марта 1987 г.), «Людмила Варигина — рабочая лошадка гнезда шпионов «Ариан» («Фигаро», 1 апреля). И та же «Фигаро», только раньше — 22 марта: «Во Франции немало семейных пар, в которых жены с Востока. Аресты в Руане подтверждают, что такие браки могут вылиться в «шпионские романы», и это куда реальнее и опаснее, чем многие думают». Пугали. Но популярность у французских мужчин «жен с Востока» не может поколебать даже секретная служба ДСТ, которая эти «данные» и подбрасывает печати.

...Небольшая квартира Вердье. Скрамная. Сразу видно, что большого достатка тут нет. Но ясно, что живут в ней не только французы, но и русский человек. Стоят матрешки в ряд, на стенах — цветные фотографии Суздаля, Ярославля, Волги. Гости только что ушли. Но Людмила еще, видно, не пришла в себя от вспышек блицев, вопросов корреспондентов и испытующих объективов телекамер. С ней вместе родители Пьера Вердье. Обоим — по 72 года. Для них она родная. Общее горе сблизило.

Людмила встряхивает густой копной вьющихся белокурых волос. Потом, словно продолжая начатый разговор, говорит: «Как на работу все еще хожу во Дворец правосудия. Все чего-то выискивают. Не знают, видимо, сами, как выкрутиться из всей этой истории. Доказательств у них никаких нет, да и быть не может. Хотят, видно, как-то через меня повлиять на Пьера, заставить его «признаться». Меня ведь тоже заставляли, кричали: «Ты одна здесь, защищать тебя некому, твои

советские от тебя отказались. А вернешься к ним, попадешь в Сибирь, за решетку, в ГУЛАГ...» Знаете, как было страшно. Больше всего меня мучило, что об этом никто не узнает, не узнают, как со мной обращались, боялась, что останусь в этой тюрьме на всю жизнь».

Трудно себе представить ее, хрупкую, порывистую, видимо, очень далекую от политики женщину, приехавшую сюда с теми романтическими представлениями о Франции, которые у нас в России традиционны, с глазу на глаз со следователями, в одиночной камере, в наручниках. Когда она об этом рассказывает, по ее лицу пробегает какая-то черная тень, оставляя темный след под глазами.

«Сейчас я спокойнее. Знаю, что не одна. Мне легче. Со мной — моя Родина. Она меня в обиду не даст, защитит. А вот Пьер — один. Ему никто, кроме родителей, не поможет. Сейчас даже в газетах уже пишут, что все это «дело «Ариан» — липовое, а люди... Люди молчат. Никто не протестует против его ареста, против того, что мне не дают выехать в Ярославль, хотя бы экзамены сдать. Боятся... Я иначе себе представляла французов. Думала, они такие свободные, делают что хотят, ни на кого не оглядываются. Еще как оглядываются...» Спрашиваю: «А Пьера ты так и не видела со дня ареста?»

«Нет. Обещали, что на днях что-то мне скажут. Но пока только кормят «завтраками». А теперь придумали — сообщили через моего адвоката, что я будто бы должна пройти обследование у психиатров. Зачем? Если бы это все помогло прояснению истины, я бы согласилась. Но все это — дешевый спектакль, большая политика. Кому-то очень хотелось погреть руки на антисоветизме, вот поэтому и устроили все это «дело». Видно, уже и сами понимают, что сели в лужу, и ищут, как бы с честью из этого выбраться. Но я им помогать не собираюсь. Ни на какое обследование не пойду. Это для меня оскорбительно».

Она смолкает. Месье Вердье гладит ее по руке, приговаривая: «Успокойся, дочка, успокойся. Все будет хорошо, хорошо...». Он и сам не уверен, заметно по нему, будет ли все хорошо.

Вот как жизнь повернулась. Комсомолке из Ярославля пришлось здесь, во Франции, вести бой с профессиональными антикоммунистами, чтобы защитить себя, свою любовь и честь своей Родины. И не сдавалась она, держала оборону упорно. «У нас разве это было бы

возможно? — говорит она. — Они пишут тут в своих газетах, что у нас «психиатрию» используют в политических целях. А сами... Пишут об «узниках совести». А я кто? Я против своей совести не пойду. Как бы меня ни запугивали, я лгать ни на себя, ни на Пьера не буду. Они ничего предъявить нам не могут. И я им с самого начала заявила, что никакого отношения к шпионажу ни он, ни я не имеем».

«Что передать вашим друзьям, Люда?» — спрашиваю на прощание.

«Передайте, что завидую им. Завидую тому, что они могут видеть Москву, Ярославль, нашу Волгу. Так хочется увидеть Волгу. Никогда не думала, что тоска по Родине может быть тако́й сильной. Неодолимой. По родному слову тоскую...»

...В подъезде ее руанского дома толпились корреспонденты. Ждали, когда она выйдет. Людмила вышла. Но совсем другая, не та, которую я видел за несколько минут до этого. Гордо вскинутая голова, открытый взгляд. Прямо бросила в направленную на нее кинокамеру: «Мы ни в чем не виноваты. Ни я, ни мой муж. Я буду требовать у премьер-министра Жака Ширака принять меня и положить конец этому делу, позорящему Францию». (Два года прошло, прежде чем это позорное дело закрыли, оправдав всех.) В эфир это, конечно, так и не попало. «Свободная пресса» знает, когда ей надо быть свободной, а когда нет.

Людмила проводила меня до машины. Я шепнул ей на прощание: «Держись!» Туча рассеялась. Выглянуло робкое солнце. У собора снова толпились туристы. А по той самой улочке, по которой водили инквизиторы Жанну д'Арк, шли с барабанами и хоругвями холеные молодцы с лентами цветов французского флага через плечо. «Долой иммигрантов и коммунистов! — кричали они во все горло. — Франция — французам! Ле Пена в президенты!»

## ОТ ИЛОВЛИ ДО ЛАНА...

«Из привычной атмосферы, в которой вы так или иначе обдержались, вас насильственно переносят в атмосферу чуждую, насыщенную иными нравами, иными

привычками, иным говором и даже иным разумом... Нет ничего изнурительнее, как не понимать и не быть понимаемым. Я говорю это не в смысле разности в языке — для культурного человека это неудобство легко устранимое, — но трудно, почти невыносимо в молчании снедать боль сердца, ту щемящую боль, которая зародилась где-нибудь на берегах Иловли и по пятам пришла за вами, к самой подошве Мальберга. Там, в долине Иловли, эта боль напоминала вам о живучести в вас человеческого естества; здесь, в долине Лана, она ровно ни о чем не напоминает, ибо ее давно уже пережили (может быть, за несколько поколений назад), да и на бобах развели».

Это — классическое определение корней русской ностальгии, принадлежащее М. Е. Салтыкову-Щедрину. Но он писал о переживаниях русского человека, отправленного на три месяца врачами на немецкий курорт.

Во времена застоя бывало так, да и не раз, что на Западе оказывались выброшенными люди, которые без своей Иловли и вовсе жить не могли, а им предлагали вечное поселение либо на берегах какого-нибудь Лана, либо в долинах тех наших речек, которые оттаивают только на два-три месяца в году. На выбор. Сейчас невозможно подсчитать, какой ущерб был нанесен Советскому Союзу подобной «утечкой мозгов». Но меня больше интересует сейчас все же, что в этих самых мозгах творится. Осталась ли та щедринская боль, или ее «давно пережили» и «на бобах развели»?..

Александр Зиновьев... Довольно известный философ, обладатель несомненного литературного дарования. Родину он покинул не по собственному желанию, а в силу уже известного выбора между двумя речками.

Вспоминается, как он говорил в одном интервью: «Даже после того, как при Брежневе меня выслали из Советского Союза и я стал жить на Западе, мне не удалось вырваться из обстановки ложных слухов и клеветы. Меня зачисляли в антисемиты и сионисты, в русофобы и в русские шовинисты, в коммунисты и антикоммунисты... Я ни то, ни другое и не прочее. Моя позиция такова: я — самостоятельное государство из одного человека, я никому не служу, не следую ни за кем...»

Трудно сказать, чего больше в этом заявлении — высокомерия непонятого интеллектуала или отчаяния от непонимания. В 1990 году ему исполнилось 68 лет,

из которых 12 он к тому времени уже прожил на Западе, так ни разу и не вернувшись в СССР после изгнания. У него за спиной, помимо самого значительного его романа «Зияющие высоты», десятки книг, сотни статей, выдающиеся научные работы по математической логике, философии, истории, социологии...

Мы встретились с ним в Париже. Он выступал лекцией в Доме писателей, а потом долго отвечал на вопросы. С его согласия я записал с ним интервью.

— Вы критик. Но вас воспринимают скорее как Овода, а вашу миссию отнюдь не как лечебную. Часто говорят, как сегодня, — вот Зиновьев все критикует, а что он предлагает, какие решения? И если вы ничего не предлагаете, то вас называют демагогом, критиканом, кем угодно. Как вы выходите из этого положения?

— Никак. Я продолжаю идти своим путем. Я слеую правилу, которое высказал Петрарка и повторил Маркс — иди своей дорогой, и пусть другие говорят, что угодно.

— А как это сказывается на вашей популярности?

— Меня проблема популярности совершенно не волнует. Я непопулярен, я это знаю. Вспомните Лермонтова, когда он писал в предисловии к «Герою нашего времени», что общество нуждается в горьких лекарствах. Правда, здесь должна быть мера в дозах. У нас на Родине она сейчас, увы, нарушена.

— Из сладких пиллюль вы умудряетесь извлекать хину. И наоборот. Например, многие критики называют вас сталинистом за те ваши последние работы, где Сталин выглядит совсем не так, как у Рыбакова. А ваши поклонники возражают им и говорят, что вы даже в свое время хотели убить Сталина.

— Я всегда шел против течения. Идея убить Сталина у меня действительно была в юности, в 16—17 лет. Я был в жутком состоянии. Как мы жили, вы вообразить себе не можете. Вечный голод, грязь, вши, физическое напряжение, разорение колхоза. Был срыв. Я остался антисталинистом, но после войны, правда, стал к Сталину относиться уже не как к личности, а как к социальному явлению.

Я здесь напечатал книгу, которая называется «Нашей юности полет». Ее многие восприняли как апологику Сталина. Но это не апологетика. Я просто вы-

бросил свое эмоциональное к нему отношение тех времен.

Вот сейчас я критикую Горбачева. Но случись такое, что все его начнут поносить, я напишу книгу в его защиту. Поэтому такой «враг», как я, может быть предпочтительнее, чем некоторые сегодняшние друзья. Я к нашим выдающимся деятелям объективен — в отпущенный им период власти я всегда шел против потока восторгов и аллилуйщины, а потом применял к ним подход исторический.

— Ваша последняя книга — «Катастрожка». Одно название ее говорит о том, что и к перестройке вы подходите с резко критических позиций. Или вы будете так поступать, пока перестройка у нас не закончится?

— «Катастрожка» — это шутка своего рода, сатирический памфлет в литературной форме. По законам жанра он не может быть положительным. Можете вы представить себе, что в истории града Глупова вдруг появился бы параграф, в котором было бы написано: «Но, несмотря на это, надо отдать должное тому, что все-таки были в Глупове хорошие губернаторы, которые делали то-то и то-то». Ведь в русской истории действительно были великие политические деятели и хорошие губернаторы. Цари даже были хорошие.

Что касается «Катастрожки», то она действительно сейчас стала бестселлером и пользуется огромным успехом, на что ни я, автор, когда писал ее, ни издатель не рассчитывали.

— Некоторые рецензенты ваши книги рассматривают как иллюстрацию того, что «октябрь 17-го был ошибкой», а все, что было потом, — «черным провалом». А вы сами как считаете?

— Я вовсе не считаю, что в нашей истории было только плохое. Было и немало хорошего. Коммунизм существует мало, 70 с небольшим лет. Западная цивилизация существует много столетий. Мы с вами не можем предвидеть, что будет через 500—600 лет. Историческое время — это не жизнь отдельного поколения. Историческое время — это столетия и тысячелетия. К сожалению, за жизнь одного поколения мало, что можно сделать.

Я категорически протестую против того, чтобы нашу историю рассматривать как «черный провал». Вот я недавно прочитал выступление историка Юрия Афа-

насьева. Он утверждает, что наше общество — это вообще пример тупикового развития. Я считаю, что это абсурд. Стопроцентный абсурд со всех точек зрения. Наша система возникла не по злему умыслу «горстки евреев», как утверждали антикоммунисты 20-х годов и как бездумно повторяют это некоторые их последователи сегодня, а закономерно, и развивается она по объективным законам истории.

Это не «черный провал». Советская история — тяжелая, трагическая, страшная, но грандиозная. Не все в ней было злом. Были великие достижения. Люди еще не оценили их по достоинству, но это придет с годами.

Эмиграция никогда не была и не будет однородной... Ее всегда будут раздирать групповые страсти и привязанности. Политические взгляды никогда не будут там универсальными, хотя, при всем плюрализме, эмигрантов коммунистических убеждений — раз-два и обчелся. Самая значительная «партия» эмиграции — это все же аполитичная «жироида», чье жизненное кредо выразил один из популярных здесь «бардов»: «Я хотел бы жить в России, но ходить в супермаркет на Западе». Действуя в этой среде уже более 70 лет, антикоммунисты знают, как поставить под свой контроль «сомневающих» и «колеблющихся». Но чем демократичнее наш строй, чем терпимее мы к взглядам друг друга, в том числе и своих соотечественников за рубежом, тем труднее антисоветчикам оставаться «властителями умов» эмиграции. Перестройка поставила гамлетовские вопросы не только перед гражданами, которые живут в СССР. Не избежала этого и эмиграция, где процесс политической поляризации сейчас достаточно очевиден.

Далеко не все ее «блестящие умы», оказавшиеся на Западе из-за неприятия застойного социализма, аплодируют перестройке. Для многих авторов «Русской мысли» она звучит, как «анафема». Да и не только они перед реальностью перестройки стали «большими католиками», чем сам папа, перешли на позиции более откровенного антисоветизма, чем даже в начале 80-х годов. По сути дела, они попали в положение «последних солдат императора» со своей готовностью любой ценой продолжать дискредитированную «холодную войну» против коммунизма. Даже если им придется вести ее в одиночку.

Запад, конечно, не списал в архив ни новых, ни ста-

рых «твердолобых» из эмиграции, но сейчас явно чурается. Об этом можно судить, в частности, по тому, что некоторое время процветавший «интернационал сопротивления» (коммунизму) вынужден был переселиться с престижных Елисейских полей поближе к парижским окраинам (видимо, в ЦРУ решили, что и эта «фирма» неминуемо обанкротится). К тому же солидные издания на Западе предпочитают теперь обращаться за разъяснениями того, что им не ясно в нашей действительности, не к «интерсопротивленцам», а непосредственно к советской печати, советским авторам, либо, на худой конец, — к более или менее объективному анализу своих собственных «советологов». Это и понятно. Слепая ненависть трезвому анализу не способствует.

Еще в первой послеоктябрьской волне был отмечен этот феномен — антисоветизм у самых озлобившихся эмигрантов оборачивался ненавистью к русскому народу только потому, что он не желал свергать Советскую власть, то есть, по сути дела, «смердяковщиной». Смердяковы же из третьей волны эмиграции немногочисленны, но героя Достоевского превзошли. Так, например, постоянный автор «Русской мысли», издающейся в Париже вот уже около сорока лет, А. Гинзбург в своем выступлении на парижском «коллоквиуме Малюре» по правам человека и вообще списал советский народ со счетов как «не заслуживающий доверия».

Неужели запах западной колбасы так отбивает всякую ностальгию по дыму Отечества? Или Отечества у них в душе и не было, а был один дым? Или все затмили личные обиды, стократ умноженные на личные амбиции? А как иначе объяснить известный ультиматум, опубликованный лидерами «интернационала сопротивления» в газете «Фигаро», а затем перепечатанный в «Московских новостях». (Это, кстати, вызвало у его авторов серьезное недоумение, которым они поделились с «Русской мыслью»: «И зачем это в Москве понадобилось печатать нашу антисоветскую листовку?!») Ведь ни до чего более не додумались, как потребовать, по сути дела, расстелить перед ними ковровую дорожку, дать белого коня и встретить с колокольным звоном на въезде в Первопрестольную... На нечто подобное претендовали последовательно Корнилов, Колчак, Деникин. Мы это отвергли раз и навсегда.

Огульное отрицание перестройки раздражает даже



тех, кто симпатий ни к ней, ни к нам не испытывает. Чтобы не быть голословным, приведу пример весьма любопытной полемики, прозвучавшей со страниц эмигрантского журнала «Синтаксис». Некий Н. Кленов, москвич, но тем не менее давний автор «Синтаксиса», пишет: «...Как же надо относиться к «перестройке»? Прежде всего нельзя верить ничему, что говорят и делают Горбачев и его люди. Те, кто поступает к нему на службу, помогая создавать ему приличный образ для иностранной публики, берут на себя тяжкую ответственность. Они обманывают народ...»

Давно ли такие материалы в «Синтаксисе» и ему подобных изданиях шли на «ура!»? Но вот теперь, хотя пока от услуг кленовых и не отказываются, все же от их глупости отмежевываются. Рядом с «криком души» автора из Москвы был помещен ответ ему редакции за подписью Ю. Вишневской. «...Аргументация Н. Кленова по основным из затронутых им вопросов, — пишет она, — содержит крайне мало нового по сравнению с тоннами антиперестроечных деклараций, печатающихся сегодня в десятках эмигрантских журналов. Для всех этих материалов характерна железная категоричность суждений и черно-белая картина мира. Единственное отличие Н. Кленова, автора, живущего в СССР, от своих эмигрантских единомышленников-антиперестроечников заключается в том, что он еще не пережил периода бурного разочарования в Западе вообще и в Соединенных Штатах в частности. Между тем духовный путь десятков таких эмигрантов проходил на моих глазах, и я смело могу засвидетельствовать, что существующий в воображении образ западного мира — лишь первый этап на пути к антизападным убеждениям подобного рода людей.

Например, достаточно сомнительной представляется одна из основополагающих идей статьи Н. Кленова, согласно которой Советским Союзом на протяжении последних семидесяти лет управляют одни безграмотные идиоты и мерзавцы, в то время как у руля западной демократии ликургов сменяют солоны, а солон — периклы. Боюсь, интеллигентный американец или западноевропейец просто лопнет со смеху, если перевести ему соответствующие пассажи из статьи Кленова. Об этом, кстати, следовало бы помнить иным нашим изданиям,

которые красят геронческую историю нашей страны одной только черной краской».

Очевидно, так, как Ю. Вишневская, в эмиграции рассуждают многие. Иначе не было бы ее письма в «Синтаксисе». Однако и эта публикация не показатель часто примитивно у нас понимаемого «прозрения», а скорее свидетельство готовности к более-менее объективному восприятию происходящих в Советском Союзе событий. До «единения» здесь далеко, да к нему, как правило, и не стремятся.

...В конце октября 1988 года в Парижском институте славяноведения состоялся творческий вечер поэта Иосифа Бродского. В 1973 году он был осужден «за тунеядство» в Ленинграде, в 1975-м — изгнан из пределов СССР на Запад, в 1987-м — отмечен Нобелевской премией по литературе. Сообщение об этой премии в нашей печати появилось практически без всяких комментариев. Официально радоваться повода не было — поэт вроде бы уже «не наш», а иного подданства. Ругать Нобелевский комитет за то, что выбор его был «политическим», тоже вроде бы было не с руки, так как Бродский, несмотря на все свои личные обиды, от профессиональных антисоветчиков на Западе старался держаться подальше. Брезговал. Порадоваться просто за то, что отмечен русский поэт, по-прежнему многим мешал присущий нам все тот же комплекс брошенной жены, только в несколько другом варианте: ну выгнала сгоряча, так что теперь, извиняться перед ним, что ли? К этому в общем и свелась официальная реакция.

В прессе все было иначе. Судя по некоторым статьям, можно было подумать, что Бродский, услышав о перестройке, упаковал чемоданы и только и ждет приглашения приехать в СССР насовсем или по крайней мере на творческую побывку.

...На том вечере, говоря о своих друзьях-поэтах, оставшихся в СССР, он сказал, что завидует им, «потому что они живут дома — им стены помогают, им язык помогает, им помогает просто естественность их существования». Казалось бы, вот тут-то и срабатывает ностальгия, и, сказав «а», поэт говорит и «б»... Но, признавая всю «неестественность» существования русского поэта вне русскоговорящей среды, в отрыве от русского народа и его литературы, Иосиф Бродский тем

не менее говорит: «Я сомневаюсь, что я когда-либо вернусь в Отечество. Сильно сомневаюсь...» Но кто бы Бродского спрашивал! Прочь сомненья! И вот уже шлют гонцов, заваливают приглашениями...

Выступал как-то в Париже один наш уважаемый писатель и предложил — отменить прежние решения о высылке за границу и лишении гражданства ряда советских художников, литераторов и ученых. Справедливость, конечно, восстановить надо, в первую очередь из уважения к самим себе. И для понимания нынешними и будущими поколениями простой истинны: когда общество начинает воевать со своей интеллигенцией, а уже тем более изгонять ее навечно из пределов родного государства, то это уже само по себе знак беды, серьезной болезни общества.

Писатель, однако, не сказал, откуда начинать отсчет несправедливости, очевидно, подразумевая, что речь идет исключительно о временах застоя. Увы, началось это куда раньше. Классической стала история изгнания Питирима Сорокина по личному указанию В. И. Ленина. По указанию Сталина из пределов был изгнан не только Л. Троцкий с семьей и некоторыми соратниками. Например, отобрали советский паспорт в Париже у Ф. И. Шаляпина. В тот период за границу отправляли именем революции, и изгнанные не зря считали, что им еще повезло, так как тем же именем могли поставить запросто и к стенке. Это был массовый исход российской интеллигенции, завершивший формирование первой волны эмиграции.

В дальнейшем изгнание применялось в исключительных случаях, как правило, в рамках некоей государственной игры. Обреченный на забвение и исчезновение человек, по сути дела, обменивался на что-то или на кого-то. При Н. С. Хрущеве первыми жертвами «охоты на интеллигентов» стали «абстракционисты», то есть художники-конформисты, а затем уже и литераторы, посмеявшие отойти от официальной линии и личных указаний Никиты Сергеевича, который, увы, демократом не был. На инакомыслящую интеллигенцию начались гонения по всей стране. При Л. И. Брежневле изгнания приняли уже характер, по сравнению с периодом Хрущева, просто регулярный, хотя и не массовый, если, конечно, не считать еврейской эмиграции. Но там были в основном добровольцы. Хотя иной раз в Изра-

нль направлялись, особенно из провинции, не угодившие местному начальству бунтари чисто славянских кровей.

Так вот первый вопрос: с какого года начать отменять решения о высылке и лишении гражданства? Рядом и вопрос второй: следует ли чисто механически выписывать наш «молоткастый, серпастый» всем тем, кто уже давно обрел другое гражданство и с нами принципиально никаких дел иметь не хочет? Или по крайней мере не хочет быть советским гражданином со всеми из этого вытекающими обязательствами, покуда Россия остается социалистической.

Наивысшим проявлением несправедливости того застойного времени считается изгнание Солженицына. Действительно, как сейчас стало ясно, выпроводили его из СССР, нарушив практически все на этот счет законы. Но, исправляя произвол тех лет, все же следовало бы проявить элементарный такт по отношению к писателю, не навязывать ему теперь то, что тогда отняли и что он потом сам оторнул. Или мы опять собираемся облагодетельствовать всех, кого считаем для этого подходящими, независимо от их желания и потребности? Ну почему бы для начала не спросить у Солженицына, идеалом политического устройства России для которого по-прежнему остается самодержавие, желает ли он, гражданин США, возвращения в советское гражданство? А быть может, он этого не желает и смотрит на наши попытки его облагодетельствовать с таким ужасом? Ведь это не почетный диплом присудить!

А Василий Аксенов? Или наши уважаемые поклонники его таланта полагают, что он просто спит и видит, когда заново пропишется на Ленинском проспекте и снова будет ежедневно наблюдать из своего окна памятник Юрию Гагарину, из-за которого он, судя по некоторым его публикациям в США, и решил «избрать свободу». И уж раз он ее избрал, зачем мы донимаем его своим «Веринсь, я все прошу!»?

Ну а Максимова, Гинзбурга, Буковского, Гладнилина тоже, выходят, запишем в советские граждане, «хотя они того или не хотят». Да они сами от такой перспективы проснулись бы в холодном поту. Но почему-то те «менестрели перестройки», которые еще вчера обличали этих активистов «филнала» Союза писателей при радиостанции «Свобода», сегодня проявляют по отноше-

нию к ним куда большую терпимость, чем к тем писателям-патриотам, которые ни свою Родину, ни Союз писателей не покинули и перестройку, что называется, выстрадали?! Или же это происходит по недомыслию. Или же в силу очевидной утраты элементарных нравственных критериев и самоуважения.

В той немалой идеологической путанице, характерной для нашей политической жизни конца 80-х годов, вопрос о патриотизме и, в частности, о патриотизме в эмиграции, был окончательно запутан, хотя страсти вокруг него кипели немалые. Не приклеивая никому ярлыков, не спрашивая по традиции: «Раз уж они такие патриоты, то почему же не возвращаются?», давайте все же попытаемся отнестись спокойно к тому, что наличие советского паспорта еще не первый признак патриотизма. Уже потому, что патриотизм — это категория внеклассовая, внепартийная, относящаяся скорее к общечеловеческим ценностям, и поэтому русскими патриотами могут быть одновременно и коммунист, и монархист.

В Толковом словаре В. Даля «патриотизм» (от греческого «патрис» — «родина») переводится как «любовь к отечеству», а «патриот» — это «любитель отечества, ревнитель о благе его, отчизнелюб, отечественник».

Современный академический Словарь русского языка издания 1984 года также обозначает патриотизм как «любовь к родине», но добавляет к этому: «преданность своему отечеству, своему народу».

Во многих советских источниках приводится высказывание В. И. Ленина из его работы «Ценные признания Питирима Сорокина»: «Патриотизм — одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств». Писатель Леонид Леонов говорил также о «большом» и «малом» патриотизме, подразумевая под последним любовь к тому месту, где живешь, где родился.

Нигде, заметьте, у классиков на классовые корни патриотизма указания не содержится. Началось приспособление сих корней к этому понятию где-то в 30—40-х годах. Появились такие термины, как «советский патриотизм», и в 70-х годах — «социалистический патриотизм». Под первым подразумевалась не только любовь ко всему Союзу Советских Соци-

листических Республик в границах 1945 года, но и преданность Советской власти. Второе предполагало «органическую связь с интернационализмом в противоположность буржуазному национализму, а также космополитизму» (см. «Советский энциклопедический словарь», 1980 г.). С подобной меркой такое понятие, как «русский патриотизм», практически ставилось где-то в один ряд с шовинизмом, хотя и были «классовые» толкования в духе Л. Леонова — «российский», «украинский», «молдавский» и другие патриотизмы (!) вроде бы как маленькие, из которых вырастает большой «советский». В принципе этот подход, с уточнением по Леонову, вполне приемлем для внутреннего пользования, для воспитания интернационализма у всех советских людей во избежание Нагорных Карабахов, Сумгаитов, Новых Узеней и эстонских «цензов оседлости». Но вот сам термин все же грешит отсутствием историчности, ибо патриотизм — это прежде всего любовь к родине, а не к существующей там политической системе. И если оперировать понятием «советский патриотизм» в полном соответствии с заложенными в него характеристиками, то получится, что русские патриоты, патриоты Украины, Литвы, Латвии, Армении и т. д., живущие вне пределов СССР и тем более голосующие за правые партии, а не, скажем, за коммунистические, уже из категории «патриоты Советского Союза» выпадают. Что же говорить о «социалистическом патриотизме», когда тут все интернационалисты, чуждые «буржуазному национализму и космополитизму», где бы они ни жили, могут быть объявлены «патриотами». Вопрос только — патриотами чего? Разве что земного шара или всей Галактики. Но такого космического уровня сознательности ни один народ на земле пока что еще не достиг.

Очевидно, не надо было торопиться раз и навсегда вычеркивать из политического обихода такое слово, как «Россия», несущее в себе не менее обширное объединительное начало, чем СССР, как и не надо было нервничать по поводу понятия «русский патриотизм». Его же декретом не отменишь. Русские патриоты живут повсюду на земном шаре и, признаем мы за ними это право или нет, по-своему любят Россию, умеют передать эту любовь даже своим детям и внукам, которые никогда ее не видели, но всегда будут к ней стремиться.

Означает ли это, что нам надо всех русских «хуацяо» собирать в наших национальных границах? Что это за сионизм на русский лад? Неужели без того, чтобы у всех было одно и то же гражданство, мы не сможем достичь национального примирения и гармонии в наших далеко не равноправных отношениях с эмиграцией, даже дружественно к нам настроенной? Можно и нужно воспринимать русскую литературу как единую, наше искусство не делить на «эмигрантско-зарубежное» и «отечественное», но не надо мешать сюда вопросы гражданства, политических взглядов и философской ориентации. В том, что касается политики, тут была и будет непримиримая борьба идей между коммунистами и антикоммунистами, кем бы они по национальности не были. Не надо только впредь допускать, чтобы исход борьбы идей решали «чрезвычайки» да «тройки», иначе от нашего народа вообще ничего не останется, перебьем друг друга да перережем. А чтобы этого не допустить, литература, искусство должны служить действительно своему народу, а не обслуживать тех, кто находится сегодня у власти. Такая дистанция только возвышает и литератора, и художника, и соответственно политического деятеля.

Я вижу то время, когда живущие за границей русские писатели-патриоты смогут спокойно, без того, чтобы это превращалось в «крестный ход» у Дома литераторов или у Дома кино, приезжать в СССР, чтобы здесь, если нужно, пожить, поработать, а потом уехать туда, где они прописаны постоянно. Уверяю вас, от этого они не перестанут быть русскими патриотами. Скорее наоборот. Могут спросить: ну а почему бы в этой схеме национального примирения не найти места и тем, кто сколачивал против Советского Союза разного рода «антибольшевистские блоки» и «интернационалы сопротивления»? Почему не пустить к нам «Посев», «Русскую мысль», «Свободу» и т. д. и т. п.? Пустить, на мой взгляд, можно всех, за кем не тянется кровавый след сотрудничества с гитлеровцами, кто не вовлечен в шпионаж и диверсии против нашей Родины. Тут при всем гостеприимстве надо порадовать и о чистоте собственного дома, и о безопасности нашего отечества, что будет только патриотично. И здесь я снова хочу напомнить о том, как русские патриоты сумели найти друг друга в едином антифашистском фронте в Европе во время войны, осо-

бенио во Франции, где, бывало, в одном отряде маки воевали бывший граф или князь и бежавший из плена комиссар. Скажут — среди монархистов и вообще белоэмиграции оказались ведь и люди, пошедшие воевать против своего собственного народа. Это верно. Как и то, что вместе с бандами атаманов Краснова и Шкуро в услужении гитлеровцев до самого конца войны находилось и воинство бывшего советского генерала Власова. Критерий патриотизма, как видим, не подданство, а внутренняя готовность быть всегда со своим народом, особенно когда ему угрожает либо геноцид, либо потеря национальностью независимости территории. Короче, в те моменты его национальной истории, когда стоит вопрос о том, будет ли она писаться и дальше.

Вот этими-то критериями и надо мерить патриотизм. И если поступать именно так, станет понятно, почему Шкуро и Краснов стали предателями Родины не в момент начала гражданской войны, не тогда, когда бежали за границу под натиском Красной Армии, а когда выступили против этой армии вместе с гитлеровским вермахтом.

Вот такое предательство простить нельзя, как бы ни пытались и по сей день оправдать это лжепатриоты из НТС и издательства «Посев». Вот почему с энтузиастами и вообще с примыкающей к ним публикой в эмиграции, для которой Россия понятие даже не географическое, а прежде всего агентурное, с теми, кто изodia в день ведет против нас диверсионно-шпионскую деятельность, прикрывая ее фиговыми листками «патриотических публикаций», не найти общего языка ни нам, ни нашим патристически настроенным соотечественникам за рубежом. Да и искать его не следует. Общий язык можно найти только с теми людьми в эмиграции, у которых разногласия с Советской властью не перешли в ненависть к нашему народу, в активные антисоветские действия. Или с теми, кто от такого рода деятельности отошел и сейчас отходит. Нельзя, конечно, не видеть и разницу между А. И. Солженицыным, который, несмотря на все предлагавшиеся ему почести, публично отказался иметь дело «с теми, кто угрожает ядерной войной русскому народу», и скажем, «русскими солидаристами» (НТС) или украинскими националистами вроде гетмана Стецько, благословлявшего «очистительный» (от большевиков) ядерный смерч. А дале-



ко ли ушли от Стецько те, кто ныне выступает против ядерного разоружения лишь потому, что это может лишить крестоносцев антикоммунизма «ядерного меча»?

...Перестройка привела к тому, что от антисоветизма отказываются сейчас многие во всех трех волнах эмиграции. Отказываются даже те, кто до недавнего времени имел «безупречные» рекомендации по части неприятия существующего в СССР строя. Не скажу, что эти люди сплошь и рядом этот строй приняли сейчас. Здесь другое. Широкая поддержка в эмигрантской среде происходящих у нас перемен стала возможной благодаря в первую очередь тому, что перестройка в своем международном аспекте сорентирована на общечеловеческие ценности, гуманитарное сотрудничество, а во внутреннем — ведет к небывалому расширению демократии и гласности. Это позволяет и прежде сторонившимся всякой политики эмигрантам, и тем, кто утратил связь с родиной в годы застоя, сказать: «Да, я за перестройку!»

Жан-Клод Гобер всегда был для меня стопроцентным французом. Его увлечение советским авангардом мне казалось лишь данью моде, нязично найденным средством существования — он об этом искусстве и писал и как эксперт помогал продавать картины наших авангардистов во Франции. Жена его Вероника всегда была ему в том верной помощницей. У нас сложились довольно дружеские отношения, но я совсем не ожидал, что в один прекрасный день они пригласят меня на роль крестного отца к своей новорожденной дочке, которую решили назвать Анастасией.

У ее колыбельки мне и поведали семейную тайну. Жан-Клод Гобер оказался внуком донского казака. Он долго в этом не признавался, так как боялся, что наша дружба сразу же кончится, едва я узнаю о том, что он родом из «бывших».

Губастая и горбоносенькая, как шолоховский Григорий Мелехов, Анастасия Гобер, ничего не подозревая о своем происхождении, мирно посапывала в кроватке. Я не знал, что нужно делать крестному в таких случаях, но все же произнес приличествующий торжеству спич, в котором увязал воедино наши общие славянские корни, русский авангардизм, то, что мою дочку тоже зовут

Настенькой, и необходимость нашим двум странам дружить так же, как двум нашим семьям.

Жан-Клод был растроган и через несколько дней прислал мне письмо, из которого я понял буквально следующее. Он ощутил, что его русские корни побуждают его к действию в поддержку перестройки, чему, с его точки зрения, мог бы способствовать диалог между мной, корреспондентом газеты «Правда», и русскими художниками-аваигардистами, которые, как правило, не по своей воле оказались в эмиграции, но перестройку всячески поддерживают и готовы заявить об этом во всеуслышание.

Это уже было чисто французское, хотя и не чуждое доисским казакам — расшибиться в лепешку, но сделать другу приятное. А Жан-Клод считал, что самым приятным для меня будет доброе слово моих соотечественников о Горбачеве, о тех переменах, которые с его именем связаны, и в целом о перестройке.

К нашему «круглому столу» Жан-Клод подключил своих друзей из мэрии парижского пригорода Пьерфита во главе с мэром-коммунистом Д. Бьотоном и президента ассоциации Мориса Утрилло, исследователя творчества прекрасного художника-импрессиониста Ж. Фабриса.

Поначалу они составили вместе такой список участников, что, казалось, соберутся все знаменитости, прежде всего те, чьи имена были связаны с печальной памяти «бульдозерной выставкой» художников-неформалов в парке Измайлово в Москве в сентябре 1974 года. (Пришли, правда, далеко не все приглашенные.) Буквально накануне Жан-Клод мне позвонил и сообщил «сенсационную новость» — в «круглом столе» пожелал принять участие «сам Александр Глезер».

Меня это, честно говоря, ошарашило. Я знал, что он был одним из организаторов той выставки в Измайлове, за что его и выставили тогда из Советского Союза по отработанной схеме, знакомой многим «неформалам». Оказавшись на Западе, А. Глезер создал в Париже и Нью-Йорке два небольших «музея русского современного искусства в изгнании» на базе своей коллекции, которую ему официально разрешили вывезти из СССР. Кое-что он собрал уже в эмиграции. Довольно скоро к нему пришел успех. Глезер основал в Париже издательство «Третья волна» и издавал на русском языке все

то, что на родине отвергали единодушно все издательства. Часть — в своем альманахе «Стрелец», часть — в виде книг, брошюр.

Глезер в эмигрантских кругах прославился своими монархистскими стихами и своей зарифмованной клятвой войти в Москву «на белых танках». То, что мне доводилось слышать по радиостанции «Свобода» в его исполнении, мягко говоря, обескуражило. Подумалось: «Сорвет он нам «круглый стол».

Глезер, и правда, начал с того, что помянул всех своих прежних обидчиков, долго и детально перечислял, как, когда и за что тогдашние власти заставляли его «держаться ответ». Странно звучал его рассказ в наши дни. Я незадолго до того вернулся из Москвы, где бродил по Арбату и тому же Измайловскому парку, видел, как художники свободно выставляют и продают свои картины. А тут вдруг — рассказ об Оскаре Рабине, картины которого втоптал в грязь, а его самого едва удалось вытащить из-под щита бульдозера. А всего-то 15 лет прошло с той чудовищно-нелепой расправы, учиненной над абсолютно беззащитными «абстракционистами», как именовали тогда всех, чьи картины не укладывались в прокрустово ложе «социалистического реализма». Как быстро бежит время! Как все меняется! Где-то теперь те блюстители нравов в нашем искусстве?

...Да, память о том дне, когда их картины летели в костры и под гусеницы, останется с ними на всю жизнь и всегда будет напоминать о себе внезапной, режущей, словно при сердечном приступе, болью. И все же жизнь продолжается, пусть не на родине, а здесь, на чужбине, принявшей их, давшей им гражданство, свои выставочные залы, признание. На родине — перемены. Вчерашние антигерои в искусстве становятся даже героями. Можно и вернуться туда, откуда 15 лет назад их изгнали. Торопятся ли? Нет. Еще одно подтверждение, что далеко не у всех ностальгия так сильна, как у бывшего донского казака Севастьянова. Они не отмежевываются от нас. Скорее склонны действовать по такому принципу: мы — здесь, а вы — там. И как в том мультике: давайте жить дружно. У Глезера родилась идея создать «Международную ассоциацию интеллигенции в поддержку перестройки и гласности». Он с этой идеей юнлся долго, заручился согласием вступить в эту орга-

низацию у людей, довольно видных и на Западе, да и потом в СССР, куда он после нашего «круглого стола» не раз ездил.

Уже тогда в Пьерфите Глезер выдвинул целую программу сближения русского искусства и литературы в эмиграции и в СССР, включая обмен выставками, проведение совместных аукционов по продаже картин, ежегодных «Бьеналле», а кроме того, проект публикации совместных книг, каталогов, исследований и литературных сборников.

Обещал он также передать около 300 работ, в том числе 50 из своей коллекции, в будущий музей современного искусства в Москве. Ну что, хорошо это или плохо? Принимать ли его протянутую руку, еще вчера записавшую стихи о «белых таиках»? Думаю, что мы сейчас достаточно сильны, чтобы позволить себе действовать по стародавнему русскому принципу: «Кто старое помянет...» Только не надо, чтобы «глаз вои». Навоевались. Пришло время нам всем быть мудрее. Ведь раньше такие идеи и предложения мы отвергали с порога. И в результате подталкивали их авторов в объятия профессиональных антисоветчиков. Что-то могло быть неприемлемым в проектах Глезера, но обсудить их и выбрать то, что могло пойти нам на пользу, стоило. Да и сам по себе факт создания «Международной ассоциации интеллигенции в поддержку перестройки», которая, кстати, начала свою деятельность со сбора средств на памятник жертвам сталинских репрессий, а затем провела сбор средств в советский фонд борьбы со СПИДом, можно было только приветствовать.

Родина у нас одна. История общая. Нельзя поделить ни то, ни другое. Да и не нужно. Учась демократии, мы должны научиться и терпимости ко взглядам других, в том числе и наших соотечественников за рубежом. И если уж делить эмиграцию по принципу «с нами или против нас», то лишь на основе критериев патриотизма. Я думаю, что только это может привести нас к взаимопониманию, которое столь необходимо и им, и нам.

Чем больше наших соотечественников, живущих за рубежом, в эмиграции, будут ощущать, что они не отрезанный ломоть, а дети своей родины, чем ближе к сердцу и их дети, пусть даже рожденные в чужой стране, будут ощущать нити связи с родиной, с землей их

предков, тем сильнее в своей сплоченности будет весь наш советский народ, тем богаче духовно. К этому выводу неизбежно приходишь, когда говоришь не просто с теми, у кого есть в жилах русская кровь, а в первую очередь когда общаешься с людьми, у кого Россия — в душе...

## РОССИЯ ПИТЕРА УСТИНОВА

Внутренний дворик разделял многоквартирный дом на рю Винез в престижном парижском районе Пасси на две части, и если бы не консьерж, я не сразу бы разобрался, в каком именно лифте надо мне подниматься на искомый третий этаж.

«Вам господина Устинова? — осведомился консьерж. — А вы с ним договаривались?»

«Договаривались, договаривались!» — послышалось из раскрывшего двери лифта, и в вестибюле появился Питер Устинов собственной персоной, улыбающийся давно знакомой мне по его фильмам «Билли Бад» и «Багдадский вор» улыбкой.

«Ради бога извините, — сказал он, — но я должен срочно ехать в советское консульство. За визой. И еще мне надо заехать в одно место за телеграммой, в которой подтверждают, что меня приглашает в Москву «Мосфильм», где решили снять фильм по моей книге. Так что наше интервью придется перенести на другой день...»

«У меня есть такое предложение, — ответил я Устинову. — Мы едем за телеграммой и в консульство на моей машине. А по дороге вы отвечаете на мои вопросы. Договорились?»

Он согласился. И, сев ко мне в машину, покорно взял в руки мой диктофон. Так началось это необычное интервью, которое продолжалось с перерывами в машине, в консульстве, во время нашей прогулки по улицам Парижа и даже в фотоателье, куда он зашел сфотографироваться на визу.

У фотографа он сказал: «Когда я прохожу мимо витрин фотостудий, в какой бы стране я ни был, я всегда поражаюсь, насколько люди похожи друг на друга. Все люди. Все земляне. По фотографии на паспорт, на-

пример, можно определить только расовую принадлежность человека, но практически невозможно узнать, в какой стране он живет...»

— Я где-то читал, что антропологи выявили 12 типов людских лиц, которые встречаются во всех расах. Мне, однако, никогда не приходило в голову проверить, так ли это, у профессионального фотографа. Я, например, плохо различаю африканские лица или, скажем, японцев. Мне они все кажутся одетыми в униформу...

— Не скажите. При всей похожести люди не теряют своей индивидуальности. Я помню, когда меня призвали в армию, у нас отобрали гражданскую одежду. Но вот парадокс — индивидуальность из нас буквально фонтаном забила, едва нас всех одели в униформу. Я думаю, что это естественная человеческая реакция на попытку всех сделать одинаковыми...

— То же самое происходит, когда человека заставляют «жить, как все» или же когда одна нация приглашает все остальные жить, как она, не признавая за другими права на индивидуальность. Вот тут начинаются проблемы. Хотя и в обычаях, нравах у землян тоже много общего. Например, у русских и американцев...

— Верно. Но вот когда я попытался сказать, что и русские такие же люди, как все, то это вызвало у многих здесь, на Западе, резко негативную реакцию.

— Вы имеете в виду вашу книгу о России?

— Не только. И мой шестичасовой фильм о России тоже. Я его сделал с помощью одной западногерманской фирмы — никто больше не брался за это, считали, что я слишком дружелюбно настроен по отношению к русским. Заметьте, это было еще при Черненко...

Фильм имел успех оглушительный. Даже американцы, которые говорили, причем с самого начала, что я «некритичен», хотя это и не так, купили его.

— Вы написали книгу «Моя Россия», где с большой симпатией пишете о русских, о вашей исторической родине. Эту книгу в Англии, например, встретили в штыки, да и не только там. Чем это объясняется? Закостенелым антисоветизмом? Русофобией?

— Уже одни размеры России заставляют людей нервничать. На Западе всегда боялись ее потенциала. Боялись, что она вдруг возьмет и всей своей силой навалится на остальную Европу. Может быть, именно

эти страхи и породили миф о «российском экспансионизме».

Между тем русские никогда этим не грешили. Если они когда и приходили с оружием в Западную Европу, то только по приглашению своих союзников. Ну а что касается экспорта идеологии, идей, то кто их в наше время не экспортирует. Возьмите культурную экспансию США, других стран.

Запад многого в России не понимает. Как только в СССР начались националистические выступления в Армении, в других местах, у нас тут же объявили, что «Россия вот-вот развалится», потому что «завоеванные царями народы хотят независимости». Но русские и при царях никого не завоевывали, даже когда у них был шанс это сделать. Возьмите хотя бы историю их краткого пребывания на Гавайях — побыли и ушли. И Аляску тоже продали. Подавляющее большинство живущих в Советском Союзе народов в свое время вошли в состав России по собственной доброй воле. И именно поэтому ваши движения за автономию в большинстве своем не сепаратисты. Они скорее сродни тем националистическим группам и партиям, которые есть, например, среди бретонцев (во Франции), басков (во Франции и Испании), шотландцев (в Великобритании) и т. д.

Наконец, на Западе не хотят понять, что у русских в силу самой их истории — а на них все время нападали извне, и чаще всего с Запада, — существует естественное стремление максимально защитить себя и свою независимость от любого агрессора. Отсюда и ядерное оружие, и ракеты. Я никогда не верил, что это накоплено для нападения на Запад.

— К сожалению, так, как вы, на Западе мало кто думал, до сих пор...

— Да, и до сих пор, к сожалению, говорят о «советской угрозе», хотя в агрессивность русских сейчас уже как раз мало кто верит. Разве что французские обыватели. Но у них для этого особые причины.

— Интересно, какие же?

— В том числе и чисто гастрономические. Дело в том, что русский царь Александр I еще в начале прошлого века неудачно пошутил, сказав, что его казаки, которые вошли в Париж после разгрома Наполеона, потому разбили свои биваки на Елисейских полях и варят там пищу в походных кухнях, что им не нравится,

как французы готовят. Большого оскорбления французу нанести невозможно. Наверное, именно поэтому французский обыватель, повторяя легенду об «экспансионизме русских», забывает о том, что это Наполеон напал на Россию, а не наоборот. Об этом вообще давно забыли. А вот о казаках до сих пор помнят. И когда начинаешь говорить о миролюбии русских, тут же найдется какой-нибудь эрудит, который скажет: «А вы знаете, что русские казаки стояли на Елисейских полях?!»

— Не кажется ли вам, что здесь, в Европе, всегда существовало, с одной стороны, стремление вовлечь Россию в западное сообщество, а с другой — панический страх перед тем, что это действительно произойдет? Не в этом ли одна из причин — я не отрицаю, конечно, что и мы, со своей стороны, давали к тому немало поводов, всяческого нагнетания страхов русофобского толка? Вчера это был «русский экспансионизм», потом — «советская угроза», сегодня — «нарушение прав человека». Что завтра?

— Что касается прав человека, то тут основания для критики в ваш адрес, надо признать, были. Хотя, конечно, не правы те, кто полагает, будто русский народ нуждается в постоянных поучениях на этот счет. Я слышал утверждения, будто русские инстинктивно не принимают права человека. Но это бред. Я приведу только один пример. Когда в 1960 году американец Пауэрс, пилот самолета У-2, был сбит над территорией СССР, то в самом дальнем, как говорят, медвежьем углу России, на который он буквально с неба свалился, люди, его обнаружившие, отнесли к нему, как к пострадавшему человеку. Я не уверен, что с такой же терпимостью в то время отнесли бы в США к советскому пилоту, свались он с неба где-нибудь посередине Америки. Это говорит прежде всего об органическом уважении простого русского человека к правам других, к правам человека в самом широком плане.

Очевидно, это связано и с традиционным для русских поиском смысла жизни. В чем-то это влияние религии, с которой началось развитие искусства и литературы, вообще культуры в России. И не без влияния религии в русском национальном сознании сформировалось то отношение к искусству, которое мой двоюродный дед Александр Бенуа назвал в своей книге «благочестивым». Это очень четкое слово.



Вместе с тем Россия всегда была ну как бы вне всего, и Запад воспринимал ее подобно пассажирам экспресса, наблюдающим за человеком, бегущим за поездом без всякой надежды его догнать...

— И по сей день нас воспринимают так же?

— Перефразируя древних, скажу так: по мере того как вы меняетесь, меняется и отношение к вам. В России, наверно, только сейчас произошел по-настоящему замечательный сдвиг. Горбачев сумел разоружить даже тех, в чьих интересах было по-прежнему не иметь к вам дружеских чувств.

...Я неудачно притормозил, и водитель огромного «мерседеса» меня буквально обсигналил, выражая тем самым свое недовольство моим поведением на дороге. Этого ему показалось мало, и у светофора он меня догнал и высказал мне свое «Пфэ!» уже устало. Сам он при этом так разволновался, что весь покрылся красными пятнами и, увидев мою сочувственную улыбку, обозлился еще больше, да так газанул, когда дали зеленый, что едва не врезался в грузовик.

— Знаете,— прокомментировал эту сцену Устинов, продолжая свои рассуждения о враждебно к нам настроенных людях,— многие считают, что врага иметь хорошо, полезно. По их убеждению, это обостряет инстинкты и быстроту реакции, способствует деловой активности и помогает понять, где ты находишься. Есть люди, которые просто жить не могут без внешнего врага.

— Может быть, это все-таки от непонимания. Вот ведь даже Черчилль говорил о России как о секрете, завернутом в загадку и укрытом непроищаемой тайной.

— Это, на мой взгляд, мистика. Россию надо изучать по-настоящему, чтобы ее понять. А интерес к этому сейчас огромен. Я получил сотни писем после своего фильма о русских, и ни в одном из них не было укоров в мой адрес за симпатии к русским.

— Говоря о загадках. Ответьте на такую: как вы обнаружили свои русские корни?

— История нашей семьи весьма забавна. Недавно советское посольство в Лондоне переслало мне целую кипу документов. Их переправила в Англию одна женщина, которая занимается научно-исследовательской работой в Саратове. В историческом архиве этого города она разыскала очень много данных о нашей семье.

В том числе и рисунок моего прапрадеда, приписываемый А. С. Пушкину. Впрочем, это скорее карикатура. Прислали также и рисунок того дома, в котором мои предки жили в Саратове. Судя по всему, наш род пошел из Царицына, нынешнего Волгограда. Именно оттуда мой прадед двинулся в Сибирь. Легенда утверждает, что он, хотя и не был грузином, прожил не то 108, не то 113 лет. И говорят, что он к тому же был совсем не худой...

Устинов выразительно поглаживает себя по похожему на прадедушкин животик и смеется:

— А мне, кстати, пока всего 68! Уж я своего шанса перегнать предка не упущу.— Отхохотавшись, он продолжает рассказ: — Мой дед дослужился до офицера-кавалергарда, был весьма остер на язык и своих взглядов, кстати достаточно радикальных, не скрывал. Он дружил со многими выдающимися людьми того времени, в том числе с Мусоргским. Во время каких-то маневров он упал с лошади и повредил себе позвоночник, так что на долгие годы остался прикованным к постели. А это, признайте, в тот век, когда не было телевидения, нелегко вынести. В результате он полюбил девушку, которая ухаживала за ним. А она была из немцев Поволжья, семья ее жила в Покровске, нынешнем Энгельсе. Любовь была такая, что он даже принял лютеранство. В России того времени православному, да тем более дворянину и офицеру, такое не прощалось. Дед был разжалован и по приказу государя, императора выслан на 40 лет из пределов России в ссылку. Так он стал гражданином существовавшего тогда княжества Вюртемберг. И поэтому мой отец не говорил по-русски.

— А вы говорите?

— Отшел плохо. Так вот, там моя несостоявшаяся бабушка на своей исторической родине деда бросила и сбежала в Австралию с капитаном дальнего плавания. Я на нее зла не держу за это, ибо дед к тому времени уже поправился. Может быть, именно поэтому я до сих пор переписываюсь с ее детьми от того, другого деда...

— А что же наш кавалергард? Вернулся в Россию?

— Не сразу. Под конец жизни он стал очень религиозным человеком и переселился в Палестину. И там, несмотря на то, что он все еще по указу царя находился в ссылке, его сделали почетным консулом в Иерусалиме, и он занимался делами русских монахов.

Вернулся он в Россию, как только началась первая мировая война, успев до этого жениться второй раз — на моей бабушке, которая наполовину была эфиопкой. Он заявил, хотя уже был в преклонном возрасте, что раз Россия угрожает опасность, желает немедленно вернуться в свой полк, где он числился по указу царя все же не в отставке, а в резерве. Это, если хотите, пример «русского фанатизма». Умер он в Пскове в возрасте 80 лет. И как раз началась революция...

— А ваш отец приехал в Россию с ним?

— Да нет. Он же был гражданином Вюртемберга до аншлюса и впоследствии стал офицером немецкой армии. России он совершенно не знал. И только после войны решил поехать туда в первый раз в своей жизни, надеясь найти родителей. Дед, как я уже сказал, умер к тому времени. Мать и сестру отца арестовало ЧК, и они сидели в тюрьме в Пскове. Никто не знал там, что с ними делать. С помощью русского комиссара отцу все же удалось освободить их из тюрьмы и получить проездные документы, по которым он вывез родных в Канр через Стамбул. Гораздо позже они стали с этим комиссаром друзьями уже в Лондоне, куда тот был назначен советским послом. Имя этого комиссара — Майский. Да, я забыл, что по пути в Канр мой папа задержался на две недели в Петрограде, где встретил мою мать и на ней женился. К венчанию оба они «шкарно» оделись. Мама венчалась в ночной рубашке своей бабушки, а отец — в спортивном костюме. Скоро произвели и меня на свет, что случилось уже в Лондоне, где отец работал корреспондентом немецкого телеграфного агентства.

Незадолго до войны отцу предложили работу пресс-атташе в посольстве Германии в Англии. Но вскоре МИД Германии возглавил Риббентроп, который требовал от всех проверки на расовую чистоту. Ну с нашей русской и тем более эфиопской кровью на звание арийца рассчитывать просто не приходилось. Короче говоря, отец возмутился и ушел из посольства, хлопнув дверью. Я узнал об этом во время занятий в школе, где сидел за одной партой с сыном фон Риббентропа. На следующий день из Берлина пришла телеграмма, в которой МИД Германии требовал, чтобы отец срочно вернулся в Берлин. Можно было догадаться, что его ждал ми-

нимум концлагерь. Отцу ничего не оставалось, кроме как попросить убежища в Англии. Так он, а значит и вся наша семья, стали гражданами Великобритании.

— Со сколькими же странами связан ваш род Устиновых?

— Я не подсчитывал. Отец был немцем, а стал английским подданным. Его брат был убит во время первой мировой войны, как немецкий офицер. Другой его брат — гражданин Канады, но живет в Лос-Анджелесе. Самый младший брат — аргентинец, а сестра отца, моя тетка, — ливанка. Ну а я сам женат на французенке, а вы знаете, что, по мнению французенок, женщина может жить только в одном городе мира — это в Париже. Вот именно поэтому, хотя я сам и предпочитаю жить в Швейцарии, я подолгу живу во Франции, и реже — в Англии. Но все это для меня — дело не первостепенной важности, где кто живет, какого кто гражданства. Мое отношение к России тем более этим не определяется. Я внутренне ощущаю свою с ней связь. И особенно когда пишу пьесы и книги. Вот, например, у вас Театр имени Моссовета поставил мою пьесу «На полпути к вершине». Так вот, русские актеры сыграли ее лучше, чем кто-либо другой на Западе. И я, может быть, именно тогда понял, что я русский писатель по своему мироощущению...

— Русский писатель для вас, следовательно, категория скорее духовная, чем чисто национальная...

— И да, и нет. Я приведу вам один пример. В моем сериале есть диалог с Достоевским, которого играет русский актер. И я спрашиваю Достоевского: «Должно быть, у вас много горечи на душе после того, как эти идиоты сослали вас на четыре года в Сибирь и затем заставили служить солдатом в армии еще восемь лет?» Достоевский смотрит на меня с удивлением и говорит: «Да, я признаю, что они идиоты. Но я их не виню, так как они дали мне все мои сюжеты, всех моих героев...» Это чисто русское. Это мало кто понимает...

На Елисейских полях неподалеку от отделения Аэрофлота к нам подошел седой старик — парижский вариант Мельника из «Русалки» — и, протягивая нам отпечатанные на ротаторе листочки, сказал: «Господа, совсем недорого, купите, не пожалеете, прекрасные стихи. Вот послушайте...» Он принялся читать, кстати,

действительно неплохие стихи. Толпа обтекала его. Изредка бросали монету. Стихов же никто не брал. Устинов сказал:

— Мне иногда в голову приходила такая мысль: на Руси издавна преследовали творческую интеллигенцию именно потому, что русские, как ни один другой народ, чрезвычайно серьезно относятся к своей литературе и своему искусству. В других обществах на писателей, например, всем просто наплевать.

Я поясню. Допустим, кто-то из ваших известных поэтов, ну, например, Вознесенский, вздумает почитать свои стихи на улице. Что тут произойдет?! Соберется толпа, перекроет улицу. Милиционеру придется направлять транспорт в объезд. Правда, есть риск, что милиционер с этой задачей не справится, так как при первом же удобном случае отвлечется от своих дел, чтобы послушать поэта. На Западе такое невозможно. Тут творческую интеллигенцию высоко не ставят.

— Я бы этого не сказал о Франции, здесь к ней относятся, пожалуй, как нигде серьезно.

— По внешним признакам да. Здесь писатели нередко становятся даже министрами. Например, Мальро, Ламартин. Им нравилось, когда их звали не господин писатель, а господин министр. Это вряд ли где еще может иметь место в Европе, кроме Франции. Но быть министром, на мой взгляд, — это не лучшее, что может сделать писатель.

— Ваши родственники, в частности по линии Бенуа, самым тесным образом связаны с русским искусством. По многим причинам реальных его богатств, разбросанных по всему миру в результате революционных бурь и войн, а то и попросту разворованных, мы себе пока что в полном объеме не представляем. Есть к тому же и великие имена, просто волюнтаристски вычеркнутые из нашего культурного наследия. Сейчас наступила пора, как говорится в «Екклесиасте», «собирать камни». Какова, на ваш взгляд, в этом роль тех, кто хранит наши культурные традиции в русском зарубежье?

— Для меня этот процесс «собиранья камней» чрезвычайно важен. Я присутствовал на открытии музея Бенуа в Петродворце, в здании, которое принадлежало моему прапрадеду. Те, кто в Советском Союзе работали над реставрацией нашего семейного особняка, проделали огромную работу. Они украсили его многочислен-

ными гербами семьи. И это было поистине удивительно, ибо Бенуа были крестьянами, и первый из них в нашем роду был просто неграмотным, как многие крестьяне до французской революции. Но затем они образовались настолько, что сами стали учительствовать, и в этом качестве один из них приехал в Россию. Как раз во время французской революции. И дворянство Бенуа получили в России причем на их гербе была изображена едва ли не роялистская символка. Я думал, что существует не более 30 потомков тех Бенуа, а их прибыло 160 человек в Петродворец. Многие из них здесь, на Западе, занимают весьма солидное положение. И наш род в этом отношении хотя и уникален, но все же не единственный.

Русская интеллигенция в эмиграции оставалась, как правило, верной не только русской культуре. Она обогатила мировую культуру, мировую науку. Это люди по-настоящему, по-русски талантливые, которыми могут равно гордиться и Россия, и те страны, гражданами которых они волей судеб стали. Вот я только что снялся в фильме о Великой французской революции в роли Мирабо. Знаете, кто этот фильм поставил? Саня... Режиссер Александр Мнушкин. Ему, кстати, 83 года. А фильм сделал потрясающий. Он идет почти шесть часов и обошелся в 50 миллионов долларов. Надо думать, что французы такое доверили бы далеко не каждому...

— Вы сказали, что по мере наших перемен меняется и отношение к нам. Ну а к вам меняется ли отношение у русских эмигрантов, которые вас, мягко говоря, не жаловали за ваши, как они считали, незаслуженно лестные отзывы о Советском Союзе?

— Когда я решил впервые поехать в СССР, моя мать заклинала меня этого не делать. Она вспоминала революцию и все, что ей пришлось пережить в ЧК... Если бы у нас разговор происходил сейчас, или так году в 1982-м, я бы смог ее успокоить, приведя слова Грэма Грина. Когда Брежнев сменил Андропов, он сказал: «Я так и думал, что КГБ возьмется за спасение России...» А когда его спросили, почему он пришел к такому выводу, Грин ответил: «Тот, кто наблюдает, не может не замечать...»

— Ваш первый визит в СССР, кажется, пришелся на начало 60-х?

— Да. В 1963 году я сделал фильм «Билли Бад»,

который вашему Министерству культуры понравился, и меня, хоть и с опозданием, пригласили для участия в Московском кинофестивале. Тогда, я помню, в Лондоне в советском консульстве меня спросили: «Устинов — это ваша настоящая фамилия?» Я не удержался и ответил: «А что, лучше ее поменять?» Думал, что мне визы после этого не дадут. Но дали. Сейчас эти наши тогдашние страхи кажутся анекдотичными, тем более в период перестройки. Кстати, не только русской эмиграции приходится делать поправки на современность в своем отношении к вам. Это процесс более широкий.

В 1987 году я был приглашен в Москву на форум творческой интеллигенции. Когда я оттуда вернулся, меня пригласила выступить французская телепрограмма «Анти-2». Я рассказал обо всем, что видел и слышал в Москве, и этим вызвал весьма неприятную для меня реакцию ведущей передачи, которая мне просто открыто хамила. Она попыталась представить меня зрителям как некоего наивного дурачка, после чего руководством этого телеканала пришлось приносить мне извинения. Я уже не говорю о массе людей, выразивших мне сочувствие по телефону. Так вот, прошло с тех пор совсем немного времени. И вот накануне визита Горбачева в Париж (речь идет о визите с 4 по 6 июля 1989 г. — В. Б.) та же самая «Анти-2» показала о Советском Союзе чрезвычайно доброжелательную передачу. По-своему это означало и изменение отношения лично ко мне — все больше людей, в том числе и русские эмигранты, убеждаются, что я во многих своих оценках был прав.

— Вы написали немало книг, сыграли множество ролей. Что вам самому нравится больше всего?

— Новая роль и новая книга. Старыми достижениями жить нельзя. Когда успокаиваешься на достигнутом, уже больше ничего не достигнешь.

Смеркалось, когда мы вернулись на рю Вьез. Виза была получена, билеты на самолет заказаны, и интервью само по себе как-то взято. В голове уже вертелись заголовки типа «Питер Устинов — русский гражданин мира...». Быть может, я так бы и озаглавил это интервью, не спроси я его напоследок, а о чем его новая книга. И вдруг он улыбнулся такой пиквиновской улыб-

кой и сказал: «Мне очень трудно вам рассказать о чем. Могу только прочесть первые строчки:

«Бог...»

«Значит, с двумя «г»?» — спросил консьерж, не поднимая головы.

«Нет, только с одним «г», — сказал старик.

«Довольно-таки необычное имя», — сказал консьерж.

«Мне говорил, что уникальное», — сказал старик, не в силах скрыть того, насколько его все это завлекает...»

«Вот и все», — сказал все с той же улыбкой Устинов. И по тому, как он наслаждался звучанием каждого слова в этом рафинированно-английском пассаже, приглашая меня не спешить с оценками будущего романа по маленькому отрывку, а просто посмаковать вместе с ним эти вкусные, сочные строчки, было ясно, что он все-таки настоящий англичанин, хотя и с такими глубокими русскими корнями, которыми не всякий наш соотечественник сможет похвастаться. А может ли англичанин быть русским, если он даже не живет на русской земле? Загадка русской души уже в который раз ускользнула от меня. Может быть, потому, что у каждого из нас в душе — своя Россия. И ее тоже, как и всю Россию целиком, умом не понять и никаким аршином не измерить...

\* \* \*

В книге всего труднее поставить последнюю точку. Всегда хочется написать что-нибудь вроде «Заключения» или «Эпилога». Но я не воспринимаю эту книгу о Франции и наших соотечественниках как нечто законченное. Я продолжаю ее писать и, честно говоря, не могу сказать, когда завершу этот нелегкий труд. В любом случае — до новых встреч.



## СОДЕРЖАНИЕ

Вместо предисловия . . . . .	3
Глава 1. Позолоченный гений свободы . . . . .	4
Глава 2. От Фонвизина до наших дней . . . . .	50
Глава 3. В замках прошлого и настоящего . . . . .	130
Глава 4. «Товарищи эмигранты и господа соотечественники... . . . . .	178

**Большаков В. В.**

**Б 79** Русские березы под Парижем. — М. : Мол. гвардия, 1990. — 269[3] с., ил.

ISBN 5-235-01485-5

Новая книга публициста-международника Владимира Большакова «Русские березы под Парижем» — итог его встреч и бесед с французами и нашими соотечественниками, живущими во Франции. Читатель, открыв эту книгу, узнает неизвестные факты из истории русско-французских отношений со времен Аины Русской и познакомится с тем, как живут французы сегодня, встретится с потомками русских дворян и с эмигрантами «третьей волны», узнает, что такое французский «политес» и как готовить знаменитый луковый суп по-парижски, побывает в замках долины реки Луары и на баррикадах в Латинском квартале, в штаб-квартире антисоветчиков из «Посева» и в одной машине со знаменитым актером и писателем Питером Устиновым.

**Б** 0801000000—205 — КБ—052—009—89  
078(02)—90

**ББК 66.2 (4Фр)**

**ИБ № 7096**

**Большаков Владимир Викторович**

**РУССКИЕ БЕРЕЗЫ ПОД ПАРИЖЕМ**

**Заведующий редакцией С. Дмитриев**

**Редактор Е. Лопухина**

**Художник А. Алесеев**

**Художественный редактор С. Курбатов**

**Технический редактор Н. Теплянова**

**Корректоры Т. Пескова, Е. Дмитриева**

Сдано в набор 07.02.90. Подписано в печать 14.06.90.  
Формат 84X108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Лите-  
ратурная». Печать офсетная. Усл. печ. л. 14,28. Усл. ир.-отт.  
57,58. Учетно-изд. л. 14,8. Тираж 50 000 экз. Цена 1 руб.  
Знак 1037.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-  
полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».  
Адрес ИПО: 103030, Москва, Суховская, 21.

ISBN 5-235-01485-5



1 руб.

# РУССКИЕ БЕРЕЗЫ ПОД ПАРИЖЕМ

---

**Во Франции совершенно неожиданно для себя  
я тронул и такой пласт,  
который за целую жизнь в одиночку  
не раскопаешь. Это судьбы  
наших соотечественников и сограждан,  
оказавшихся в эмиграции после 1917 года  
и после второй мировой войны.**

---



THE  
FEDERAL  
BUREAU OF  
INVESTIGATION  
OF THE  
DEPARTMENT OF JUSTICE  
WASHINGTON, D. C.

MEMORANDUM  
TO THE DIRECTOR  
FROM THE CHIEF OF BUREAU  
SUBJECT: [REDACTED]

DATE: [REDACTED]  
PAGE: [REDACTED]